

Н О В Ы Й Д Е Т Е К Т И В Ъ



Борис Акунин
ЛЮБОВНИК СМЕРТИ

Борис Акунин



ЗАХАРОВ

Борис Акунин

ЛЮБОВНИК СМЕРТИ

Роман

ЗАХАРОВ
Москва 2001

ББК 84 Р1-44

УДК 882

А 44

ISBN 5-8159-0154-7

© В.Акунин, 2001

© И.Захаров, издатель, 2001

КАК СЕНЬКА ВПЕРВЫЕ УВИДАЛ СМЕРТЬ

Сначала-то ее, конечно, не так звали, а обыкновенно, как полагается. Маланья там или, может, Агриппина. И фамилия тоже имелась. Как же без фамилии? Это вон у Жучки, что по двору бегает, фамилии нет, а у человека бесприменно должна быть, на то он и человек.

Но когда Сенька Скорик ее впервые увидал, прозвание у нее было уже нынешнее. Никто по-другому про нее не говорил, имени-фамилии не помнил.

А увидал он ее так.

Сидели с пацанами на скамейке, перед дерюгинской бакалейкой. Курили табак, лясы точили.

Вдруг подъезжает шарабан: шины дутые, спицы в золотой цвет крашенные, верх желтой кожи. И выходит из него девка, каких Сенька никогда еще не видывал, даже на Кузнецком мосту, даже на Красной площади в престольный праздник. Нет, не девка, а девушка или, правильнее сказать, дева. Черные косы на голове венцом уложены, на плечах шелковый многоцветный платок, и платье тоже шелковое, переливчатое, но дело не в платке и не в платье. Очень уж у ней лицо было такое... даже не выскажешь, какое. Посмотришь — и обомлеешь. Ну, Сенька и обомлел.

— Это что за фря? — спросил и, чтоб виду не подать, сплюнул через стиснутые зубы в сторону (дальше всех этак цыкнуть мог, на целую сажень — рот-то с шербиной, удобно).

Проха в ответ: мол, сразу видать, что ты, Скорик, у нас недавно. (Сенька и правда на Хитровке тогда еще только приживался, недели две как с Сухаревки деру дал). Сам ты, говорит, фря. Это ж Смерть!

Сенька сразу не сообразил, при чем тут смерть. Подумал, у Прохи присказка такая — мол, смерть до чего хороша.

И то — хороша была, не оторвешься. Лоб высокий, чистый. Брови коромыслицами, кожа белая, губы алые, а глаза — ух, что за глаза. Сенька такие видал на Конной площади, у лошадей туркестанской породы: большие, влажные и при этом будто огоньками светятся. Только у девушки-девы, что из шарабана вышла, глаза еще лучше были, чем у тех лошадей.

Глядит Сенька на расчудесную особу, глазами хлопает, а Михейка Филин табачную крошку с губы смахнул и локтем в бок: ты, говорит, Скорик, пялся да меру знай. А то тебе Князь уши обрежет и жрать заставит, как тогда барышника волоколамского заставил. Тоже Смерть ему приглянулась, барышнику-то. Вот и допятился.

И опять Сенька про «смерть» не слобастил — очень уж сожранными ушами заинтересовался.

— И чего этот барышник, сожрал? — удивился он. — Я бы нипочем не стал.

Проха пива из горлышка отхлебнул. Стал бы, говорит. Если б Князь тебя по-хорошему попросил, по-вежливому, стал бы как миленький и еще спасибочки сказал, оченно вкусно. Барышник одно ухо-то пожевал-пожевал, проглотить не может, а Князь ему уж второе оттяпал и сует. И, чтоб поторапливался, пером в брюхо покалывает. После у волоколамца башка вся загноилась, распухла. Повыл пару деньков, да и подох, так и не доехал до своего Волоколамска. Во как у нас на Хитровке-то. Ты, Скорик, мотай на ус.

Про Князя Сенька, само собой, слышал, хоть и терся на Хитровке недолгое время. Про Князя кто ж не слышал? Самый рисковый на всю Москву налетчик. На рынках про него говорят, в газетах пишут. Псы на него охотятся, да только когти у них коротки. Хитровка, она своего не выдаст — знает, что с выдавальщиками бывает.

А ухо свое жрать я всё одно бы не стал, подумал Сенька. Лучше уж на нож.

— Она чего, Князева маруха, что ли? — спросил он про удивительную деву — так, из любопытства. Решил

про себя, что глазеть на нее больше не будет, больно нужно. Да и не на кого было, она уже в лавку вошла.

«Фто ли», передразнил Проха (из-за выбитого зуба у Сеньки не все слова как надо выговаривались). Сам ты, говорит, маруха.

На Сухаревке кто пацана марухой обзывал — за такое сразу метелили без пощады, и Сенька прицелился было вмазать Прохе в костлявую харю, но передумал. Во-первых, может, у них тут на Хитровке другие обыкновения и сказано было не в обиду. Во-вторых, Проха — парнище здоровенный, тут еще поглядеть, кто кого отметелит. А в-третьих, очень уж хотелось про девушку эту послушать.

Ну Проха поломался немножко и рассказал.

Жила она, как положено, при отце-матери, не то в Доброй Слободе, не то на Разгуляе, короче, где-то в той стороне. Девка выросла видная, сладкая, от женихов отбою не было. Ну и сосватали ее, как в возраст вошла. Ехали они венчаться в церковь, она и жених её. Вдруг два кобеля черных, огромных, прямо перед санями через дорогу — шмыг. Если б тогда догадаться, да молитву прочесть, глядишь, по-другому бы сложилось. Или хоть бы крестом себя осенить. Только никто не догадался или, может, не успели. Лошади кобелей черных напугались, понесли, и на повороте бултых с бережка в Язу. Жениха насмерть раздавило, кучер потоп, а девке ничего, ни царапки.

Ладно, всяко бывает. Повезли его хоронить, парня этого. Она, невеста, рядом с гробом шла. Убивалась ужас как — очень, говорят, его любила. А как стали через мост переезжать, напротив того самого места, где всё приключилось, она вдруг как крикнет — прощай, мол, народ христианский — да через оградку, да с моста головой вниз. Накануне приморозило, на реке лед толстенный, так что по всему следовало ей себе башку вдребезги расколотить или шею переломать. Но вышло по-другому. Попала она прямиком в полынью, сверху ледком чуть-чуть заросшую и снежком припорошенную. Ушла под воду с головкой, и нет ее.

Ну, все думают, потопла. Бегают, руками машут. А ее, утопленницу-то, подо льдом саженой с полста проволок-ло, да из проруби, где бабы белье стирали, выкинуло.

Подцепили ее багром или чем там, вытащили. Она по виду как мертвая была, белая вся, но полежала, отогрелась и опять хоть бы что ей. Живехонькая.

За такую кошачью живучесть прозвали ее Живая, а иные называли Бессмертной, но это еще не окончательное ее прозвище было. Потом поменялось.

Проходит год или, может, полтора, родители ее давай снова замуж выдавать. Девка-то пуще прежнего расцвела. Посватался купчина один, немолодой, но сильно богатый. Ей-то, Живой, всё равно было, за купчину так за купчину. Кто ее тогда знал, рассказывают, что скучала она очень о женихе своем — о том, первом, что расшибся.

И что же? Новый жених за день до свадьбы, в церкви, на утренней, как захрипит, руками заполощет — и брык набок. Ногой подергал, губами пошлепал, и со святыми упокой. Кондрашка его прихватил.

После этого случая замуж она ходить больше не стала, а в скором времени сбежала из родительского дома с барином одним, из военных. Стала у него в доме жить, на Арбате. И совсем краля сделалась: одевалась по-господски, к отцу-матери приезжала в лаковой коляске, с кружевным зонтиком. Офицер даром что жениться на ней не мог, благословения от отца ему на это не было, а души в ней не чаял, безумно ее обожал.

Но только и третьего она сгубила. Был он, барин этот, крепкий собой молодец, кровь с молоком, а как пожил с нею сколько-то, вдруг начал чахнуть. Бледный стал, хилый, ноги его не держат. Доктора с ним бились-бились. И на воды его, и в заграницы, да всё попусту. Рассказывали, рак в нем какой-то завелся и клешнями своими всю внутреннюю ему разодрал.

Ну а как она офицера своего схоронила, тут уж до всех, даже до самых недоумных дошло: неладно с девкой. Тогда-то прозвище ей и переменяли.

Назад в слободу ей ходу не было, да и не хотела она. Жизнь у ней пошла совсем другая. Обычный народ ее

сторонился. Она мимо идет — крестятся, да через плечо плюют. А клеились к ней известно кто — фартовые ребята, отчаянные, кому и смерть нипочем. Она ведь, как из барина того сок весь высосала, вон какая стала, сам видал. Можно сказать, первая на всю Москву раскрасавица.

Так дальше и пошло. Кольша Штырь (забироха был знаменитый, на Мещанах промышлял) с ней месяца два погулял — свои же ребята его на ножи поставили, слам не поделили.

Потом Яшка Костромской был, конокрад. Чистокровных рысаков прямо из конюшен уводил, цыганам продавал за огромные деньжищи. Иной раз в карманах по нескольку тыщ носил. Ничего для нее не жалел, прямо в золоте купал. Застрелили Яшку псы легавые, полгода тому.

Теперь вот Князь с ней. Месяца три уже. То-то он и куражится, то-то и беснуется. Раньше был вор как вор, а ныне ему человека кончить, что муху раздавить. Всё потому что со Смертью связался и понимает: недолго ему теперь землю топтать. Присказка есть: позвал смерть в гости, будешь на погосте. Прозвище — оно неспроста дается, да еще такое.

— Что за прозвище-то? — не выдержал Сенька, слушавший рассказ с разинутым ртом. — Ты, Проха, так и не сказал.

Проха на него вылупился, костяшками себя по лбу постучал. Ну ты, говорит, сырой-непропеченный. И чего тебя только Скориком кличут? Я ж тебе, говорит, битый час толкую. Смерть — вот какое у ней прозвище. Все ее так зовут. Она ничего, привыкла, откликается.

КАК СЕНЬКА СТАЛ ХИТРОВАНЦЕМ

Это Проха думал, что у Сеньки кличка такая — Скорик. Пацан шустрый, глазами во все стороны стреляет и на ответ ловкий, за словом в карман не полезет, оттого и прозвали. А на самом деле у Сеньки прозвище от фамилии взялось. Так родителя именовали: Скориков Трифон Степанович. А как теперь именуют, одному Богу известно. Может, он теперь и не Трифон Степаныч вовсе, а какой-нибудь ангел Трифаниил. Хотя папаша в ангелы навряд ли попал — все ж таки выпивал сильно, хоть и добрый был человек. А вот мамка, та всенепременно где-нибудь неподалеку от Светлого Престола обретается.

Сенька часто про это думал, кто из родных куда попал. Насчет отца сомневался, а про мать и братиков-сестричек, что вместе с родителями от холеры преставились, уверен был и даже о Царствии Небесном для них не молил — знал, и без того там они.

Холера к ним в слободу три года тому наведалась, много кого с собой забрала. Из всех Скориковых только Сенька и брат Ваня на белом свете зацепились. К добру ли, к худу ли — это еще как посмотреть.

Для Сеньки-то скорее к худу, потому что жизнь для него с тех пор совсем другая пошла. Папаша приказчиком служил при большом табачном магазине. Жалованье имел хорошее, табак бесплатно. В малолетстве Сенька всегда одет-обут был. Как говорится, брюхо сыто и рожь мыта. Грамоте и арифметике в положенный срок обучен, даже в Коммерческое училище полгода отходить успел, но как осиротел, учение кончилось. Да ляд бы с ним, с учением, невелика потеря, не о нем печаль.

Брату Ваньке повезло, его взял к себе мировой судья Кувшинников, что у папаша всегда английский табак покупал. У судьи жена была, а детей не было, вот он Ванятку и забрал, потому что маленький и пухленький.

А Сенька уж большой был, мосластый, судье такой без интересу. И забрал к себе Сеньку двоюродный дядька Зот Ларионыч на Сухаревку. Там-то Скорик от рук и отбился.

А как было не отбиться?

Дядька, гад брюхатый, держал впроголодь. За стол с семьей не сажал, даром что родная кровь. По субботам драл — бывало, что за дело, но чаще просто так, для куражу. Жалованья не давал никакого, хотя Сенька в лавке надрывался не хуже прочих рассыльных, кому по восьми рублей плачивалось. А обидней всего, что по утрам Сенька должен был за троюродным братом Гришкой ранец в гимназию таскать. Гришка идет себе впереди важный, конфекту ландриновую сосет, а Сенька, значит, за ним тащится, будто крепостной в стародавние времена, с тяжеленным ранцем (Гришка иной раз от озорства еще нарочно кирпич внутрь засовывал). Его бы, Гришку этого, как чирей выдавить, чтоб нос не драл и леденцами делился. Или тем самым кирпичом по макушке, а нельзя, терпи.

Ну, Сенька и терпел, сколько мог. Считай, три года целых.

Конечно, и отыгрывался тоже, когда мог. Нужно ведь и душе облегчение давать.

Как-то раз Гришке в подушку мышонка запустил. Тот ночью на свободу прогрызся, да у троюродного братца в волосах запутался. То-то крику среди ночи было. И ничего, никто на Сеньку не подумал.

Или вот на последней масленой, когда в доме всего напекли-наварили-нажарили, а сироте дали два блинка дырявых да постного маслица самую малость, Скорик осерчал и в котелок с густыми щами отвару овсяного, что от запору дают, плеснул. Побегайте-ка, жирномытые, до ветру, растряситесь. И тоже с рук сошло — на сметану несвежую подумали.

Когда получалось, мелочь всякую из лавки таскал: нитки там, ножницы или пуговицы. Чего можно, на Сухаревском толчке продавал, вовсе ненужное выкидывал. Тут, бывало, что и драли, но по одному только подозрению — впрямую уличен ни разу не был.

Зато уж когда погорел, то жарко, с дымом и огненными искрами. А всё жалостливое сердце, из-за него, групого, позабыл Сенька о всегдашней осторожности.

Получил весточку от братца Вани, про которого три года слухом не слыхивал. Часто тешился, представляя, как Ванюше, счастливчику, у судьи Кувшинникова хорошо, не то что Сеньке. А тут, значит, письмо.

Как дошло — удивительно. На конверте обозначено: *«На Москву в Сухаревку братику Сене што у дядя Зота живет»*. Это хорошо у Зот Ларионыча на Сухаревской почте знакомый почтарь служит, догадался и принес, дай ему Бог здоровья.

Письмо было вот какое.

«Милой братик Сеня как ты живош. А я живу очень плохо. Миня учут писать буквы а исчо ругают и обижают хотя у миня скоро ден ангела. А я у них как лошадку просил а они нивкакую. Приежай и забири миня от этих недобрых людей. Твой братик Ванюша».

Сенька как прочитал — руки затряслись и слезы из глаз. Вот тебе и счастливчик! А судья-то хорош! Дитенка малого изводит, игрушку купить жидится. Чего тогда сироту на воспитание брал?

В общем, очень за Ванятку обиделся и решил, что будет ирод последний, если брата в таком мучительстве бросит.

Обратного адреса на конверте не было, но почтарь сказал, что штемпель теплостанский, это за Москвой, от Калужской заставы верст десять будет. А уж где там судья живет, это на месте спросить можно.

Решал Скорик недолго. Как раз назавтра и Иоанн выпадал, Ванюшкины именины.

Собрался Сенька в дорогу, брата выручать. Если Ваньке совсем плохо — с собой забрать. Лучше уж вместе горемыкать, чем поврозь.

Присмотрел в игрушечном магазине на Сретенке кобылку лаковую, с мочальным хвостом и белой гривой. Красоты несказанной, но дорогушая — семь рублей с полтинничком. В полдень, когда у дядьки Зота в лавке один глухой Никифор остался, подцепил Сенька гвоздем

замок на кассе, вынул восемь рублей и давай Бог ноги. Про расплату не думал. Было у Скорика такое намерение — вовсе к дядьке не возвращаться, а уйти с братом Ванькой на вольное житье. К цыганам в табор или еще куда, там видно будет.

Шел до этих самых Теплых Станов ужас сколько, все ноги оттоптал, да и кобыла деревянная чем дальше, тем тяжелей казалась.

Зато дом судьи Кувшинникова отыскал легко, первый же теплостанский житель указал. Хороший был дом, с чугунным козырьком на столбах, с садом.

В парадную дверь не полез — посовестился. Да, поди, и не пустили бы, потому что после долгой дороги был Сенька весь в пылище, и рожа поперек рассечена, кровью сочится. Это за Калужской заставой, когда с устатку прицепился сзади к колымаге, кучер, гнида, ожег кнутом, хорошо глаз не выбил.

Присел Сенька на корточки напротив дома, стал думать, как дальше быть. Из открытых окон сладко потренькивало — кто-то медленно, нескладно подбирал какую-то неизвестную Сеньке песню. Иногда слышался звонкий голосок, не иначе Ваняткин.

Наконец, осмелев, Скорик подошел, встал на приступку, заглянул через подоконник.

Увидел большую красивую комнату. У здоровенного полированного ящика («пианино» называется, в училище тоже такое было) сидел кудрявый малолеток в матросском костюмчике, шлепал розовыми пальчиками по клавишам. Вроде Ванька, а вроде и не он. Собой гладенький, свеженький — хоть заместо пряника ешь. Рядом барышня в стеклышках, одной рукой листки в тетрадке на подставочке переворачивает, другой рукой пацаненка по золотистой макушке гладит. А в углу игрушек видимо-невидимо, и лошадок этих, куда побогаче Сенькиной, три штуки.

Не успел Скорик в толк взять, что за непонятность такая — как вдруг из-за угла коляска выкатывает, парой запряженная. Едва успел соскочить, прижаться к забору.

В коляске сидел сам судья Кувшинников, Ипполит Иванович. Сенька его сразу признал.

Ванька из окна высунулся, да как закричит:

— Привез? Привез?

Судья засмеялся, на землю слез. Привез, говорит. Неужто не видишь. Как, говорит, звать ее будем?

И только теперь Сенька разглядел, что к коляске сзади жеребенок привязан, рыжий, с круглыми боками. Даже не жеребенок, а вроде как взрослая лошадь, но только маленькая, не многим боле козы.

Ванька давай верещать: «Пони! У меня будет настоящий пони!» А Сенька повернулся и побрел себе обратно к Калужской заставе. Савраску деревянную оставил в траве у обочины, пускай пасется. Ваньке не нужна — может, другому какому ребятенку сгодится.

Пока шел, мечтал, как пройдет сколько-то времени, вся Сенькина жизнь чудесно переменится, и приедет он сюда снова, в сияющей карете. Вынесет лакей карточку с золотыми буквами, на которой про Сеньку всё в лучшем виде прописано, и эта барышня, со стеклышками, скажет Ванятке: мол, Иван Трифонович, к вам братец пожаловали, с визитом. А на Сеньке костюм шевиотовый, гамаша на пуговках и палочка с костяным набалдашником.

Дотащился до дому уже затемно. Лучше б вовсе не возвращался — сразу сбежал.

Дядька Зот Ларионыч прямо с порога так звезданул, что искры из глаз, и зуб передний высадил, через который теперь плевать удобно. После, когда Сенька упал, Зот Ларионыч его еще ногами по ребрам охаживал и приговаривал: это цветочки, ягодки впереди. В полицию, кричал, на тебя нажаловался, господину околоточному заявлению отписал. За воровство в тюрьму пойдешь, курвин сын, там тебе ума пропишут. И еще грозился-далялся по-всякому.

Ну Скорик и сбежал. Когда дядька, руками-ногами махать умаявшись, стал со стены коромысло снимать, на чем бабы воду носят, дунул Сенька из сеней, сплевывая кровянку и размазывая по роже слезы.

Ночь протрясся от холода на Сухаревском рынке, под возом сена. Страсть до чего жалко себя было, ребра ныли, морда побитая болела и еще очень жрать хотелось. Пол-

тинник, что от кобылы остался, Сенька еще вчера проел и теперь у него в кармане, как в присказке, обретались голый в бане, вошь на аркане, да с полбанки дыр от баранки.

На рассвете ушел с Сухаревки, от греха подальше. Коли Зот Ларионыч в околоток ябеду накатыл, зацапает Сеньку первый же городской и в кутузку, а оттуда не скоро выйдешь. Надо было подаваться туда, где Скорикова личность не примелькалась.

Пошел на другой рынок, что на Старой-Новой площади, под Китайгородской стеной. Терся близ обжорного ряда, вдыхал носом запах печева, глазами постреливал — не зазеваается ли какая из торговых. Но стянуть робел — все же никогда вот так, в открытую не воровал. А ну как поймают? Утопчут ногами так, что Зот Ларионыч родной мамушкой покажется.

Бродил по рынку, от улицы Солянки держался в стороне. Знал, что там, за нею, Хитровка, самое страшное на Москве место. На Сухаревке, конечно, тоже фармазонщиков и щипачей полно, только куда им до хитровских. Вот где, рассказывали, жуть-то. Кто чужой сунься — враз догола разденут, и еще скажи спасибо, если живой ноги унесешь. Ночлежки там страшные, с подвалами и подземными схронами. И каторжники там беглые, и душегубы, и просто пьянь-рвань всякая. Еще говорили, если какие из недоростков туда забредут, с концами пропадают. Будто бы есть там такие люди особые, хапуны называются. Хапуны эти мальчишек, которые без провожатых, отлавливают и по пяти рублей жидам с татарами в тайные дома на разврат продают.

Потом-то оказалось — брехня это. То есть про ночлежки и рвань правда, а хапунов никаких на Хитровке нету. Когда Сенька своим новым братанам про хапунов брякнул, то-то смеху было. Проха сказал, кто из пацанов желает легкую деньгу сшибить — это заради Бога, а насильно мальцов поганить ни-ни, Обчество такого не позволяет. Прирезать по ночному времени — это запросто. Спьяну или если какой баклан сдуру залетит. Недавно вот нашли в Подкопаевском одного: башка всмятку,

пальцы прямо с перстнями поотрезаны и глаза выколо-ты. Сам виноват. Не лезь, куда не звали. На то и кот, чтоб мыши не жирели.

Зачем глаза-то колоть? — испугался Сенька.

А Михейка Филин смеется: поди, спроси у тех, кто колол.

Но разговор этот уже после был, когда Сенька сам хитрованцем сделался.

Быстро всё вышло и просто — можно сказать, чихнуть не успел.

Примеривался Скорик, в сбитенном ряду, чего бы утырить, храбрости набирался, а тут вдруг шум, гам, крик. Баба какая-то орет. Караул, мол, обокрали, кошель вынули, держи воров! И двое пацанов, Сенькиных примерно лет, несутся прямо по прилавкам, только миски да кружки из-под сапог разлетаются. Одного, который пониже, сбитенщица ручищей за пояс схватила, да на землю и сдернула. Попался, кричит, волчина! Ну уж будет тебе! А второй воренок, востроносый, с лотка прыгнул, и тетке этой рраз кулаком в ухо. Она сомлела и набок — брык (у Прохи завсегда при себе свинчатка, это Сенька потом узнал). Востроносый дернул второго за руку, дальше бежать, но к ним уже со всех четырех сторон подступались. За сбитенщицу ушибленную, наверно, до смерти бы обоих уходили, если б не Скорик.

Как Сенька заорет:

— Православные! Кто рупь серебряный обронил?

Ну, к нему и кинулись: я, я! А он меж протянутых рук проскользнул и ворятam, на бегу:

— Что заявиться? Ноги!

Они за ним припустили, а когда Сенька подле подворотни замешкался, обогнали и рукой махнули — за нами, мол, давай.

В тихом месте отдышались, поручкались. Михейка Филин (тот, что поменьше и пощекастей) спросил: ты чей, откуда?

Сенька в ответ:

— Сухаревский.

Второй, что Прохой назвался, оскалился, будто смешное услышал. А чего, говорит, тебе на Сухаревке не сиделось?

Сенька молча сплюнул через выбитый зуб — не успел тогда еще с обновой обвыкнуться, но все равно аршина на три, не меньше.

Сказал скупно:

— Нельзя мне там больше. Не то в тюрьму.

Пацаны поглядели на Скорика уважительно. Проха по плечу хлопнул. Айда, говорит, с нами жить. Не робей, с Хитровки выдачи нет.

КАК СЕНЬКА ОБЖИВАЛСЯ НА НОВОМ МЕСТЕ

С пацанами, значит, жили так.

Днем ходили тырить, ночью — бомбить.

Тырили все больше на той же Старой площади, где рынок, или на Маросейке, где торговые лавки, или на Варварке, у прохожих, иногда на Ильинке, где богатые купцы и биржевые маклеры, но дальше ни-ни. Проха, старшой, называл это «в одном дёре от Хитровки» — в смысле, чтоб в случае чего можно было дёрнуть до хитровских подворотен и закоулков, где тырщиков хрен поймашь.

Тырить Сенька научился быстро. Дело легкое, веселое.

Михейка Филин «карася» высматривал — человека поразявистей — и проверял, при деньгах ли. Такая у него, у Филина, работа была. Пройдет близехонько, потрется и башкой знак подает: есть, мол, лопатник, можно. Сам никогда не щипал — таланта у него такого в пальцах не было.

Дальше Скорик вступал. Его забота, чтоб «карась» рот разинул и про карманы позабыл. На то разные заходцы имеются. Можно с Филиным драку затеять, народ на это поглазеть любит. Можно взять и посередь мостовой на руках пройтись, потешно дрыгая ногами (это Сенька сызмальства умел). А самое простое — свалиться «карасю» под ноги, будто в падучей, и заорать: «Лихо мне, дяденька (или тетенька, это уж по обстоятельствам). Помираю!» Тут, если человек сердобольный, непременно остановится посмотреть, как паренька корчит; а если даже сухарь попался и дальше себе пойдет, так все равно оглянется — любопытно же. Прохе только того и надо. Чик-чирик, готово. Были денежки ваши, стали наши.

Бомбить Сеньке нравилось меньше. Можно сказать, совсем не нравилось. Вечером, опять-таки где-нибудь поближе к Хитровке, высматривали одинокого «бобра» (это как «карась», только выпимши). Тут опять Проха главный. Подлетал сзади и с размаху кулаком в висок, а в кулаке свинчатка. Как свалится «бобер», Скорик с Филином с двух сторон кидались: деньги брали, часы, еще там чего, ну и пиджак-штиблеты тоже сдергивали, коли стоящие. Если же «бобер» от свинчатки не падал, то с таким бугайной не вязались: Проха сразу улепетывал, а Скорик с Филином и вовсе из подворотни носу не совали.

Тоже, в общем, дело нехитрое — бомбить, но противное. Сеньке сначала жутко было — ну как Проха человека до смерти зашибет, а потом ничего, привык. Во-первых, все ж таки свинчаткой бьет, не кастетом и не кистенем. Во-вторых, пьяных, известно, Бог бережет. Да и башка у них крепкая.

Слам продавали сламщикам из бунинской ночлежки. Иной раз на круг рублишка всего выходил, в удачный же день до пяти червонцев. Если рублишка — ели «собачью радость» с черняшкой. Ну а если при хорошем хабре, тогда шли пить вино в «Каторгу» или в «Сибирь». После полагалось идти к лахудрам (по-хитровски «мамзелькам»), кобелиться.

У Прохи и у Филина мамзельки свои были, постоянные. Не марухи, конечно, как у настоящих воров — столько не добывали, чтоб только для себя маруху держать, но все-таки не уличные. Иной раз пожрать дадут, а то и в долг поверят.

Сенька тоже скоро подрунькой обзавелся, Ташкой звать.

Проснулся Сенька в то утро поздно. Спьяну ничего не помнил, что вчера было. Глядит — комнатенка маленькая, в одно занавешенное окошко. На подоконнике горшки с цветами: желтыми, красными, голубыми. В углу, прямо на полу, баба какая-то жухлая, костлявая валяется, кашлем бухает, кровью в тряпку плюет — видно, в чахотке. Сам Сенька лежал на железной кровати, голый, а на другом конце кровати, свернув ноги по-турецки, сидела девчонка лет тринадцати, смотрела в какую-

то книжку и цветы раскладывала. Притом под нос себе что-то приговаривала.

— Ты чего это? — спросил Сенька осипшим голосом.

Она улыбнулась ему. Гляди, говорит, это белая акация — чистая любовь. Красный бальзамин — нетерпение. Барбарис — отказ.

Он подумал, малахольная. Не знал еще тогда, что Ташка цветочный язык изучает. Подобрала где-то книжонку «Как разговаривать при посредстве цветов», и очень ей это понравилось — не словами, а цветами изъясняться. Она и трешницу, что от Сеньки за ночь получила, почти всю на цветы потратила. Сбегала с утра на базар, накупила целую охапку всякой травы-муравы и давай раскладывать. Такая уж она, Ташка.

Сенька у ней тогда чуть не весь день провел. Сначала лечился, рассол пил. Потом поел хлеба с чаем. А после уже так сидели, без дела. Разговаривали.

Ташка оказалась девка хорошая, хоть и не без придури. Взять хоть цветы эти или мамку ее, пьянчужку горькую, чахоточную, ни на что негодную. Чего с ней возиться, зря деньги переводить? Всё одно помрет.

А вечером, перед тем как на улицу идти, Ташка вдруг говорит: Сень, мол, а давай мы с тобой будем товарищи.

Он говорит:

— Давай.

Сцепились мизинцами, потрясли, потом в уста поцеловались. Ташка сказала, что так между товарищами положено. А когда Сенька после поцелуя начал ее ласкать, она ему: ты чего, говорит. Мы ж товарищи. Товарища кобелить — последнее дело. Да и не нужно тебе со мной, у меня французка, от приказчика одного подцепила. Будешь со мной вакситься — нос твой сопливый отвалится.

Сенька переполошился:

— Как французка? Чего ж ты вчера не сказала?

Вчера, говорит, ты мне никто был, клиент, а теперь мы товарищи. Да ничего, Сенька, не пужайся, болезнь эта не ко всякому пристаёт и редко, когда с одного раза.

Он малость успокоился, но жалко ее стало.

— А ты как же?

Подумаешь, говорит. У нас таких много. Ничего, живут себе. Иные мамзельки с французкой до тридцати годов доживают, а кто и дольше. По мне так и тридцать больно много. Вон мамке двадцать восьмой годок, а старуха совсем — зубы повыпали, в морщинах вся.

По правде сказать, Скорик только перед пацанами Ташку мамзелью звал. Стыдно было правду сказать — засмеют. Да ладно, чего там. Кобелить кого хочешь можно, была бы трешница, а другого такого товарища где возьмешь?

Короче, выходило, что жить можно и на Хитровке, да еще получше, чем в иных прочих местах. Тоже и здесь, как везде, имелись свои законы и обыкновения, которые нужны, чтоб людям было способнее вместе жить, понимать, что можно, а чего нельзя.

Законов много. Чтоб все упомянуть, это долго на Хитровке прожить надо. По большей части порядки простые и понятные, самому допереть можно: с чужими как хошь, а своих не трожь; живи-поживай, да соседу не мешай. Но есть такие, что сколько голову ни ломай, не усмыслишь.

Скажем, если кто допрежь третьего часа ночи кочетом крикнет — из озорства, или спьяну, или так, от дури, — того положено бить смертным боем. Зачем, почему, никто Сеньке разъяснить не сумел. Было, верно, когда-то какое-нибудь в этом значение, но теперь уже и старые старики не вспомнят, какое. Однако орать петухом среди ночи все одно нельзя.

Или еще. Буде какая мамзелька начнет для форсу зубы магазинным порошком чистить и клиент ее в том уличит — имеет полное право все зубья ей повыбить, и мамзелькин «кот» такой ущерб должен стерпеть. Мелом толченым чисти, если покрасоваться желаешь, а порошком не мочи, его немцы придумали.

Хитровские законы, они двух видов: от прежних времен, как в старину заведено было, и новые — эти объявлялись от Общества, по необходимости. Вот, к примеру, конка по бульвару пошла. Кому на ней работать — щипачам, что пальцами карманы щиплют, или резунам, что

монетой заточенной режут? Обчество посовещалось, решило — резунам нельзя, потому на конке одна и та ж публика ездит, ей тогда карманов не напасешься.

Обчество состояло из «дедов», самых почтенных воров и фартовых, кто с каторги вернулся или так, по старческой немоши, от дел отошел. Они, «деды», любую каверзную закавыку разберут и, если кто перед Обчеством провинился, приговор объявят.

Кто людям жить мешает — прогонят с Хитровки. Если сильно наподличал, могут жизни лишить. Иной раз в наказание выдадут псам, да не за то, в чем истинно перед Обчеством виноват, а велят на себя чужие дела взять, за кого-нибудь из деловых. Так оно для всех справедливей выходит. Нашкодил перед Хитровкой — отслужи: себя отбели и людям хорошим помоги, а за это про тебя в тюрьме и в Сибири слово скажут.

В полицию приговоренного выдавали тоже не абы кому, а только своему, Будочнику, старейшему хитровскому городовому.

Будочник этот в здешних местах больше двадцати лет отслужил, без него и Хитровка не Хитровка, она на нем, можно сказать, словно земля на рыбе-кит стоит, потому как Будочник — власть, а народу совсем без власти нельзя, от этого он, народ, в забвение себя входит. Только власти должно быть немножко, самую малость, и чтоб не по бумажке правила, которую неизвестно кто и когда придумал, а по справедливости — чтоб всякий человек понимал, за что харю ваксят.

Про Будочника все говорили: крут, но справедлив. Зря не обидит. В глаза все его звали уважительно, Иван Федотычем, а фамилия ему было Будников. Но Сенька так и не понял, по фамилии ему прозвище дали, или оттого что в прежние времена, говорят, всех московских городских будочниками звали. А может, из-за того, что проживал он в казенной будке на краю Хитровского рынка. Когда обходом не вышагивал, то во всякое время сидел у себя, перед открытым окном, на площадь поглядывал, читал книжки с газетами и пил чай из знаменитого серебряного самовара с медалями, которому цена тыща

рублей. И запоров в будке не имелось, вот как. А зачем Будочнику запоры? Во-первых, что от них толку, когда вокруг полно шпилечников да форточников наивысшего разбора. Им любой замок открыть — левое дело. А во-вторых, кто же полезет у Будочника тырить, кому жизнь надоела?

Всё ему, служивому, из своего окошка было слышать, всё видеть, а чего не увидит, не услышит — шепнут верные люди. Это ничего, Обчеством не возбраняется, потому что Будочник на Хитровке свой. Если б он не по хитровским, а по писаным законам бытовал, давно бы уж порезали его насмерть. А так, если и заберет кого в участок, то все с пониманием: стало быть, нельзя иначе, тоже и ему надо перед начальством себя показать. Только Будочник редко кого сажал — разве уж никак без этого нельзя, — а так всё больше сам рученьками учил, и еще кланялись, спасибо говорили. За все годы один только раз двое фартовых на него с ножом поперли, не хитровские, а беглые, с каторги. Он обоих пудовыми своими кулачищами до смерти уделал, и была ему за это от пристава медаль, от людей полное уважение, да еще от Обчества золотые часы за неудобство.

Когда Сенька малость обжился, стало ясно: не такая уж она страшная, Хитровка. И веселей тут, и свободней, а про сытней и говорить нечего. Зимой, когда похолодает, наверно, набедуешься, да только зима, она когда еще будет.

КАК СЕНЬКА ПОЗНАКОМИЛСЯ СО СМЕРТЬЮ

Было это дней через десять после того, как Сенька увидал Смерть впервые.

Торчал он возле ее дома, что на Яузском бульваре, поплеывал на тумбу, куда лошадей привязывают, и пялился на приоткрытые окна.

Знал уже, где она проживает, пацаны показали, и, по правде говоря, терся здесь не первый день. Дважды свезло, видел ее издали мельком. Один раз, тому четыре дня, Смерть из дому вышла, в платочке черном и черном же платье, села в поджидавший шарабан и поехала в церковь, к обедне. А вчера видел ее под ручку с Князем: одета барыней, в шляпе с пером. Повез ее кавалер куда-то — в ресторанцию или, может, в театр.

Заодно и на Князя поглядел. Что сказать — молодец хоть куда. Как-никак первый на всю Москву налетчик, шутка ли. Это генералу-губернатору Симеон Александровичу легко: родился себе царевым дядькой, вот тебе и генерал, и губернатор, а поди-ка выбейся средь всех московских фартовых на самое первеющее место. Вот уж вправду: из грязи да в князи. И ребята, кто при нем состоит, молодец к молодцу — все говорят. И будто бы совсем молодые есть, немногим старше Сеньки. Надо же, какое некоторым счастье, вот так враз, с зеленых лет к самому Князю в товарищи попасть. И почет им, и девки какие хочешь, и деньжищ немеряно, и одеваются селезнями.

Сам знаменитейший налетчик, когда Сенька его увидел, был в красной шелковой рубаше, атласной жилетке цвета лимон, бархатном малиновом сюртуке; на затылке шляпа золотистой соломки; на пальцах золотые перстни с камнями; сапожки — зеркальный хром. Заглядение! И на лицо тоже красавец хоть куда. Русский чуб враз-

лет, дерзкий синий глаз навывкате, меж красных губ золотой искоркой фикса посверкивает, а подбородок будто каменный и посередке ямка.

Не пара — картинка, подумал Сенька и отчего-то вздохнул.

То есть ничего такого себе в голове не держал, отчего вздыхать бы следовало. Ни в какие глупые мечтания не пускался, Боже сохрани. И на глаза к Смерти не лез. Хотелось просто на нее еще посмотреть, разглядеть получше, что в ней такого необыкновенного, отчего, как увидишь ее, всю внутреннюю будто в кулак забирает. Вот и стаптывал на бульваре подметки уж который день подряд. Как оттырит свое с пацанами, так сразу на Яузский.

Дом снаружи уже весь обсмотрел, в доскональности. И про то, какой он внутри, тоже знал. Пархом-слесарь, который Смерти рукомойник починял, рассказывал, что Князь обустроил свою полюбовницу самым шикарным манером, даже трубы водяные провел. Если не наврал Пархом, то у Смерти там в особой комнате бадья имелась фарфоровая, ванна называется, и в нее из железной трубки сама собой вода течет горячая, потому что сверху котел с газовым подогревом. Смерть в той бадье чуть не каждый Божий день моется. Сенька представил себе, как она там сидит вся розовая, распаренная, мочалкой плечи трет, и от такой фантазии самого в пар кинуло.

Тоже и с улицы если посмотреть, домик был очень ничего себе. Раньше тут усадьба была, генерала какого-то, да в пожар выгорела, один этот флигелек остался. Небольшой, в четыре окна на бульвар. Место тут было особенное, самая граница между хитровскими трущобами и богатенькими Серебряниками. По ту, яузскую сторону дома были повыше, почище, поленнистей, а по эту, хитрованскую, поплоше. На лошаков похожи, которых на Конном рынке продают: с крупа посмотришь — вроде лошадь как лошадь, а с другой стороны зайдешь — ишак ишаком.

Вот и Смертын дом выглядывал на бульвар аккуратно, важно, а двором выходил в самую что ни на есть гнилую подворотню, от которой до Румянцевской ночлеж-

ки доплюнуть можно. Видно, так Князю удобней было свою кралою поселить — чтоб в случае чего, если у ней обложат, рвануть с черного хода или хоть из окна, да в ночлежный дом, а там ходы-коolidоры подземные, сам черт ногу сломит.

Но от бульвара, где промеж деревьев гуляла культурная публика, ни темной подворотни, ни тем более Румянцевки видно не было. Хитрованцам за ажурную оградку ход был заказан — враз псы метлой заметут, да в кузовок мусорный. И тут-то, на хитровском берегу, Сенька себя не больно авантажно держал, всё больше к стене дома жался. Вроде и не рвань какая, и вел себя чинно, а все одно — проходил мимо Будочник, глазом зыркнул, остановился.

Ты что тут жмешься, говорит. Ты, Скорик, смотри у меня.

Вот он какой! Уже и личность знал, и прозвище, даром что Сенька на Хитровке из новеньких. Одно слово — Будочник.

Ты, говорит, тут тырить не моги, нет на это твоей юрисдикции, потому тут уже не Хитровка, а гражданская променада. Гляди, мол, несовершеннолетний Скорик, мартышкино семя, ты у меня на сугубом наблюдении до первого попрания законности, а при уличении или хучь бы даже подозрении получишь от меня реприманд по мордасам, штрафную ухотрепку и санкцию ремнем по ребрам.

— Да я чего, дяденька Будочник, — жалостно скривился Сенька. — Я так только, на солнышке погреться.

Ну и получил по затылку чугунной лапой — аж промеж ушей хрустнуло.

Я те дам, рычит, «Будочник». Ишь, волю взял. Я тебе Иван Федотыч, понял?

Сенька ему смиренно:

— Понял, дяденька Иван Федотыч.

Тогда только брови рассупил. То-то, сказал, мартышка сопливый. И пошел дальше — важный, медленный, большой, будто баржа поплыла по Москве-реке.

Ну ладно, ушел себе и ушел. Сенька стал дальше стоять. Поглядывал на Смертьины окошки, и уж ему того

мало казалось. Прикидывал, как бы так сделать, чтобы Смерть выглянула, себя показала.

От нечего делать достал из кармана бусы зеленые, что нынче утром добыл, принялся их разглядывать.

С бусами, оно вот как вышло.

Шел Сенька с Сухаревки через Сретенские переулки...

Нет, сначала нужно рассказать, зачем на Сухаревку ходил. Тут тоже было чем погордиться.

На Сухаревку Скорик не просто так отправился, а по честному делу. С дядькой Зот Ларионычем поквитаться. Жил-то теперь по хитровским законам, а законы эти плохому человеку спускать не велили. Беспременно полагалось за всякую обиду расчет произвести, и хорошо бы с переплатой, иначе будешь не пацан — улейка мокрохвостая.

Ну, Сенька и пошел, да еще Михейка Филин в попутчики навязался. Если б не Михейка, то среди бела дня на такое вряд ли б насмелился, ночью бы провернул, ну а тут деваться некуда, пришлось молодечить.

Но вышло всё на ять, важно.

Засели на чердаке ломбарда «Мёбиус», что напротив дядькиной лавки. Михейка только глазел, Сенька всё сам произвел, своими руками.

Вынул свинцовую пульку, прицелился из рогатки — и хрясь ровно в середку витрины. Их, большенных стеклянных окон с серебрёными буквами «Пуговичная торговля», у Зот Ларионыча целых три было. Очень он ими гордился. Бывало по четыре раза на дню гонял Сеньку стекла эти поганые бархоточкой надраивать, так что и к витринам у Скорика свой счет был.

На звон и брызг выбежал из лавки Зот Ларионыч в переднике, одной рукой лоток с шведскими костяными пуговицами держит, в другой шпулю ниток (знать, покупателя обслуживал). Башкой вертит, рот разевает, никак в толк не возьмет, что за лихо с витриной приключилось.

Тут Сенька рраз! — и вторую вдребезги. Дядька товар выронил, на коленки бухнулся и давай сдуру стеклышки расколотые подбирать. Ну, умора!

А Скорик уже в третье окно нацелился. Лопнуло так — любо-дорого посмотреть. Кушайте, любезный Зот Ларионыч, за вашу к сироте заботу-ласку.

Последней дулей, самой увесистой, раззадорившись, щелкнул дядьку по маковке. Тот, кровосос, так с коленок на бок и завалился. Лежит, глаза выпученные, а орать больше не орет — вот как изумился.

Михейка от Скориковой лихости был в полном восхищении: и в четыре пальца свистел, и совой ухал — у него это здорово получалось, потому и «Филином» прозвали.

А как шли обратно по-за Сретенкой, Ащеуловым переулком, (Сенька солидно помалкивал, Михейка тараторил без умолку, восхищался), видят — две коляски стоят перед неким домом. Чемоданы вносят с заграничными наклейками, коробки какие-то, ящики. Видно, приехал кто-то, заселяется.

Сеньке сретенской виктории мало показалось.

— Маханем? — кивнул он на багаж. Всякий ведь знает, что тырить лучше всего на пожаре да на переезде.

Михейке тоже охота была себя показать. А чего, говорит, давай.

Первым в подъезд барин вошел. Его Сенька толком не разглядел — видел только широкие плечи и прямую спину, да седой висок из-под цилиндра. Однако барин был, хоть и седой, но, судить по звонкому голосу, не старый. Крикнул, уже из парадного, немножко заикаясь:

— Маса, п-пригляди, чтоб фару не разбили!

Распоряжаться остался слуга. Не то китаец, не то туркестанец какой — короче, низенький, кривоногий, с узкими глазенками. Одет тоже чудно: в котелке и чесучовой тройке, а на ногах вместо штиблет белые чулки и потешные деревянные шлепанцы навроде скамеечек. Одно слово — азиат.

Носильщики в кожаных фартуках с бляхами (вокзальные — значит, барин на железке приехал) вносили в дом всякую всячину: связки книг, какие-то колеса на каучуковых шинах с блестящими спицами, медный сияющий фонарь, трубки со шлангами.

Подле китайца — или кто он там — стоял бородатый дядя, видно, квартирный хозяин, почтительно наблюдал. Про колеса спросил: для чего, мол, они господину Ней-млесу и не каретных ли он дел мастер.

Азиат не ответил, только щекастой ряхой помотал.

Один из извозчиков, не иначе как на чаевые набиваясь, гаркнул на Сеньку и Филина: а ну геть отседа, шпана!

Пускай орет — поленится с козел слезать.

Михейка шепотом спросил:

— Скорик, чего тырить будем? Чемодан?

— Какой чемодан, дура, — скривив губы, процедил Сенька. — Примечай, что он из рук не выпускает.

А китаец держал при себе саквояж и еще узелок малый — надо думать, самое ценное, чего чужим не доверишь.

Михейка снова шипит: а как взять? Чай, если вцепился, не выпустит?

Скорик подумал-подумал и сообразил.

— Ты, Филин, главное, не заржи, делай пустую рожу.

Поднял с земли камешек, прицелился и — чпок! — сбил с азиата котелок. Руки сразу в карман, рот раскрыл — прямо ангел.

Когда косоглазый оглянулся, Сенька ему со всем почтением:

— Дядя китаец, у вас шляпка свалилась.

И Михейка, молодец, ничего — стоит, глазами хлопает.

Ну-ка, поглядим, что нехристь на приступочку положит, чтоб котелок подобрать, — саквояж или узелок.

Узелок. Саквояж у слуги в левой руке остался.

Сенька уж наготове был. Подскочил, будто кот на воробья, ухватил узелок и ка-ак припустит вдоль по переулку.

Михейка тож. Бежит рядом, филином ухает, а хохочет так, что картуз обронил. Да картузишко-то дрянь, с треснутым козырьком, не жалко.

Китаец настырный оказался, долго не отставал. Михейка скоро в подворотню отвалил, так азиат за одним Сенькой уклеился. Сурьезно бежал, ходко и на крик силу

не тратил. Видно было, что не отвяжется. Скамейками своими деревянными по мостовой тук-тук-тук, всё ближе и ближе.

На углу Сретенки Сенька хотел уже узелок к бесу кинуть (без Михейки куражу-то поубавилось), но тут сзади загромыхало — это китаеза своей дурацкой шлепанцей за будыгу зацепился и растянулся во весь невеликий рост.

То-то.

Сенька еще попетлял по переулкам и только потом узелок развязал — что там за сокровища такие. Увидел внутри зеленые круглые камешки на нитке. Собой невидные, но кто их знает, может, они тыщу стоят.

Снес знакомому сламщику. Тот пощупал, зубом погрыз. Дешевка, говорит. Мрамор китайский, нефрит называется. Семьдесят копеек, говорит, могу дать.

За семьдесят копеек Скорик не отдал, себе оставил. Больно уж вкусно камешки друг об дружку шелкали.

Однако ну их, бусы, не об них речь, а о Смерти.

Стало быть, торчал Сенька подле заветного дома и всё не мог придумать, как Смерть к окну подманить.

Достал зеленую низку, побрякал бусами — цок, цок. Подумалось: словно молоточки фарфоровые, хотя какие ж из фарфора могут быть молотки?

И вдруг таким же точно стуком в голове что-то отозвалось — звонко. А мы вон как ее выманим! И очень просто!

Посмотрел вокруг, подобрал стеклышко. Поймал луч позднелетнего солнца, да и пустил зайчика в просвет между шторами.

И что же? Минуты не прошло, занавески раздвинулись и выглянула наружу она самая, Смерть.

Сенька от неожиданности так обомлел, что руку со стеклом спрятать позабыл — так зайчик у Смерти по лицу и запрыгал. А она глаза ладонью прикрыла, посмотрела-посмотрела и говорит:

— Эй, мальчик!

Обиделся Скорик: какой я тебе мальчик. И одет вроде был не по-детски: в рубаху с подпояской, штаны плисо-

вые, сапоги новые, гармошкой, и картуз неплохой, третьего дня с одного пьяного снятый.

— Кому мальчик, а кому в пальчик, — огрызнулся Сенька, хотя срамных слов не любил и почти никогда не говорил — над ним за это даже смеялись. А тут похабство само выскочило — очень уж ослепительно было ему на Смерть глядеть, будто не он ее, а она его зайцем солнечным жжет.

Она не стушевалась, не озлилась — наоборот, засмеялась.

— Ишь, Пушкин какой выискался. Ты хитровский? Зайди-ка, дело есть. Заходи, не бойся, там не заперто.

— Чего бояться-то, — пробурчал Скорик, пошел к крыльцу. То ли явь, то ли сон — сам не разберет. А сердце стук-стук-стук.

Чего у нее в сенях, толком не разглядел, да и темновато было. Смерть в дверях горницы стояла, опершись плечом о косяк. Лицо в тени, но глаза все равно высверкивали, будто блики на ночной реке.

— Ну, чего надо? — спросил Сенька, от робости еще грубей прежнего.

На хозяйку не смотрел, всё больше под ноги и по сторонам.

Хорошая была комната. Большая, светлая. Три белые двери из нее: одна напротив входа и еще две рядышком. Печь-голландка с изразцами, всюду вышитые салфеточки, скатерть тоже в вышивке, такой яркой, хоть прищуривайся. На скатерти узор небывалый: бабочки, птицы райские, цветы. Посмотрел получше, а они все, и бабочки, и птахи, и даже цветы, с человеческими лицами — одни плачут, другие смеются, третьи злющие и зубы острые шерят.

Смерть спрашивает:

— Нравится? Это я вышиваю. Делать-то что-нибудь нужно.

Чувствовал он, что она его разглядывает, и самому страсть хотелось на нее вблизи посмотреть, но боялся — и без посмотрелок то в жар, то в холод кидало.

Наконец насмелился, поднял голову. Оказалось, Смерть с ним одного роста. И еще удивился, что глаза у ней совсем черные, как у цыганки.

— Что глядишь, конопатый? — засмеялась Смерть. — Ты зачем мне лучик пускал? Я тебя давно заметила, под окнами моими шастаешь. Влюбился, что ли?

Тут Сенька заметил, что глаза-то не совсем черные, а с тоненькими голубыми ободочками, и догадался: это у ней зрачки такие широченные, как у дядькиного любимого кота, когда его для смеху валерьянкой обпоят. И стало ему от этого черного взгляда жутко.

— Вот еще, — сказал. — Нужна ты мне.

И губу на сторону ухмыльнул. Она снова засмеялась.

— Э, да ты не только конопатый, но еще и шербатый. Я не нужна, так, может, деньги мои сгодятся? Сбегай в одно место, куда скажу. Недалеко, за Покровкой. Вернешься — рубль дам.

Скорика как заколдобило — он опять:

— Нужен мне твой рубль.

В оцепенении был, а то бы чего поумнее в ответ сказал.

— А что ж тогда тебе надо? Чего около дома крутишься? Ей-богу, влюбился. Ну-ка, смотри сюда. — И пальцами его за подбородок.

Он ее по руке хрясь — не лапай.

— Кобель в тебя влюбился. Мне от тебя другое нужно... — Сам не знал, чего бы ляпнуть, и вдруг, как по Божьему наитию — будто само с уст соскочило. — К Князю в шайку хочу. Замолви словечко. Тогда чего хошь для тебя сделаю.

Сказал и обрадовался — ай да ловко. Во-первых, не срамно — а то что она заладила «влюбился, влюбился». Во-вторых, себя заявил: не оголец, а сурьезный человек. Ну и вообще: вдруг правда к Князю пристроит. То-то Проха от зависти треснет!

Она лицом помертвела, отвернулась.

— Незачем тебе. Вон чего захотел, волчонок!

Обхватила себя за плечи, вроде как зябко ей, хотя в комнате тепло было. Постояла так с полминуты, снова к Сеньке повернулась и сказала жалобно, да еще за руку взяла:

— Сбегай, а? Я тебе не рубль — три дам. Хочешь пять?

Но Скорик уже понял: его сила, его власть, хоть и невдомек было, почему. Видно очень уж Смерти что-то на Покровке запонадобилось.

Отрезал:

— Нет, хоть четвертную давай, не побегу. А Князю шепнешь или отпишешь, чтоб меня взял, тогда вмиг слетаю.

Она за виски взялась, покривилась вся. Первый раз Сенька видел, чтобы баба, сморщив рожу, не утратила красоты.

— Черт с тобой. Исполни, что поручу, а там посмотрим.

И обсказала, чего ей нужно:

— Беги в Лобковский переулок, номера «Казань». Там у ворот калека сидит безногий. Шепни ему слово особенное: «иовс». Да не забудь, не то худо будет. Войдешь в номера, пускай тебя к человеку отведут, имя ему Очко. Скажешь ему тихонько, чтоб никто больше не слышал: «Смерть дожидается, мочи нет». Возьмешь, чего даст, и живо обратно. Всё запомнил? Повтори.

— Не попка повторять.

Нахлобучил Скорик картуз, да и выскочил на улицу.

Так вдоль бульвара припустил, что двух лихачей обогнал.

КАК СЕНЬКА ПОЙМАЛ СУДЬБУ ЗА ХВОСТ

Хорошо Сенька знал, где они, номера «Казань», а то их хрен сыщешь. Ни вывески, ничего. Ворота наглухо заперты, только малая калитка немножко приоткрыта, но тоже так, запросто, не войдешь: прямо перед железной решеткой расселся убогий инвалид, вместо ног штанины пустые завернуты. Зато плечищи в сажень, морда красная, дубленая, из засученных рукавов тельняшки видно крепкие, поросшие рыжим волосом лапы. Убогий-то он убогий, но, поди, как стукнет своей колотушкой, которой тележку от земли толкает, — враз душа вон.

Сенька сразу к безногому не полез, сначала пригляделся.

Тот не без дела сидел, свистульками торговал. Покрикивал сиплым басом, лениво: па-адхади, мелюзга, у кого есть мозга, свистульки из банбука, три копейки штука. Возле калеки толкалась ребятня, пробовала товар, дула в гладкие желтые деревяшки. Иные покупали.

Один попросил, показав на медную трубочку, что висела у инвалида на толстой шее: дай, мол, дедушка, эн-тот свисток опробовать. Калека ему щелобан по лбу: это тебе не свисток, а боцманская дудка, в нее всякой мелочи сопливой дуть не положено.

И стало Сеньке всё в доскональности ясно. Моряк этот тут для виду торговлю ведет, а сам, конечно, на стреме. И ловко как придумано-то: если шухер, дунет в свою медную свистелку — у ней, надо думать, голос звонкий, вот и будет знак остальным подметки смазывать. А слово волшебное, которому Смерть научила, «иовс», это «свои», только шиворот-навыворот. На Москве фартовые и воры издавна так язык ломали, чтоб чужим не понять: то слог какой прибавят, то местами переменяют, то еще что-нибудь удумают.

Подошел к стремщику, наклонился к самому уху, шепнул, чего было велено. Дед на него из под пучкастых бровей зыркнул, сиво-рыжим усищем дернул, сказать ничего не сказал, только малость на тележечке своей отъехал.

Вошел Скорик в пустой двор и остановился. Неужто здесь сам Князь с шайкой хазу держат?

Одернул рубаху, рукавом по сапогам провел, чтоб блестели. Картуз снял, снова надел. Перед дверью в дом перекрестился и молитовку пробормотал — особенную, об исполнении желаний, давно еще один хороший человек научил: «Пожалуй мя, Господи, по милости Твоей, призре на моление смиренных, воздаждь ми не по заслугам, а по хотению».

Собрался с духом, подергал — закрыто. Тогда постучал.

Открыли не сразу, и не во всю ширину, а на чуть-чуть, и чей-то глаз из темноты блеснул.

Сенька на всякий случай снова:

— Иовс.

Из-за двери спросили:

— Тебе чего?

— Очка бы желательно...

Тут дверь открылась вся, и увидел Скорик парня в шелковой рубахе с узорчатым ремешком, в сафьяновых сапожках, из жилетного кармана цепка серебряная свисает с серебряной же черепушкой — сразу видать, что деловой самовысшей пробы. И взгляд особенный, как у всех деловых: быстрый, цепкий, приметливый. Ух, как завидно стало: парнишка был его, Сенькиных, лет, а ростом еще и поменьше. Вот людям фарт!

Пойдем, говорит. И сам вперед пошел, на Сеньку больше не смотрел.

Темный коридор привел в комнату, где за голым столом двое шлепались в карты. Перед каждым — горка кредиток и золотых имперялов. Аккурат когда Скорик и его провожатый вошли, один игрок карты перед собой швырнул и как крикнет:

— Мухлюешь, курвин потрох! Дама где? — и раз второму кулаком в лоб.

Тот так со стулом и завалился. Сенька ойкнул — испугался, что затылок расшибет. А упавший через голову кувыркнулся, чисто акробат в цирке-шапито, вскочил, на стол прыг, и тому, что ударил, хлобысть ногой по харе! Сам ты, кричит, мухлюешь. Вышла дама-то!

Ну, тот, кому по морде сапогом отвешено, конечно, запрокинулся. Золото по полу катится, звенит, бумажки во все стороны летят — ужас.

Сенька оробел: сейчас смертоубийство будет. А парнишка стоит, зубы скалит — весело ему.

Этот, который свару начал, скулу потер.

— Так вышла, говоришь, дама? И вправду вышла. Ладно, давай дальше играть.

И сели, будто ничего не бывало, только карты разбросанные подобрали.

Вдруг Сенька обмер. Челюсть отвисла, глазами хлопает. Пригляделся, а игроки-то на одно лицо, не отличишь! Оба курносые, желтоволосые, губастые, и одеты одинаково. Что за чудо!

— Ты чего? — дернул за рукав провожатый. — Идем. Пошли дальше.

Опять коридор, снова комната. Там тихо, на кровати спал кто-то. Харю к стенке отвернул, видно только щеку толстую и оттопыренное ухо. Здоровенный бугай, разлегся прямо в сапожищах и храпит себе.

Парнишка на цыпочках засеменял, тихонько. Скорик тоже, еще тише.

Только бугай, не прерывая храпа, вдруг руку из-под одеяла высунул, а в ней дуло блестит, черное.

— Я это, Сало, я, — быстро сказал фартовый пацан.

Рука обратно опустилась, а рожу спящий так и не повернул.

В третьей комнате Сенька картуз сдернул, перекрестился — на стене целый иконостас висел, как в церкви. Тут и святые угодники, и Богородица, и Пресвятой Крест.

Напротив, у стены, положив на стол длинные ноги в блестящих штиблетах, сидел человек в очках, с длинными прямыми, как пакля, волосами. В пальцах вертел маленький острый ножик, не боле чайной ложки. Сам одет

чисто, по-господски, даже при галстухе-ленточке. Никогда Скорик таких фартовых не видывал.

Провожатый сказал, пропуская Сеньку вперед:

— Очко, оголец к тебе.

Скорик сердито покосился на обидчика. Врезать бы тебе за «огольца». Но тут человек по имени Очко сделал такое, что Сенька охнул: тряхнул рукой, ножик серебрястой искоркой блеснул через всю комнату и воткнулся прямо в глаз Пречистой Деве.

Только теперь Сенька рассмотрел, что у всех святых на иконах глаза повыколоты, а у Спасителя на Кресте, там, где гвоздикам положено быть, такие же точно ножички торчат.

Очко вытянул из рукава еще одно перышко, метнул в глаз Младенцу, что пребывал у Марии на руках. Лишь после этого повернул голову к обомлевшему Сеньке.

— Что, вам угодно, юноша?

Скорик подошел, оглянулся на парнишку, который торчал в дверях, и тихонько, как было приказано, сказал:

— Смерть дожидается, мочи нет.

Сказал — и испугался. Ну как не поймет? Спросит: «Чего это она дожидается?» А Сенька и знать не знает.

Но длинноволосый ничего такого спрашивать не стал, а вместо этого вежливо, негромко попросил паренька:

— Господин Килька, будьте любезны, сокройте свой лик за дверью.

Скорик-то понял, что это он велел пацану проваливать, а Килька этот, видно, не смикитил — как стоял, так и остался стоять.

Тогда Очко ка-ак пустит сокола из правого рукава, в смысле ножик — тот ка-ак хряснет в косяк, в вершке от Килькиного уха. Парнишку сразу будто ветром сдуло.

Очкастый внимательно посмотрел на Скорика. Глаза под стеклышками были светлые, холодные, чисто две ледышки. Достал из кармана бумажный квадратик, протянул. И опять тихо так, вежливо:

— Держите, юноша. Передайте, загляну нынче часу в восьмом... Хотя постоит.

Повернулся к двери, позвал:

— Эй, господин Шестой, вы еще здесь?

В щель снова Килька просунулся. Выходит, у него не одна кликуха, а две?

Шмыгнул носом, сторожко спросил:

— Пером кидаться не будешь?

Очко ответил непонятно:

— Я знаю, нежного Парни перо не в моде в наши дни. Когда у нас randevu, то бишь стык с Упырем?

Килька-Шестой, однако, понял. Сказывали, в седьмом, говорит.

— Благодарю, — кивнул чудной человек. И Сеньке. — Нет, в восьмом не получится. Передайте, буду в девятом или даже в десятом.

И отвернулся, снова стал на иконостас глядеть. Скорик понял: разговору конец.

Обратно шел через Хитровку, дворами, чтоб угол срезать. Думал: вот это люди! Еще бы Князю с такими орлами не быть первым московским налетчиком. Казалось, чего бы только не дал, чтобы с ними на хазе посиживать, своим среди своих.

За Хитровским переулком, где по краям площади дрыхли рядами поденщики, Сенька встал под сухим тополем, развернул бумажный пакетик. Любопытно же, что там такого драгоценного, из-за чего Смерть готова была целый пятерик отвалить.

Белый порошок, навроде сахарина. Лизнул языком — сладковатый, но не сахарин, тот много слаще.

Засмотрелся, не видел, как Ташка подошла.

Сень, говорит, ты чего, марафетчиком заделался?

Тут только до Скорика доперло. Ну конечно, это ж марафет, ясное дело. Оттого у Смерти и зрачки чернее ночи. Вон оно, выходит, что...

— Его не лизать надо, а в нос, нюхать, — объяснила Ташка.

По раннему времени она была не при параде и ненамазанная, с кошелкой в руке — видно, в лавку ходила.

Зря ты, говорит, Сень. Все мозги пронюхаешь.

Но он все же взял щепотку, сунул в ноздрю, вдохнул что было мочи. Ну, пакость! Слезы из глаз потекли, обчихался весь и соплями потек.

— Что, дурень, проверил? — наморщила нос Ташка. — Говорю, брось. Скажи лучше, это у меня что?

И себе на волосья показывает. А у нее на макушке воткнуты ромашка и еще два цветочка, Сеньке не известных.

— Что-что, коровий лужок.

— Не лужок, а три послания. Майоран означает «ненавижу мужчин», ромашка «равнодушие», а серебрянка «сердечное расположение». Вот иду я с каким-нибудь клиентом, от которого тошно. Воткнула себе майоран, презрение ему показываю, а он, дубина, и знать не знает. Или с тобой вот сейчас стою, и в волосах серебрянка, потому что мы товарищи.

Она и вправду оставила в волосах одну серебрянку, чтоб Сенька порадовался.

— Ну а равнодушие тебе зачем?

Ташка глазами блеснула, губы потресканные языком облизнула.

— А это влюбится в меня какой-нибудь ухажер, станет конфеты дарить, бусы всякие. Я его гнать не стану, потому что он мне, может, нравится, но и гордость тоже соблюсти надо. Вот и прицеплю ромашку, пускай мучается...

— Какой еще ухажер? — фыркнул Сенька, заворачивая марафет, как было. Сунул в карман, а там брякнуло — бусы зеленые, что у китайца скрадены. Ну и, раз к слову пришлось, сказал:

— Хошь, я тебе безо всякого ухажерства бусы подарю?

Достал, помахал у Ташки перед носом. Она прямо засветилась вся.

Ой, говорит, какие красивые! И цвет мой самый любимый, «эсмеральда» называется! Правда подаришь?

— Да бери, не жалко.

Ну и отдал ей, невелика утрата — семьдесят копеек.

Ташка тут же бусы на шею натянула, Сеньку в щеку чмокнула и со всех ног домой — в зеркало смотреться. А Скорик тоже побежал, к Яузскому бульвару. Смерть, поди, заждалась.

Показал ей пакетик издали, да и в карман спрятал.

Она говорит:

— Ты что? Давай скорей!

А у самой глаза на мокром месте и в голосе дрожание.

Он ей:

— Ага, шас. Ты чего обещала? Пиши Князю записку, чтоб взял меня в шайку.

Смерть к нему бросилась, хотела силой отобрать, но куда там — Сенька от нее вокруг стола побежал. Поиграли малость в догонялки, она взмолилась:

— Дай, кат, не мучай.

Скорику ее жалко стало: вон она какая красивая, а тоже несчастная. Дался ей порошок этот поганый. И еще подумалось — может, не станет Князь в важном деле бабу слушать, хоть бы даже и самую разбожаемую полюбовницу? Хотя нет, пацаны сказывали, что ей от Князя ни в чем отказа нет, ни в большом, ни в малом.

Пока сомневался, отдавать марафет или нет, Смерть вдруг понурилась вся, за стол села, лоб подперла, устало так, и говорит:

— Да пропади ты пропадом, звереныш. Всё одно подрастешь — волчиной станешь.

Застонала тихонько, словно от боли. Потом взяла бумаги клочок, написала что-то карандашом, швырнула.

— На, подавись.

Он прочел и не поверил своей удаче. На бумажке было размашисто написано:

«Князь возьми мальчика в дело. Он такой как тебе нужно. Смерть».

КАК СЕНЬКА СЕБЯ ПРОЯВИЛ

— Как *мне* нужно? Да на кой ты мне сдался?

Князь яростно потер ямочку на подбородке, ожег Сеньку своими черными глазищами — тот заежился, но тушеваться тут было нельзя.

— Она говорит: иди, Скорик, не сумлевайся, беспременно от тебя Князю польза будет, уж я-то знаю, так и сказала.

Старался глядеть на большого человека истово, безбоязненно, а поджилки-то тряслись. За спиной у Сеньки вся шайка стояла: Очко, Килька-Шестой, двое с одинаковыми рожами и еще один мордатый (надо думать, тот, что с левольвером дрых). Только калеки безногого не хватало.

Князь квартировал в номерах «Казань» в самом конце коридора, по которому Сеньку давеча водили. От комнаты с опоганенным иконостасом, где Очко свои ножички кидал, еще малость пройти, за угол повернуть, и там горница со спальней. Спальню-то Скорик видал только через приоткрытую дверь (ну, спальня как спальня: кровать, цветным покрывалом прикрытая, на полу кистень валяется — шипастое стальное яблоко на цепке, а больше ничего не разглядишь), а вот горница у Князя была знатная. Во весь пол персидский ковер, пушистый до невозможности, будто по моху лесному ступаешь; по-вдоль стен сундуки резные (ух, поди, в них добра-то!); на широченном столе в ряд бутылки казенной и коньяку, чарки серебряные, обгрызенный окорок и банка с солеными огурчиками. Князь в эту банку то и дело пятерней залезал, вылавливал огурцы попупыристей и хрустел — смачно, у Сеньки аж слюнки текли. Рожа у фартового была хоть и красивая, но немножко мятая, опухшая. Видно, сначала много пил, а потом долго спал.

Князь вытер руку о подол шелковой, навывпуск, рубахи. Снова взял записку.

— Что она, одурела? Будто не знает, что у меня полна колода. Я — король, так?

Он загнул палец, а Очко сказал:

— У тебя скоро титулов, как у государя императора, будет. По имени ты Князь, по-деловому король, а скоро еще и тузом станешь. Милостью Божией Туз Всемосковский, Король Хитровский, Князь Запьянцовский.

Про «запьянцовского» Сеньке шибко дерзко показалось, но Князю шутка понравилась — заржал. Остальные тоже погоготали. Сам-то Скорик не допер, в чем потеха, но на всякий случай тоже улыбнулся.

— Когда стану туз, тогда другой балак пойдет. — Князь бумажку на стол положил, принялся дальше перстнястые пальцы загибать. — Дамой у меня Смерть, так? Ты, Очко, — валет. Сало — десятка, Боцман — девятка, Авось — восьмерка, Небось — семерка. Огольца этого кроме как шестеркой не возьмешь, так у меня и шестерка имеется. А, Килька?

— Ну, — ответил давешний паренек.

Теперь Сенька понял, о чем толкует Князь. Пацаны рассказывали, что у настоящих деловых, кто по законам живет, шайка «колодой» называется, и в каждой колоде свой кумплект. Кумплект — это восемь фартовых, каждый при своем положении. Главный — «король»; при нем маруха, по-деловому «дама»; потом «валет» — вроде как главный помощник; ну и прочие бойцы, от десятки до шестерки. А больше восьми человек в шайке не держат, так уж истари заведено.

Оглянулся на длинноволосого Очка с особенным почтением. Ишь ты, валет. Валет — он мало того, что правая рука у короля, он еще в колоде обыкновенно по мокрому делу первый. Оттого, верно, и прозвание «валет», что людей валит.

— Вакансий не наличествует, — сказал Очко, как всегда, мудроно, но Скорик понял: свободных мест в шайке нету, вот он о чем.

Однако, странное дело, Князь недоростка в шею не гнал. Всё стоял, затылок чесал.

— Две шестерки — что это за колода будет? Как на это Обчество скажет? — вздохнул Князь. — Ох, Смерть-Смертушка, что ты со мной делаешь...

И по этому его вздыханию дошло вдруг до Сеньки, что ворчать-то Князь ворчит, а Смерти послушаться ро-беет, хоть собою и герой. Ободрился Скорик, плечи расправил, стал на фартовых уже и вправду без опаски поглядывать: решайте, мол, сами эту закавыку, а мое дело маленькое. Со Смерти спрос.

— Ладно, — приговорил Князь. — Как тебя? Скорик? Ты, Скорик, покурить пока так, без масти. Там видно будет, куда тебя.

Сенька от счастья даже зажмурился.

Пускай без масти, а всё равно он теперь настоящий фартовый, да не просто, а из самой что ни есть первойшей на всю Москву шайки! Ну Проха, ну Михейка, полопае-тесь! А как доля от хабара пойдет, можно будет Ташку в марухи взять, чтоб не валялась со всякими. Пускай сидит себе дома, подрастает, цветки свои раскладывает.

Князь махнул рукой на стол, все кроме Очка себе на-лили — кто водки, кто коньяку, стали пить. Сенька тоже коричневого пойла хлебнул, чтоб попробовать (дрянь оказалась, хуже самогонки). Хоть и голодный был, но ветчины не взял ни кусочка — надо себя было с самого начала правильно поставить: не голодаец какой-нибудь, а тоже с понятием пацан, не на помойке подобран. Держался в сторонке, с деликатностью, смотрел и слушал, в разговор не встревал, ни Боже мой. Да и деловые на него не смотрели; что им малолеток. Только Килька пару раз глянул. Один раз так просто, второй раз подмигнул. И на том спасибо.

А Князь стал двойняшам, которые семерка с восьмеркой, про Смерть рассказывать.

«Вы, говорит, Авось с Небосем, у нас недавно, еще не знаете, что это за баба. Видеть-то, конечно, видели, только этого мало. Вот я вам расскажу, как ее добывал, тогда поймете. Когда прежний ее хахаль, Яшка Костромской, каши свинцовой покушал и она свободная стала, начал я к ней подкатывать. Давно уж глаз на нее пялил, но при

живом Яшке не насмеливался. Он от Общества в большом уважении состоял, а я что тогда был — гоп-стопник. Ни колоды, ни хазы хорошей, по-мокрому не хаживал, больших дел не делал. Тоже, конечно, на Хитровке не из последних был, но куда мне до Яши Костромского? Только думаю: всю землю зубами изгрызу, а эта краля моя будет. Первый раз тогда кассу ссудную взял, сторожа кистенем угостил. Заговорили обо мне, хрусты у меня завелись не копеечные. Стал слать ей подарки: золота, да фарфоров разных, да шелка японского. Она мне все обратно отсылает. Приду — гонит, даже говорить не желает.

Я терплю, понимаю — мелковат я пока для Смерти.

Ладно. Вагон почтовый подломил, тут уж двоих на смерть положил. Взял сорок тыщ.

Заявился к ней с хором цыганским, ночью. Псам из Мясницкого участка пятьсот рублей отвалил, чтоб не мешались. Под дверь коробку атласную поклат, в коробке брошь бриллиантовая, вот такушая.

И что? Цыгане с цыганками охрипли, подметки все оттоптали, а она дверь не открыла, даже в окно не выглянула.

Ну, думаю, какого тебе еще рожна надо? Не денег, не подарков — это ясно. Тогда чего же?

Удумал с другого бока зайти. Знал, что Смерть ребяtiny жалеет. В Марьинский приют, что для хитровских сирот, деньги шлет, одежду, сласти всякие. Ей раз Яшка-конокрад сотню золотых империалов в корзине с фиалками поднес, так она, полоумная, цветки себе оставила, а деньги приютским сестрам отдала, чтоб баню выстроили.

Ага, прикидываю. Мытьем не взял, так катаньем достану.

Купил пуд шоколаду, самого что ни на есть швейцарского, три штуки голландского полотна на рубашки, еще бязи на бельишко. Лично отвез, передал матери Манефе. Нате, мол, от Князя сироткам в угощение».

Здесь мордатый, десятка, в Князев рассказ встрял, хмыкнул:

— Ага, знатно угостил, помним.

Князь на него шикнул.

«Ты, говорит, Сало, вперед сказа не встревай. Ну что? Являюсь к Смерти таким гоголем — посмотреть, не будет ли ко мне от нее какой перемены. Вот тогда она мне дверь открыла, только лучше б не открывала. Вышла, глаза сверкают. Чтоб духу твоего не было, кричит. Не моги ко мне близко подходить, и еще по-всякому. В тычки за порог вышибла, за мои-то старания... Сильно я тогда обиделся. Так запил — неделю будто в дыму был. И обидней всего мне, пьяному, вспоминалось, как я на свои кровные шоколад этот паскудный покупал и сукнецо в лавке щупал — хорошего ли сорта».

— Ну, сукнецо тебе, положим, задаром поднесли, — снова вставил Сало.

А Князь:

«Не в том дело. За старание свое обидно. Нет, думаю, шалишь. Негладко выходит. Хрен вам, а не полотно с шоколадом. Ночью перелез через приютский забор, окно высадил, дверь в кладовку ихнюю выбил и давай крушить. Шоколад весь на пол высыпал, ногами утоптал. Полотно пером чуть не в нитки покромсал — носите на здоровьице. Бязь всю порезал. И еще покрушил, чего там у них было. Сторож на шум влез. Ты что, орет, гад, делаешь, сирот бездолишь! Ну, я и его пером прямо в сердце шекотнул, так юшка мне на руку и брызнула... Иду из кладовки весь в кровище, нитки с меня свисают, рожа от шоколада черная, как у арапа. Навстречу сама мать Манефа, со свечкой. Ну, я и ее — так уж, заодно. Все равно, думаю, душу свою погубил. И кляп с ней, с душой и с жизнью вечной. Без Смерти мне вовсе никакой жизни не надо...»

— Да, — кивнул Сало. — После на всю Москву шуму было. Хоть ты и пьяный был, а не наследил и свидетелей не оставил. Со временем узнали, конечно, что это ты погулял, а доказать им нечем было.

Князь усмехнулся.

«Главное, что наши всё сразу прознали и Смерти донесли. Я как из приюта вернулся, два дня без просыпу дрых. А как в себя пришел — дают мне записочку от нее,

от Смерти. «Приходи, мой будешь» — так и было написано. Вот она какая, Смерть. Поди, пойми ее».

Сенька рассказ выслушал в оба уха, жадно, и потом голову ломал, как эту историю разъяснить, но так и не разъяснил.

В тот день, правда, долго голову ломать времени не было — столько всего приключилось.

После того как Князь свой приговор объявил про Сеньку и угостил колоду водкой-коньяком, Килька повел новичка к себе (была у него недалеко от входа каморка за ситцевой занавесочкой).

Оказался душа-парень, без форсу, даром что сам с мастью, а Сенька вроде как с боку-припеку. Нос не драл, говорил попросту и много чего полезного порассказал, уже как своему, почти что затасованному.

Ничё, сказал, Скорик, раз сама Смерть за тебя попросила, будешь в колоде, никуда не денешься. Может, кого из наших посадят или пришьют — тогда тебя в шестые возьмут, а я до семерки поднимусь. Ты меня держись, не пропадешь. И живи прямо тут. Вместе и храпеть веселей.

(Похрапеть-то им на пару так и не довелось, но об этом после.)

Про Князя и так всё было известно, про Смерть новенький тоже не меньше Килькиного знал, поэтому стал про остальных выпрашивать.

Валета нашего, сказал Килька, все боятся, даже Князь себя с ним опасно держит, потому как Очко припадочный. То есть так-то он тихий, спокойный, хоть и говорит всё время непонятно, стихами, но иногда попадет вожжа под хвост, и тогда ужас какой страшный делается, прямо Сатана. Сам он из господ, раньше студентом был, но почиркал там кого-то до смерти по марафетному делу и получил каторгу-пожизненку. Ты от него подальше держись, посоветовал Килька. Князь может и в харю, и даже насмерть прибить, но хоть ясно, с чего и за что, а этот бешеный.

Следующий по колоде, Сало, оказался хохол, отсюда и кликалка. Нужный человек, большие знакомства среди иногородних сламщиков и перекупщиков имеет, весь

хабар через него уходит и хрустом, то бишь денежками, возвращается.

Про безногого Боцмана, девятку, Килька рассказал, что он и вправду прежде был флотским боцманом, самым геройским героем на всем Черном море. Как начнет про турку или морские плаванья рассказывать — заслушаешься. Ему на корабле котлом паровым ноги отдавило. Кресты у него, медали, пенсия геройская — шестнадцать целковых, но не тех кровей человек, чтоб тихо старость проживать. Ему куражу хочется, фарту да азарту. Он и доли из хабара своей никогда почти не берет, а у девятки доля немалая, не то что Килькина.

Седьмой с восьмым братья-близнецы с Якиманки. Лихие ребята. Их Князю знакомый городской из Первого Якиманского участка взять присоветовал. Сказал: страх до чего ребята отчаянные, жалко, если к большому делу не пристроятся, даром пропадут. А прозвали их Авось и Небось, потому что лихости в них больше, чем ума. Авось-то еще куда ни шло, оттого старшим поставлен, а Небось совсем шепутной. Вели ему Князь орла двуглавого со Спасской башни своровать — полезет, не задумается.

А под конец Килька вздохнул, ладоши потер и говорит:

— Ништо, сегодня на всех наших в деле посмотришь.

— В каком деле? — У Скорика сердце так и сжалось — надо же, в самый первый день сразу на дело идти! — Бомбить кого будем?

— Нет, бомбить что. Тут дело аховое. Стык нынче у Князя с Упырем.

Сенька припомнил, как Очко про этот самый стык уже спрашивал.

— А, это который в седьмом часу будет? И чего там? Это который Упырь, Котельнический?

— Он. На московского туза с Князем метать будут. Понял?

Сенька присвистнул. Вон оно что!

Туз — это у фартовых навроде царя-государя, один на всю Москву. Раньше тузом Кондрат Семеныч был, большущий человек, вся Москва его трепетала. Говори-

ли, правда, про Кондрат Семеныча разное. Что старый стал, ржавый, молодым ходу не дает. Кто и осуждал за то, что в богатстве проживает, и не на Хитровке, как тузу положено, а в собственном доме, на Яузе. И помер он не по-фартовому — от ножа, пули или в тюрьме. На пуховой перине дух испустил, будто купчина какой.

Выходит, Обчество приговорило тузом одному из двух быть: Князю или Упырю.

Про Князя ясно — орел крылатый. Стрелой вверх взлетел, такие дела делает — залюбуешься. Одним нехорош: больно шустро шагает и строптив. Килька сказал, «деды» опасаются — не задурит бы от такой власти.

Другое дело Упырь. Он из давних, тихих, которые не летают, а по-белочьи вверх карабкаются. Дел за Упырем громких не водится, пальбы от его колоды не слышать, а боятся его не меньше, чем Князя.

Упырева колода не налетами промышляет, а делом новым, шума не терпящим: стрижет лабазников и лавочников. Таких деловых «доильщиками» прозвали. Хочешь, чтоб лавка цела была, чтоб врач санитарный не цеплялся и псы не трогали — плати доильщику мзду и живи себе, торгуй. А кто не хотел платить, на себя надеялся или так, жадничал, с теми всякое случалось. Одного упрямого бакалейщика стукнули в темном переулочке сзади по башке, он и не видел кто. Упал, встать хочет, а не может — земля в глазах плывет. Вдруг глядит — на него лошадь с телегой едет, в телеге камни грудой, чем улицу мостят. Он кричит, руками машет, а возница будто не слышит. Лошадь-то бакалейщика копытами переступила, а тележные колеса прямо по ногам ему проехали, переломали всего. Теперь того бакалейщика в кресле на колесиках возят, и Упырю он платит исправно. А у другого, мороженщика, дочку-невесту так же вот подкараулили, мешок на голову натянули и попортили — да не один, а с полдюжины бугаев. Она теперь дома сидит, на улицу носа не кажет, и уже два раза из петли вынимали. А заплатил бы мороженщик, ничего бы с его дочкой не было.

Но и Упырь не всем «дедам» по сердцу, объяснил Килька. Те, которые годами постарше и хорошо прежние

времена помнят, не одобряют Упырева промысла. Раньше так кровососничать не заведено было.

Короче, на сегодня назначен стык, чтоб Князь с Упырем сами меж собой разобрались, кто кому дорогу уступит.

— Так порешат они друг друга! — ахнул Сенька. — Порежут, постреляют.

— Нельзя, закон запрещает. Ребра поломают или башку кому пробьют, но не боле того. С оружием на стык идти нельзя, Обчество этого не позволяет.

В пятом часу пришли посредники от Обчества, два спокойных, медлительных «деда» из уважаемых воров. Назвали место для стыка — Коровий луг в Лужниках — и время: ровно в семь. Еще сказали, Упырь желает знать, всей ли ему колодой приезжать или как.

«Дедов» посадили в передней комнате чай пить, ответа ждать, а сами столпились у Князя вокруг стола. Даже Боцман с улицы прикатил, боялся, обойдут его.

Небось первый крикнул:

— Все пойдем! Навалием упырятам, будут помнить.

Князь на него шикнул:

— Ты думай, башка, потом говори. У нас дама есть? Нету. Смерть же с нами на Коровий луг махаться не поедет?

Все поулыбались шутке, стали ждать, чего Князь дальше скажет.

— А у Упыря дамой — Манька Рябая. Она в прошлый год двух легавых лбами стукнула так, что не встали, — продолжил Князь, полируя щеточкой ногти. Он сидел нога на ногу, слова ронял неспешно — наверно, уже видел себя тузом.

— Знаем Маньку, женщина основательная, — подтвердил Боцман.

— Та-ак. Дальше глядите. Вот ты, Боцман, не в обиду сказать, калека. Какой от тебя на стыке прок?

Боцман запрыгал на своих обрубках, заволновался:

— Да я... Вон колотушкой как приложу — всякий на пополам согнется. Князь, ты ж меня знаешь!

— Колотушкой, — передразнил Князь, откусывая заусенец. — А у Упыря девяткой Вася Угрешский. Много ты против него своей колотушкой намахаешь? То-то.

Боцман закручинился, захлюпал.

— Теперь шестерку взять, — кивнул на Кильку старшой. Тот вскинулся:

— А чё я-то?

— А то. У них шестеркой Дубина. Он кулачищем гвоздь четырехвершковый в бревно забивает, а тебя, Килька, соплей перешибешь. И что у нас, господа фартовые, выходит? А то выходит, что ихняя колода на стыке забьет нашу как Бог свят. А после скажут, что Князь при всей колоде был, не станут разбирать, кто там малый, кто убогий, а кого вовсе не было. Скажут-скажут, — повторил Князь в ответ на глухой ропот.

Тихо стало в комнате, скушно.

Сенька в самом уголке сидел, боялся — не погнали бы. Что на стык не возьмут, его не сильно печалило. Не большой он был любитель кулаками махать, да еще против настоящих бойцов. Порвут недоростка и в землю утопчут.

Князь на ногти полюбовался, еще один заусенец откусил-выплюнул.

— Зовите «дедов». Я решаю. И молчок мне, не вянькать.

Килька сбегал за посредниками. Те вошли, встали у порога. Князь тоже поднялся.

— На стык вдвоем идти, такое мое мнение. — Посмотрел весело, чубом тряхнул. — Королю и еще одному, кого король выберет. Так Упырю и передайте.

Очко на эти слова зевнул, прочие насупились. Но ни слова сказано не было — видно, перед чужими собачиться нельзя, подумал Сенька.

Но и когда «деды» ушли, лаю не было. Раз Князь решил, значит всё.

Килька Сеньке мигнул: выдь-ка.

В коридоре зашептал, шмыгая носом:

— Я то место хорошо знаю. Там сарайчик есть, схвататься можно. Айда засядем!

— А если увидят?

— На ножи поставят, как пить дать, — беззаботно махнул Килька. — У нас с этим строго. Да не пузырьрся, не увидят. Говорю, сарайчик важнеющий. В сено зароемся, никто не допрет, а нам всё будет видать.

Сеньке боязно стало, замялся. А Килька сплюнул на пол и говорит:

— Гляди, Скорик, как хочешь. А я побегу. Пока они телятся, поспею раньше.

Пошел с ним, конечно, Сенька — куда деваться. Не девка ведь трусить. Да и посмотреть хотелось: шутка ли — настоящий фартовый стык, где решится, кому на Москве тузом быть. Многие ль такое видали?

Бегать, конечно, не пришлось — это Килька так, к слову сказал. Денег у него, фартового, были полные карманы. Вышли на Покровку, подрядили лихача, покатали в Лужники, за город. Килька извозчику еще рупь сверху посулил, чтоб гнал с ветерком. За двадцать три минуты по набережной докатали — Килька по своим серебряным часам считал.

Коровий луг был луг как луг: желтая трава, лопухи. С одной стороны, за речкой, торчали Воробьевы горы, с другой Новодевичий монастырь с огородами.

— Вот здесь стыкнутся, больше негде, — показал Килька на истоптанную плешку, где сходились четыре тропинки. — В траву не полезут, там сплошь лепехи коровьи, штиблеты угваздаешь. А сарайчик — он вон он.

Сарайчик был дрянь, чихни — развалится. Поставленный когда-то для сенных надобностей, он, видно, доставал последнее. До плешки от него было рукой подать — может, шагов десять или пятнадцать.

Залезли по лесенке на чердак, где старое, еще прошлогоднее сено. Залегли. Лесенку за собой утанули, чтоб не догадался никто, проверять не сунулся.

Килька опять на часы свои поглядел, говорит:

— Три с половиной минуты шестого. Два часа еще почти. В секу пошлепаем, из полтинничка?

И потянул колоду из кармана. У Сеньки от страха руки-ноги холодные и по спине мураши, а этому, вишь, в картишки!

— Денег нету.

— На щелбаны можно. Только простые, без выверта, у меня башка не сильно крепкая.

Только роздали — голоса. Сзади, со стороны железки кто-то подошел.

Килька к щели сунулся и шепотом:

— Эй, Скорик, гликошь!

Посмотрел и Сенька.

В обход сарая шли трое, по виду фартовые, но Сеньке на личность незнакомые. Один высоченный, плечистый, с маленькой стриженной головой; другой в картузе, сдвинутом на самые глаза, но все равно даже сверху видно было, что у него проваленный нос; третий — маленького росточка, с длинными руками, в застегнутом пиджаке.

— Ах, гад, — в самое ухо выдохнул Килька. — Что удумал. Ну беспардонщик!

Мужики зашли в сарай, так что дальше пришлось подглядывать через щелястый потолок. Все трое легли на землю, сверху прикрылись сеном.

— Кто беспардонщик? — тихо спросил Сенька. — Это кто такие?

— Упырь беспардонщик, гнида. Это евоные бойцы, из его колоды. Здоровый — Дубина, шестерка. Безносый — Клюв, восьмеркой у них. А маленький — Ёшка, валет. Ай, беда. Кончатъ наших будут.

— Почему кончатъ? — напугался Скорик.

— Ёшка на махаловку негод, в нем силы нет, зато из левольверта содит без промаху. В цирке раньше работал, свечки пулями гасил. Если Ёшку взяли, значит, пальба будет. А наши-то пустые, без железа придут. И не упредишь никак...

От этого известия у Сеньки зубы застучали.

— Чё делать-то?

Килька тоже весь белый стал.

— Кляп его знает...

Так и сидели, тряслись. Время тянулось медленно, будто навовсе остановилось.

Внизу тихо было. Только раз спичка чиркнула, дымком табачным потянуло, и сразу шикнул кто-то: «Ты чё, Дубина, урод, запалить нас хочешь? Пристрелю!»

И опять тишина.

Потом, когда до семи часов уже совсем мало оставалось, шелкнуло железным.

Килька пальцами показал: курок взвели.

Ай, худо!

Две пролетки подкатили к плешке одновременно, с двух разных сторон.

В одной, шикарной, красного лака, на козлах сидел Очко — в шляпе, песочной тройке, с тросточкой. Князь с папироской — на кожаном сидале, развалясь. И тоже щеголем: лазоревая рубаша, алый поясок.

Во второй коляске, попроще первой, но тоже справной, на козлах сидела баба. Ручищи — будто окорока, башка туго замотана цветастым платком, из-под которого выпирали толстые красные щеки. Спереди, под кофтой, будто две тыквы засунуты — никогда Сенька такого грудяного богатства не видал. Упырь тоже, как Князь, сзади был. Мужичонка так себе: жилистый, лысоватый, глаз узкий, змеинный, волоса жирные, сосульками. По виду не орел, куда ему до Князя.

Сошлись посреди плешки, ручкаться не стали. Князь с Упырем покурили, друг на дружку поглядывая. Очко и бабища чуть назади стояли — надо думать, порядок такой.

— Шумнем? А, Сень? — спросил Килька шепотом.

— А если Упырь своих в сарай так посадил, на всякий случай? В опасении, что Князь забеспардонит? Тогда нас с тобой в ножи?

Очень уж Сеньке страшно показалось — шуметь. А как начнет Ёшка этот сажать пулями через потолок?

Килька шепчет:

— Кто его знает... Ладно, поглядим.

Те, на полянке, докурили, папиросы побросали.

Первым Князь заговорил.

— Почему не с валетом пришел?

— У Ёшки хворь зубная, всю щеку разнесло. Да и на кой мне валет? Я тебя, Князь, не боюсь. Это ты меня пу-

жаешься, Очка прихватил. А я вот с Манькой. Хватит с тебя и бабы.

Манька зареготала густым басом — смешно ей показалось.

Князь и Очко переглянулись. Сенька видел, как Очко пальцами по тросточке забарабанил. Может, догадались, что дело нечисто?

Нет, не догадались.

— С бабой так с бабой, дело твое. — Князь подбоченился. — Тебе только бабами и верховодить. Стану тузом, дозволю тебе мамзельками на Хитровке заправлять, так и быть. В самый раз по тебе промысел будет.

Обидеть хотел, однако Упырь не вскинулся, только заулыбался, захрустел длинными пальцами:

— Ты, Князь, конечно, налетчик видный, на росте, но молодой еще. Куда тебе в тузы? Своей колодой обзавелся без году неделя. Да и рискованно больно. Вон вся псарня тебя ищет, а у меня тишь да гладь. Отступись добром.

Слова вроде мирные, а голос глумной — видно, что нарочно придуривается, хочет, чтоб Князь первым сорвался.

Князь ему:

— Я орлом летаю, а ты шакалишь, падашь жрешь! Хорош балаку гонять! Нам двоим на Москве тесно! Или под меня ложись, или... — И пальцем себе по горлу — чирк.

Упырь облизнул губы, голову набок склонил и неторопливо так, даже ласково:

— Что «или», Князек? Или под тебя ложиться, или смерть? А ежели она, Смерть твоя, уже сама под меня легла? Девка она ладная, рассыпчатая. Мягко на ней, пружинисто, как на утячей перине...

Манька снова заржала, а Князь весь багровый стал — понял, о ком речь. Добился-таки своего хитрый Упырь, взбеленил врага.

Князь голову набычил, по-волчьи зарычал — и на оскорбителя.

Но у тех двоих, видно, меж собой уговор был. Упырь влево скакнул, баба вправо — и как свистнет в два пальца.

Внизу зашуршало сено, грохнула дверь, и из сарая вылетел Ёшка, пока что один. В руке держал дрыну — черную, с длинным дулом.

— А ну стоять! — орет. — Сюда смотреть! Вы меня, ёшкин корень, знаете, я промаху не даю.

Князь на месте застыл.

— Ах, ты, Упырь, так? — говорит. — По-беспардонному?

— Так, Князюшка, так. Я же умный, умным законы не писаны. А ну-ка лягайте оба наземь. Лягайте, не то Ёшка вас стрелит.

Князь зубы оскалил — вроде смешно ему.

— Не умный ты, Упырь, а дурак. Куда ты против Общества? Кердец тебе теперь. Мне и делать ничего не надо, всё за меня «деды» сделают. Ляжем, Очко, отдохнем. Упырь сам себя приговорил.

И улегся на спину. Ногу на ногу закинул, папироску достал.

Очко посмотрел на него, носком штиблета по земле поводил — звать, костюма жалко стало — и тоже на бок лег, голову подпер. Тросточку положил рядом.

— Ну, дальше что? — спрашивает. И Ёшке. — Стреляй, мой маленький зуав. Знаешь, что наши традиционалисты с беспардонщиками делают? За эту шалость тебя под землей отыщут, и обратно под землю загонят.

Чудной какой-то стык выходил. Двое лежат, улыбаются, трое стоят, смотрят на них.

Килька шепнул:

— Не насмелятся палить. За это живьем в землю, такой закон.

Тут Упырева маруха снова свистнула. Из сарая выскочили остальные двое и как прыгнут сверху на лежащих: Дубина тушей своей на Князя навалился, Клов Очка рожей вниз развернул и руки заломил, ловко.

— Ну вот, Князек, — засмеялся Упырь. — Сейчас тебе Дубина кулачиной мозгу вышибет. А Клов валету твоему ребра продавит. И никто про пушку знать не узнает. Так-то. Обществу скажем, что мы вас поломали. Не сдюжили вы против Упыря и евоной бабы. А ну, братва, круши их!

— А-а-а! — раздалось вдруг возле самого Сенькиного уха.

Килька пихнулся локтем, на коленки привстал и с воплем сиганул прямо Ёшке на плечи. Удержать не удержался, наземь слетел, и Ёшка его смаху рукояткой в висок припечатал, но и этой малой минутки, когда Дубина с Клювом на шум морды поворотили, было довольно, чтоб Князь и Очко врагов скинули и на ноги повскакивали.

— Я шмаляю, Упырь! — крикнул Ёшка. — Не вышло по-твоему! После пули повыковыриваем! Авось сойдет!

И тут Сенька сам себя удивил. Завизжал еще громче Килькиного — и Ёшке на спину. Повис насмерть, да зубами вгрызся в ухо — во рту засолонело.

Ёшка вертится, хочет пацана скинуть, а никак. Сенька мычит, зубами ухо рвет.

Долго, конечно, не продержался бы, но здесь Очко с земли трость подхватил, тряхнул ею, и деревяшка в сторону отлетела, а в руке у валета блеснуло длинное, стальное.

Скакнул Очко к Ёшке, одну ногу согнул, другую вытянул, как пружина распрямился и сам весь сделался длинный, будто вытянувшаяся змеюка. Достал Ёшку своей железкой прямо в сердце, и тот сразу руками махать перестал, повалился, подмяв Сеньку. Тот выбрался из-под упавшего, стал глядеть, чего дальше будет.

Успел увидеть, как Князь, вырвавшись из Дубининых лап, с разбегу Маньке лбом в подбородок въехал — бабища на зад села, посидела немножко и запрокинулась. А Князь уже Упырю в глотку вцепился, покатались с утоптанной тропинки в траву и там бешено закачались сухие стебли.

Дубина хотел своему королю на выручку кинуться, но Очко к нему сзади подлетел: левая рука за спину заложена, в правой аршинное перо — вжик, вжик по воздуху. И со стали капли красные капаят.

— Не уходи, — приговаривает, — побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и утолю, и утомлю.

Этот стих Сенька знал — он из песни одной, жалостной.

Дубина повернулся к Очку, глазами захлопал, попятился. Клюв — тот пошустрее был, сразу в сторонку отбежал. А Князь с Упырем обратно на плешку выкатились, только теперь уже видно было, чей верх. Князь вражину подломил, за харю пятерней ухватил и давай башкой об землю колотить.

Тот хрипит:

— Будет, будет. Твоя взяла! Сявка я!

Это слово такое, особенное. Кто на стыке про себя так сказал, того больше бить нельзя. Закон не велит.

Князь для порядка ему еще вдарил пару раз кулаком, или, может, не пару, а больше — Скорик не досмотрел. Он сидел на корточках возле Кильки и глядел, как у того из черной дыры на виске вытекает багровая жижа. Килька вовсе мертвый был — проломил ему Ёшка голову своей дрыной.

Потом целых четыре дня «деды» решали, считать ли такой стык козырным. Постановили: не считать. Упырь, конечно, сбеспардонничал, но и у Князя негладко: валет с железом пришел, опять же двое пацанов в схроне сидели. Негож пока Князь в тузы, такой был приговор. Пускай Москва пока без воровского царя поживет.

Князь злой ходил, пил без продыху, грозился Упыря под землю укатать. Того не видно было, отлеживался где-то после Князева угощения.

Шуму, звону, разговоров о лужниковском стыке было на всю Хитровку.

Для Сеньки Скорика настали, можно сказать, золотые денечки.

Он теперь при Князе шестеркой состоял, как есть на полном законном положении. От колоды за доблесть было ему знатное довольствие и полное уважение, а уж про пацанов хитровских и говорить нечего.

Сенька туда раза по три на дню заглядывал, будто бы по важной секретной надобности, а на самом деле просто покрасоваться. Вся Килькина одёжа к нему перешла: и портки английского сукна, со складочкой, и сапожки хром,

и тужурочка-буланже, и капитанка с лаковым козырьком, и серебряные часы на цепке с серебряной же черепашкой. Пацаны со всей округи сбегались с героем поручаться или хоть издали поглазеть, послушать, чего расскажет.

Проха, который раньше уму-разуму учил и нос перед Сенькой драл, теперь в глаза заглядывал и тихонько, чтоб другие не слышали, просил пристроить его куда-нибудь шестеркой, пускай в самую лядашую колоду. Скорик слушал снисходительно, обещал подумать.

Эх, хорошо было.

Деньжонок в карманах пока, правда, не завелось — но это, надо думать, до первого фарта.

А скоро подоспело и оно, настоящее фартовое дело.

КАК СЕНЬКА ПОБЫВАЛ НА НАСТОЯЩЕМ ДЕЛЕ

Была Князю наводка от верного человека, половогого из купеческой гостиницы «Славянская» что на Бережках. Будто бы приехали из города Хвалынска богатый калмык-барышник с приказчиком, племенных жеребцов для табуна покупать. Хрустов при том калмыке полная мощна, а брать его надо немедля, потому назавтра, в воскресенье, поедет он на конный торг и может там все деньги потратить.

Вечером, поздно, сели всей колодой в три пролетки, поехали. Впереди Князь с Очком, потом Сало с близнецами, последними — Боцман с Сенькой. Их работа — стрему держать и за лошадьми доглядывать, чтоб, если шухер, могли с места вскачь запустить.

Пока летели через Красную Площадь, да по Воздвиженке, да Арбатом, у Скорика в животе крепко екало, хоть до ветру беги. А после, как по мосту загрохотали, страх вдруг из противного стал веселым, как в детстве, когда отец маленького Сеньку в первый раз на масляничное гуляние вез, с деревянных гор кататься.

Боцман, тот с самого выезда радостный был, всё балагурил. Эх, говорил, Кострома, нынче будет кутерьма. И еще: эх, Полтава, заходи справа. Или так: эх, Самара, поддай навару.

Он много всяких городов знал, про иные Сенька и не слыживал.

Гостиница была скучная, навроде барака. Огни в десятом часу уже потушены — торговый люд рано ложится, да и базарный день завтра.

Проехали к железнодорожным складам, соскочили. Без слов обходились, молча — всё заранее обговорено было.

Сенька поводья принял, свел три пролетки рядом, обод к ободу, в центре Боцманова упряжка. Ему, Боцману, все три повода дал. У него лошади не забалуют — они умные. Когда чувят силу, смирно стоят. А кони у Князя были особенные — не догонишь, чудо что за кони.

Боцман, значит, на козлах сидит, люльку курит, а Сеньке неважно: то с одной стороны пройдет, то с другой. Уж и не страшно было совсем — томно и обидно. Вроде как лишний он.

Сбежал к одному углу, к другому — поглядеть, нет ли какого шухера.

Пусто было вокруг, тихо.

— Дяденька Боцман, чего ж они так долго?

Боцман шестерку пожалел.

— Ладно, — говорит. — Чего тебе молодому, здоровому тут париться. Сбегай, погляди, как фартовые дела делаются. Погляди и давай обратно, мне расскажешь, как калмыков кончают.

Сенька удивился:

— А просто деньги отобрать нельзя? Беспременно кончать полагается?

— Это смотря сколько, — объяснил Боцман. — Если хрусту не так много, счет на сотни, то можно и не кончать, псы сильно искать не станут. А если там тыщи, то тогда лучше тушить. Купчина за свои тыщи псам большую награду посулит, чтоб землю носом рыли. Да ты беги, Скорик, не сумлевайся. Я тут и один справлюсь. Эх, сам бы сгонял, кабы ноги были.

Сеньку долго упрашивать не надо было. Так застоялся, что даже в ворота не пошел — прямо через ограду запустил.

Вошел в просторные сени, видит: прямо на стойке, ойкая от страха, лежит человек в поддевке. Голову закрыл руками, и плечи у него трясутся. Рядом, зевая — Сало, со скрипкой в руке (это левольверт так по-фартовому называется: скрипка, дрына или еще волына).

Этот, что на стойке, попросил жалостно:

— Не убивайте, господа налетчики. Я на вас не глядел, зажмурился сразу. А? Сделайте такое снисхождение,

не лишайте жизни. Я человек семейный, православной веры. А?

Сало ему лениво:

— Не бось. Дрыгаться не будешь — пожалеем. — А Сеньке сказал. — Интересуешься? Ну сходи, побачь. Чего-то долго они.

Потом коидор был, длинный. По обе стороны двери в ряд. В ближнем конце Авось стоял, в дальнем Небось (или наоборот, Сенька еще плохо умел братьев различать). Тоже со скрипками.

— Я поглядеть, — сказал Скорик. — Одним глазочком.

— Валяй, гляди, — белозубо улыбнулся Авось (а может, Небось).

Тут одна из дверей стала открываться. Он ее ногой захлопнул и как гаркнет:

— Я те вылезу!

Из-за двери заголосили:

— Кто это там фулиганничает? Мне до клозету требуется!

Авось заржал:

— В портки пруди. А шуметь будешь — через дверь пальну.

— Господи святой, — ахнули за дверью. — Никак налет. Я ничего, ребята, я тихонечко.

И засов скрежетнул.

Авось снова загыгикал (все-таки это, наверно, Небось был — у того вечно рот до ушей). Показал Сеньке левольвертом на приоткрытую дверь посреди коидора — там, мол.

Скорик подошел, заглянул внутрь.

Увидал двоих смуглых, узкоглазых, к стульям привязанных. Один был сильно старый, лет пятьдесят, с козлиной бороденкой, в хороших клетчатых штанах, в шелковой жилетке с золотой цепкой из кармашка. Надо думать, барышник. Другой молодой, без бороды и усов, в ситцевой рубахе навывпуск — не иначе приказчик.

Князь похаживал между связанными, помахивал кистенем.

Сенька пошире дверь открыл — а где Очко?

Тот чудным делом занимался: пером своим, из тростки вынутым (шпага называется) полосовал перину на кровати. От этого из кровати пух летел, перья.

— Фантазии не хватает, — сказал Очко. — Куда же эти друзья степей могли портмоне припрятать?

Князь чихнул — видно, пушинка в нос попала.

— Ладно, Очко, не потей. — Остановился перед приказчиком, взял его левой рукой за волоса. — Сами расскажут. Как, желтомордый, побалакаешь? Или яблочка железного погрызешь?

И помахал кистенем перед рожей приказчика (никакой не желтой, а белой-пребелой, будто мелом присыпанной).

Очко, наоборот, железкой махать перестал, сыпанул на ноготь порошок (марафет, сообразил Сенька) и запрокинул голову. Скорик поморщился — сейчас еще пуше Князя расчихается, но Очко ничего, только зажмурился, а когда снова глаза открыл, они у него сделались мокрые и блестящие.

Калмык-приказчик облизнул губы, такие же белые, как рожа, и говорит:

— Не знаю я... Бадмай Кектеевич мне не рассказывают.

— Так-так, — кивнул Князь. Волоса приказчиковы выпустил, к купчине повернулся. — Что, козья борода? На куски тебя резать или скажешь?

Барышник, похоже, был мужик тертый. Сказал спокойно, без дрожи:

— Не дурак столько денег при себе держать. Нынче в рыночную контору ездил, в сейф заложил. Берите, что есть, и уходите. Часы вот золотые. И в бумажнике деньги есть. Вам хватит.

Князь оглянулся на Очка. Тот стоял, улыбался чему-то. Подтвердил:

— Верно. Есть на Конном рынке сейф, куда барышники на сохранение деньги кладут, чтоб не украли или чтоб самим не прогулять.

Сенька приметил, как купец с приказчиком переглянулись, и Бадмай этот глазами куда-то вниз повел. Эге! У приказчика стул одной ножкой на половицу надавил,

и приподнялась она одним краешком, торчит. Приказчик чуть подвинулся, половица на место и встала.

Бумажник, о котором барышник говорил, на столе лежал, раскрытый. Князь достал кредитки, пошуршал.

— Всю колоду из-за трех катек сгонял. От людей срам. У, змей косорылый.

Шагнул к купцу и хрясь ему кулаком по скуле. У того голова мотнулась, но не закричал, не заплакал — крепкий.

— Ладно, — сказал Князь, выдергивая у барышника из карманы часы — золотые, хорошие. — Благодарю своего калмыцкого бога, что мошну тебе уберег. Идем, Очко.

И уж к двери двинулись, а тут Сенька башку просунул и скромно так:

— Дяденька Князь, дозвоьте слово сказать.

— Ты чего здесь? — нахмурился Князь. — Шухер?

Сенька ему:

— Шухера никакого нет, а только хорошо бы вы вон там, под полом проверили, а?

И пальцем показал, где смотреть.

Купец дернулся, прохрипел что-то непонятное — надо думать, забрался на своем наречии. Князь же на Сеньку глянул, потом на пол. Двинул приказчику в ухо, вроде и несильно, но тот завалился вместе со стулом, захныкал.

Нагнулся Князь, пальцем подцепил половицу, вынул — под ней дырка в полу. Сунул руку.

— Ага, — говорит.

И достал лопатник большой, кожаный, а в нем хрустов — немеряно.

Князь их пальцем перебрал.

— Да тут три тыщи! — говорит. — Ай да шестой!

Скорику, конечно, лестно. Посмотрел на Очка: как тот, восхищается?

Только Очко Сенькой не восхищался и на лопатник не смотрел. Что-то с ним творилось, с Очком. Уже не улыбался и глаза стали не блестящие, а сонные.

— Я поверил... — медленно сказал Очко, и всё его лицо заколыхалось, будто волнами пошло. — Я им, иудам, поверил! В глаза смотрели! И лгали! Мне — лгали?!

— Да ладно тебе, не пыли, — махнул на него Князь, довольный находкой. — Тоже и у них свой интерес...

Очко двинулся с места, бормоча:

— Прощай, любезная калмычка... Твои глаза, конечно, узки, и плосок нос, и лоб широк, ты не лепечешь по-французски... — Хохотнул. — Узки-то узки...

И вдруг скакнул — точь-в-точь как давеча, когда Ёшку проколол — и шпагой своей лежащему приказчику прямо в глаз, сверху вниз. Сенька услышал треск (это сталь черепуху насквозь проткнула и в пол вошла), охнул, зажмурился. А когда снова поглядел, Очко шпагу уже выдернул и с интересом смотрел, как с клинка стекает что-то белое, вроде творога.

Приказчик бил по полу каблуками, разевал рот, но крику от него не было. На рожу ему Сенька взглянуть побоялся.

— Ты чё, сдурел?! — рявкнул Князь.

Очко ему в ответ, надрывно:

— Я не сдурел. Мне тошно, что правды нет на свете!

Чуть дернул кистью, в воздухе свистнуло, и шпага острием, самым кончиком, чикнула купца по горлу. Отлетел клоч отсеченной бороды, и сразу брызнула кровь — густо, как вода из пожарной кишки.

Сенька снова охнул, но глаза на этот раз закрыть не догадался. Видел, как купец рванулся со стула — да так, что ручные путы лопнули. Вскочил, а идти не может, ноги-то у него к стулу привязаны.

Жизнь выхлестывала из барышника вишневыми струями, а он всё пытался удержать ее ладонями, запихнуть обратно, только ничего у него не выходило — кровь текла сквозь пальцы, и рожа у калмыка стала такая бессмысленная, жуткая, что Скорик заорал в голос и бросился вон из страшной комнаты.

КАК СЕНЬКА СИДЕЛ В НУЖНОМ ШКАПУ

В разумение стал приходить только на Арбате, когда совсем задохся от бега. Как вылетел из гостиницы «Славянская», не помнил, как по мосту бежал и потом через пустой Смоленский рынок — тоже.

Да и на Арбате еще не в себе был. Бежать больше не мог, но сесть, передохнуть тоже не догадался. Семенил по темной улице, будто дед старый. Кряхтел, охал. И еще оглядывался часто, всё мерещилось, что сзади калмык гонится со своим порванным горлом.

Получалось, что купца и приказчика он, Сенька, погубил. Его грех. Не захотел бы перед Князем отличиться, не указал бы на схрон, остались бы калмыки живы. А как было не указать? Или он, Скорик, не фартовый?

И сказал себе на это Сенька (это уже на Театральной площади было): какой ты к бесу фартовый, глиста ты паршивая, вот ты кто. Или, иначе сказать, брюхо у вас, Семен Трифонович, больно хлипкое для настоящего мужчинского дела.

Стыдно стало, что сбежал — мочи нет. Идя по Маросейке, ругал себя за это всяко, корил, казнил, но как вспомнит про калмыков, ясно делалось: назад в колоду ему ходу нет. Князь с бойцами, может и простят — наврать можно, что живот прихватило или другое что, но себе-то не наврешь. Деловой из Сеньки, как из коровы рысак.

Ох, срамota.

Ноги принесли Скорика на Яузский бульвар, пока еще самому было невдомек, для какой надобности.

Посидел на скамейке, замерз. Походил взад-вперед. Светать стало. И только когда понял, что уже в третий раз мимо Смертьиноного дома идет, сразумел, что больше всего душу гложет.

Остановился перед дверью и вдруг — рука сама потянулась, ей-богу, — постучал. Громко.

Напугался, хотел убежать, но не убежал. Решил, услышит ее шаги, ее голос. Когда спросит «кто там?», тогда убежит.

Дверь открылась беззвучно, безо всякого предварения. Ни шагов, ни голоса не было.

На пороге Смерть. Распущенные по плечам волосы у нее были черные, а так она вся была белая: рубашка ночная, кружевная шаль на плечах. И ноги, на которые смотрел Сенька, тоже были белые — кончики высовывались из-под края рубашки.

Надо же, не спросила, кто по такому времени стучится. Вот какая бесстрашная. Или всё равно ей?

Сеньке удивилась:

— Ты? — спросила. — Князь прислал? Случилось что? Он помотал опущенной головой.

Тогда она засердилась:

— А что приперся ни свет ни заря? Чего глаза прячешь, волчонок?

Ладно, глаза он поднял. И опустить больше уже не мог — загляделся. Конечно, тут еще и заря штуку сделала: выглянула из-за крыш и высветила розовым цветом верх дверного проема, лицо Смерти и ее плечи.

— Да что ты молчишь-то? — нахмурилась она. — Лицо будто мертвое. И рубаха разодрана.

Сенька только теперь заметил, что рубаха и вправду от ворота до рукава порвана, висит вкривь. Видно, зацепился за что-то, когда из гостиницы выбегал.

— Ты что, пораненый? — спросила Смерть. — У тебя кровь.

Протянула руку, потерла пальцем присохшее к щеке пятнышко. Скорик догадался: брызги долетели, когда из купца хлестало.

А палец у Смерти оказался горячий, и от неожиданного этого прикосновения Сенька вдруг взял и разрыдался.

Стоит, ревя ревет, слезы в три ручья. Ужас до чего стыдно, а остановиться возможности нет. Уж давил в себе плач, давил, а тот всё прорывался, и, главное, жалкий

такой, будто щенок скулит! Тогда Сенька ругаться стал, как никогда не ругался — самыми что ни на есть похабными словами. А слезы всё равно текут.

Смерть его за руку взяла:

— Ну что ты, что? Идем-ка.

Закрыла дверь на засов, потянула за собой, в дом. Он попробовал упираться, но Смерть была сильная.

Усадила за стол, взяв за плечи. Он уже не плакал, только всхлипывал и глаза руками тер, яростно.

Поставила она перед ним стакан, в нем коричневая вода.

— А ну выпей, — говорит. — Это ром ямайский.

Он выпил. В груди горячо стало, а так ничего.

— Теперь на диван ложись.

— Не лягу я! — огрызнулся Сенька и уж снова на нее не смотрел.

Но все-таки лег, потому что голова кружилась. Едва откинулся на подушку, и сразу пропало всё.

Когда Сенька проснулся, давно уже был день, да не ранний — солнце светило с другой стороны, не где улица, а где двор. Под одеялом — пушистым, легким, в синезеленую клетку — лежалось хорошо, привольноно.

Смерть за столом сидела, шила что-то или, может, вышивала. Была она к Сеньке боком, и сбоку тоже была невозможно красивая, только казалась грустнее, чем если спереди смотреть. Широко-то он глаза открывать не стал, через ресницы на нее смотрел, долго. Тут ведь еще прикинуть надо было после давешнего, как себя держать. И вообще разобраться, что к чему. Почему это, к примеру, он голый лежит? То есть не совсем голый, в штанах, но без рубахи и без сапог. Это, надо понимать, она его, сонного, раздевала, а он и не помнит.

Тут Смерть голову повернула и, хоть Скорик поскорей ресницы сжал, все равно поняла, что он уже не спит.

— Проснулся? — говорит. — Есть хочешь? Садись к столу. Вот, сайка свежая. И молока на.

— Не хочу, — буркнул, Сенька, обидевшись на молоко — нет чаю или кофею человеку предложить. Хотя ко-

нечно, какого к себе можно ждать уважения, если расхныкался, словно дитя малое.

Она поднялась, взяла со стола чашку и булку, подсе- ла к нему. Напугавшись, что Смерть станет его с рук кор- мить, будто вовсе малька какого, Сенька сел.

Так вдруг жрать захотелось — аж затрясся весь. И да- вай сайку трескать, молоком запивать. Смерть смотре- ла, ждала. Долго-то ей ждать не пришлось, Сенька в ми- нуту всё схоячил.

— Теперь сказывай, что стряслось, — велела она.

Делать нечего. Голову повесил, брови схмурил и рас- сказал — коротко, но честно, без утайки. А закончил так:

— Виноватый я перед тобой. Подвел тебя, значит. Ты за меня перед Князем поручилась, а я, вишь, хлипкий оказался. Куда мне в фартовые. Думал, я коршун, а я — воробьишка облезлый.

И только договорив до конца, посмотрел на нее. Она такая сердитая была, что у Сеньки на сердце совсем по- гано сделалось.

Несколько времени помолчали. Потом она говорит:

— Это я, Скорик, перед тобой виновата, что к Князю допустила. Не в себе я была. — И уже не Сеньке, а себе, качая головой. — Ох, Князь, Князь...

— Да не Князь это, Очко, — сказал он. — Очко кал- мыков порезал. Я ж говорил...

— С Очка что взять, он нелюдь. А Князь раньше че- ловек был, я помню. Вначале-то я даже хотела его...

Так и не узнал Сенька, чего она хотела, потому что в эту самую минуту стук донесся, особенный: тук-тук, тук- тук-тук и еще два раза тук-тук.

Смерть вскинулась:

— Он! Легок на помине, бес. А ну вставай, живо. Уви- дит — убьет тебя. Не посмотрит, что малец. Страсть до чего ревнивый.

Скорика спрашивать не пришлось — как сдуло его с дивана, даже на «мальца» не обиделся.

Спросил испуганно:

— Куда? В окошко?

— Нет, открывать долго.

Он — к одной из двух дверей, что белели рядышком одна от другой.

Смерть говорит:

— В ванную нельзя. Князь — чистюля, всегда первым делом идет руки мыть. Давай туда. — И на соседнюю показывает.

Сеньке что — в печку бы горящую залез, только бы Князю не попасться. А тот уже снова стучит, громче прежнего.

Влетел в комнатенку навроде чуланчика или даже шкапа, только всю белую, кафельную. У стены, прямо на полу, стояла большая фарфоровая ваза, тоже белая.

— Чего это? — спросил Сенька.

Она смеется:

— Ватер-клозет. Нужник с водосливом.

— А если ему по нужде приспичит?

Она засмеялась пуще прежнего:

— Да он раньше лопнет, чем при барышне в нужник пойдет. Он же Князь.

Захлопнула дверь, пошла открывать. Сенька слышал, как она крикнула: «Ну иду, иду, ишь расстучался!»

Потом голос Князя донесся:

— Чего заперлась? Никогда же не запираешься?

— Платок из прихожей стащили, залез кто-то ночью.

Князь уж в горнице был.

— Это кто-то чужой, залетный. Хитровские не насмелились бы. Ништо, скажу слово — вернут твой платок и вора сыщут, не зарадуется.

— Да бог с ним, с платком. Старый совсем, выбросить хотела.

Потом разговор поутих, зашелестело что-то, причмокнуло.

Она сказала:

— Ну здравствуй, здравствуй.

Милуются, догадался Сенька.

Князь говорит:

— Пойду руки и рожу помою. Пыльный весь.

Близко, за стеной, зашумела вода и лилась долго.

Скорик тем временем огляделся в нужном шкапу.

Над вазой труба торчала, сверху бак чугунный, а из него свисала цепь с бульбой на конце — для какой цели-надобности, непонятно. Но Скорику сейчас не до любопытствований было. Ноги бы унести, пока цел.

А под потолком как раз окошко просвечивало — не-большое, но пролезть можно. Если на фарфор встать, за цепку ухватиться, после за бак, то вполне можно было дотянуться.

Долго раздумывать не стал. Влез на вазу (ох, не треснула бы!), за цепь хватъ.

Ваза ничего, сдюжила, а вот цепь оказалась подлая: дернулась книзу и труба вдруг как заревет, как снизу вода хлынет!

Скорик от ужаса чуть не сомлел.

Смерть заглянула:

— Ты что? — шепчет. — Очумел?

А тут как раз дверь рядом стукнула — это Князь из ванной вышел. Ну Смерть повернулась, тоже вроде как дело сделала.

Закрыла за собой дверь, плотно.

Сенька еще какое-то время в себя приходил, за сердце держался. Потом, когда малость полегчало, сел рядом с вазой на корточки, стал думать, как это красавицы нужные дела справляют. Со стороны натуры посмотреть, вроде должны, но вообразить Смерть за таким занятием не было никакой возможности. Опять же куда здесь? Не в вазу ведь эту белоснежную? Из такой красотищи разве что кисель хлебать.

Так и остался в сомнении. Вполне предположительно, что у особенных красавиц всё и устроено как-нибудь по-особенному.

Пообвыкся немножко в шкапу сидеть — захотелось узнать, чего они там в горнице делают.

Ухом к двери прижался, хотел послушать, да только слов было не разобрать. Потыкался туда-сюда и наконец на четвереньки пристроился, ухом к самому полу. Там, где под дверью щелочка, лучше всего слышать было.

Сначала ее голос донесся:

— Сказано ведь — не в расположении я нынче баловаться.

Он говорит:

— А я те подарок принес, колечко яхонтовое.

Она:

— Туда положи, к зеркалу.

Шаги. Потом снова Князь, зло (Сенька поежился):

— Что-то ты редко в расположении бываешь. Другие бабы сами стелются, а ты будто ершиха колючая.

Она же — вот отчаянная:

— Не нравлюсь — проваливай, держать не стану.

Он еще злее:

— Ты сильно-то не гордись. Виноватая ты передо мной. Ты откуда Скорика этого сопливого взяла?

Ох ты, Господи, сжался Сенька.

— Чем же он тебе нехорош? — спросила Смерть. — Мне сказывали, он будто бы жизнь твою спас.

— Парнишка-то он верткий, да больно жидок. Увидишь — скажи: кто к Князю в колоду попал, ход от меня только в два конца: или к псам на кичу, или в сыру землю.

— Да что он сделал-то?

— Утек.

Она попросила:

— Отпусти ты его. Моя ошибка. Я думала, он тебе сгодится, а он, видно, из другой глины слеплен.

— Не отпущу, — отрезал Князь. — Всех видел, всё знает. Так и скажи: не объявится — сам сыщу и закопаю. Да хватит о пустом болтать. Я, Смерточка, прошлой ночью хороший slam взял, боле трех тыщ. А нынче еще больше возьму, наводку мне дали знатную. Синюхина знаешь, каляку, что в Ерошенковских подвалах живет?

— Знаю. Пропойца, чиновник бывший. Он, что ли, наводку дал?

Князь смеется:

— Не он дал. На него дали.

— Да что с него, голого, взять? Еле жену-детей кормит.

— Можно, Смертушка, еще как можно! Человечек один шепнул Салу, а Сало мне. Нашел каляка где-то под землей клад старинный, злата-серебра видимо-невидимо. Третий день казенную пьет, рыжиками да семгой заедает. Бабе своей платок купил, дитям сапожки. Это Синю-

хин-то, у которого больше гривенника за душой не бывало! Он Хасимке-сламщику денег древних, серебряных целую горсть продал и спьяну хвастал в «Каторге», что скоро съедет с Хитровки, будет как раньше на собственной квартире проживать, на белой скатерке разносолы кушать. Потолкую нынче ночью с Синюхиным. Пускай своим счастьем поделится.

Вдруг в комнате стало тихо, да не просто, а как-то по-нехорошему. Сенька ухом к шелке жмет, чувствует неладное.

Князь как гаркнет:

— А эт-та что? Сапоги? И диван помятый?

Загрохотало — стул что ли упал или еще что.

— Лярва! Паскуда! С кем? Кто? Убью! Спрятался? Где?

Ну, дальше-то Скорик дожидать не стал. Щеколду задвинул, влетел на вазу, за цепь ухватил, подтянулся, окошко толкнул и, уже не обращая внимания на рев воды, прямо башкой в проем.

Сзади треск, дверь нараспашку, рев: «Стой! Порву!»

Ага, щас.

Рыбкой вниз сиганул. Как только шею не свернул — промысел Божий. Перекувырнулся кое-как и припустил по шебенке, по битому кирпичу в подворотню.

Однако недалеко отбежал. Встал. Подумал: а ведь убьет он ее сейчас, Князь-то. Ни за что убьет.

Ноги сами назад пошли. Постоял под окнами, послушал. Вроде тихо. Или порешил уже?

Подкатил к нужниковому окошку старую бочку из-под вина, поставил на попа, полез обратно.

Зачем лезет — сам не знал и думать не хотелось. В голове вертелось глупое: Смерть убивать нельзя. Как это может быть — смерть убить? И еще думал: будет, побегал уже ночью. Не заяц, не нанялся вам чуть что стрекача давать, да без сапог, да по кирпичам.

Когда снова в нужный шкаф попал, стало ясно, что не убил еще ее Князь и, вроде, не собирается.

И сразу храбрости поубавилось. Особенно как услышал через сбитую с верхней петли дверь:

— Богом прошу, скажи. Ничего тебе не будет, только укажи, кто.

В ответ ни слова.

Сенька осторожненько выглянул. Мамочки-мамоньки, а у Князя в руке нож финский, прямо в грудь Смерти целит. Так, может, все-таки убьет?

Он как раз и сказал:

— Не играйся со мной — гляди, не совладаю. Князю человека кончить, что муху прибить.

А она весело:

— Так то человека, а я Смерть. Прибей, попробуй. Ну, что вылупился? Или убивай, или вон пошел.

Князь ножом в зеркало швырнул, да и выбежал, только дверь наружная хлопнула.

Скорик вытянул шею, видит: Смерть отвернулась, смотрится в треснутое зеркало, и лицо у ней в том зеркале от трещинок будто паутиной затянутое. Чудно как-то она на себя глядела, словно чего-то понять не могла. Высунувшегося Сеньку, однако, увидела.

Оборотилась, говорит:

— Вернулся? Смелый. А говорил, воробей. Нет, ты не коршун и не воробей, ты на стрижа похож.

И улыбнулась — всё ей как с гуся вода. Сенька сел на диван, стал сапоги натягивать, из-за которых беда вышла. Дышал тяжело, все-таки здорово перепугался.

Она ему рубашку подала.

— Видишь, знак свой на тебя поставила. Мой теперь будешь.

Тут он разглядел, что она не просто порванное зашила, а, пока он спал, еще вышила цветок, диковинный: посередке глаз, на ее, Смертьин, похож, лепестки же — цветные змейки с раздвоенными язычками.

Понял — шутит она про знак. Надел рубаху. Сказал: — Спасибочко.

Ее лицо было близко совсем, и еще пахло особенно, одновременно сладким и горьким. Сенька сглотнул, глазами захлопал, про всё на свете забыл, даже про Князя. Не захотела она баловаться, с Князем-то. Выходит, не любит его?

Скорик шажок маленький сделал, чтоб еще ближе встать, и заклоныло его вперед, будто травинку под ветром. А руками шевельнуть, обнять там или что, робел.

Она засмеялась, потрепала Сеньку по вихрам.

— Не суйся, — говорит, — комарик, в огонь. Крылышки опалишь. Ты лучше вот что. Слыхал, что Князь про клад говорил? Синюхина, каляку, знаешь? Он под Ерошенковской ночлежкой живет, в Ветошном подвале. Жалкий такой, нос у него, как слива. Была я у Синюхина однажды, когда у него сын в скарлатине лежал, доктора водила. Сходи, предупреди, чтоб забирал своих и ноги с Хитровки уносил. Скажи, к нему ночью собрался Князь наведаться.

Стриж еще ладно, птица необходимая, а вот на комарика Сенька губу выпятил. Она поняла, еще пуще засмеялась.

— Вот и надулся. Так и быть, поцелую один разочек. Да только без глупостей.

Он не поверил — решил, надсмехается над сиротой. Но губу все же сдул, вторую к ней пристроил и трубочкой вытянул. Ну как вправду поцелует?

Она не обманула, коснулась его устами и сразу давай выталкивать:

— Беги к Синюхину. Сам видишь, какой Князь бешеный стал.

Сенька шел от ее дома и остороженько, мизинцем, трогал губы — ишь ты, будто огнем горят. Сама Смерть облобызала!

КАК СЕНЬКА БЕГАЛ И ПРЯТАЛСЯ, А ПОТОМ ИКАЛ

Что Скорик к каляке не попал — не его вина, на то свои причины имелись.

Он чести по чести напрямик от Смертьинового дома отправился в Подколокольный переулок, где Ерошенковская ночлежка. В ней поверху кварталы с номерами, там по ночам до тыщи народу ухо давит, а внизу, под землей, глубоченные подвалы, и там тоже живут: крохали, которые краденое платье перешивают, нищие из тех что победней, и каляки тоже там селятся. Каляки — народ сильно пьющий, но все же не до последней крайности, потому что им нужно перо в руке удержать и слова на бумаге правильно сложить. Промысел у них такой — для неграмотных письма и слезницы калякать, а кто умеет, то и прошения. Оплата по длине: за страницу пятак, за две девять копеек с грошиком, за три — тринадцать.

Путь с Яузского бульвара до Ерохи (Ерошенковский дом так обычно звали) был недалёкий, а только не попал Скорик, куда шел.

Когда из-за угла в Подколокольный вышел (уж и вход в Ероху было видать), углядел Сенька такое, что к месту прилип.

Рядом с Михейкой Филином, держа его за плечо, стоял коротышка в клетчатой паре и котелке — тот самый китаеза, у которого Сенька неделю назад зеленые бусы стырил. Такого раз увидишь — не позабудешь. Щеки толстые, цвета спелой репы, глазенки узкие, нос тупенький, однако с горбинкой.

Филин держал себя спокойно, зубы скалил. А чего ему бояться? За спиной у китайца (ему-то, дурню, невдомек) хитровские пацаны стояли, двое. Михейка заметил Скорика, подмигнул: жди, мол, щас потеха будет.

Как было на такое не посмотреть?

Подошел Сенька поближе, чтоб слышно было, остановился.

Слышит, китаеза спрашивает (говор чудной, но понять можно):

— Фирин-кун, гдзе твой товарись? Который быстро бегар. Такой худзенький, ворос дзёртый, градза серые, нос с конопуськами?

Надо же, всё запомнил, нехристь, даже конопушки. И, главное, как это он Михейку отыскал? Должно быть, забрел на Хитровку и увидел по случайности.

Но здесь Сенька заметил в руке у китайца старый картузишко с треснутым козырьком. Ну, ушлый! Это он не просто так сюда приперся, а нарочно, бусы свои отыскать. Смикитил, что парни с Хитровки были (или, может, извозчики подсказали, у тех-то глаз наметанный), порыскал тут и сцапал Филина. Михейка грамоте не обучен, так он на всех своих шмотках, чтоб не сперли, филина рисует. Вот и дорисовался. Надо думать, азиатец походил с оброненным на Сретенке картузом, поспрошал — чей такой. Вызнал на свою голову. Ох, лучше бы косоглазому сюда не ходить и Филина за рукав не держать. Навалиют ему сейчас по круглой, как блин, морде.

Михейка в ответ:

— Какой такой «товарись»? Ты чё, ходя, редьки китайской обожрался? Впервой тебя вижу.

Красовался Филин перед пацанами — ясно.

Китаец помахал картузом.

— А это сьто? Сьто за птителька?

И пальцем в подкладку тычет.

А что толку? Сейчас за шарики эти семидесяतिकопечные накидают китаезе по рылу, вот и весь прибыток. Даже жалко стало. Пика, шустрый пацан с Подкопаевс-кого, уж за спиной у баклана на четвереньки встал. Сейчас пихнет Филин желтощекого, и пойдет потеха. Без штанов уйдет, да еще зубы-ребра пересчитают.

С площади и из переулка глядели зеваки, скалились. Прошел было по краю рынка Будочник с газетой в руках, поглядел поверх серого листа, зевнул, дальше пото-

пал. Обыкновенное дело, когда баклана чистят. А не лезь, куда не звали.

— Ой, не пугайте меня, дяденька, не то я портки намочу, — снасмешничал Филин. — А за картузик благодарствуйте. Поклон вам за него и еще вот — от мово щедрого сердца.

И как врежет китайцу в зубы!

Или, лучше сказать, нацелил в зубы, только косоглазый присел, и Михейкин кулак по пустому месту пришелся, а сам Филин от замаха весь завернулся. Тут китаец двинул разом правой рукой и левой ногой: ладонью Михейке по затылку (легонько, но Михейка носом в пыль зарылся и остался лежать), а каблуком Пике в ухо. Пика тоже растянулся, а третий пацан, постарше Пики, клика ему Сверло, хотел было шустрого басурмана кастетом достать — и тоже по воздуху попал. Китаеза в сторонку скакнул, хлопбысть Сверлу носком ботинка в подбородок (это ж надо так ноги задирать!) — тот навзничь запрокинулся.

Коротко говоря, зеваки рты разинуть не успели, а уж все трое пацанов, что собирались баклана китайского чистить, лежат вповалку и вставать не спешат.

Покачали люди головами на этакое диво и пошли себе дальше. А китаец над Михейкой присел, за ухо взял.

— Нехоросё, — говорит, — Фирин-кун. Софусем нехоросё. Гдзе тётки?

Михейка затрясся весь — уж не понарошку, а всерьез.

— Не знаю никаких тёток! Мамкой-покойницей! Господом Исусом!

Китаец ему ухо немножко крутанул и разъяснил:

— Сярики, зерёные, на нитотьке. В узерке быри.

А Филин возьми и крикни:

— Не я это, это Сенька Скорик! Ай, ухо больно! Вон он, Сенька!

Ну иуда! Простого ухокрута и того не снес! Его бы дяде Зот Ларионычу в обучение!

Китаец повернулся, куда Филин показывал, и увидел Сеньку.

Встал, нерусский человек, и пошел на Скорика — мягко так, по-кошачьему.

— Сенька-кун, — говорит, — бегачь не надо. Сегодня у меня не гэта, сътибреты — догоню.

И на штиблеты свои показывает. Мол, не шлепанцы, не споткнушь, как давеча.

Но Сенька, конечно, все равно побежал. Хоть и зарекался зайцем бегать, но такая уж у него, видно, теперь образовалась планида — почем зря подметки драть. Не хошь по рылу — гони кобылу.

Теперь побегать пришлось не в пример протнв прошлонедельного. Сначала пролетел Скорник по всему Подколокольному, потом по Подкопаю, по Трехсвятке, по Хитровскому, через площадь, снова свернул в Подколольный.

Отмахивал Сенька шустро, как только каблуки не отлетели, но китаец не отставал, да еще, пузырь толстомордый, на ходу уговаривал:

— Сенька-кун, не беги, упадёсь, рассибёсья.

И даже не запыхался нисколько, а из Скорика уже последний дух выходил.

Хорошо, догадался на Свинью повернуть, или иначе сказать в Свиныйнский переулок, где Кулаковка — самая большая и тухлая из хитровских ночлежек. Спасли Сеньку от идолища поганого кулаковские подвалы. Они еще мудреней Ерошенковских, никто их в доподлинности не знает. Одних ходов-проходов столько понарыто — не то что китаец, сам черт не разыщет.

Далеко-то Сенька залезать не стал, там в темноте с небольшой привычки можно было и заблудиться.

Посидел, покурил папирску. Высунулся — китаец на короточках сидит возле входа, на солнце жмурится.

Что делать? Вернулся в подземелье, походил там взад-вперед, еще покурил, поплевал на стену (неинтересно было — не видно в темноте, куда попадаешь). Мимо тени шмыгали, кулаковские обитатели. Сеньку никто не спросил, чего тут торчит. Видно, что свой, хитровский, и ладно.

Снова глядеть сунулсЯ, когда у входа уже керосиновый фонарь горел. Сидел сучий китаеца, с места не шелохнулся. Вот настырная нация!

Здесь Сеньке томно стало. Всю жизнь ему теперь в кулаковском подвале торчать, что ли? Брюхо подвело, да и дело ведь было, нешуточное — каляку предупредить.

Снова спустился вниз, зарыскал по коридору (одно название, что коридор — пещера пещерой, и стены то каменные, склизкие, то земляные). Непременно должен был тут и другой выход иметься, как же без этого.

Схватил за руку первого же кулаковца, что из тьмы вынырнул.

— Братуха, где тут у вас еще выйти можно?

Тот вырвался, матюгами обложил. Хорошо ножиком не полоснул, кулаковские — они такие.

Оперся Скорик о стену, стал думать, как из ямы этой выбираться.

Вдруг прямо под ним, где стоял, дыра раскрылась — черная, сырая. И оттуда поперла косматая башка, да Сеньке лбом в коленку.

Он заорал:

— Свят, свят! — и прыг в сторону.

А башка на него залаялась:

— Чего растопырился? Нору всю загородил! Ходят тут, косолапые!

Только тогда Сенька догадался, что это «крот» из своей берлоги вылез. Было в подземной Хитровке такое особенное сословие, «кроты», которые в дневное время всегда под землей обретались, а наружу если и вылезали, то ночью. Про них рассказывали, что они тайниками с ворованным добром ведают и за то получают от барыг со сламщиками малую долю на проедание и пропитие, а одежи им вовсе никакой не надо, потому что зачем под землей одежда?

— Дяденька «крот»! — кинулся к нему Сенька. — Ты тут все ходы-выходы знаешь. Выведи меня на волю, только не через дверь, а как-нибудь по-другому.

— По-другому нельзя, — сказал «крот», распрямляясь. — Из Кулаковки только на Свинью выход. Если подрядишь, могу в другой подвал сопроводить. В Бунинку — гривенник, в Румянцевку семишник, в Ероху пятнадцать...

Скорик обрадовался:

— В Ероху хочу! Это еще лучше, чем на улицу!

Синюхин-то в Ерохе живет.

Порылся по карманам — как раз и пятиалтынный был, последний.

«Крот» денежку взял, за щеку сунул. Махнул рукой: давай за мной. Что с деньгами сбежит, а подрядчика одного в темноте бросит, Сенька не опасался. Про них, «кротов», все знали, что честные, без этого кто же им слам доверит?

Главное было самому не отстать. «Кроту»-то хорошо, привычному, он и без света всё видел, а Сенька так, наудачу, ногами переступал, только повороты считал.

Сначала прямо шли и вроде как немножко вниз. Потом провожатый на четвереньки встал (Сенька по звуку только и догадался), пролез налево, в какую-то дыру. Скорик — за ним. Проползли саженой, может, десять, и лаз повыше стал. Из него вправо повернули. Потом опять влево, и пол из каменного стал мягким, земляным, а кое-где и топким — под ногами зачавкало. Еще влево и опять влево. Там навреде пещеры и откуда-то сквозняком потянуло. Из пещеры по ступенькам поднялись, невысоко, но Сенька все равно оступился и коленку зашиб. Наверху лязгнула железная дверца. За ней коридор какой-то. Скорика после лаза, где на карачках ползали, здесь светло показалось.

— Вот она, Ероха, — впервые за все время сказал «крот». — Отсюда можно либо к Татарскому кабаку вылезти, либо в Подколокольный. Тебе куда?

— Мне бы, дяденька, в Ветошный подвал, к калякам, — попросил Сенька и на всякий случай соврал. — Письмишко отцу-матери отписать желаю.

Подземный человек повел его вправо: через большой каменный погреб с круглыми потолками и пузатыми кирпичными стояками, снова коридором, опять большим погребом и снова вышли в коридор, пошире прежних.

— Ага, — сказал «крот» и повернул за угол.

Когда же Сенька за ним сунулся, тот будто сквозь землю провалился. За углом серело — там, близко, был вы-

ход на улицу, только «крот», скорей всего, не туда пропустил, а в какую-нибудь нору влез.

— Чего, пришли, что ли? — крикнул Скорик неведомо кому.

От потолка и стен откликнулось: «штоли-штоли-штоли».

А потом глухо — и вправду словно из-под земли: «Ага».

Стало быть, это он самый и был, Ветошный подвал. Приглядевшись, Сенька рассмотрел по обеим стенам дощатые дверки. Постучал в одну, крикнул:

— Синюхины где тут проживают?

Из-за двери откликнулись, хоть и не сразу:

— Тебе чего, бумагу писать? — спросил дребезжащий голос. — Это и я могу. У меня почерк лучше.

— Нет, — сказал Сенька. — Он, гад, мне полтинник должен.

— А-а, — протянул голос. — Направо иди. Третья дверь.

Перед дверью, на которую было указано, Скорик остановился, прислушался. Ну как Князь уже там? То-то запоедешь.

Но нет, за дверью было тихо.

Постучал: сначала легонько, потом кулаком.

Всё равно тихо.

Ушли, что ль, куда? Да нет. Если присмотреться — из-под низа свет пробивался, слабенький.

Толкнул дверь — открылась.

Стол из досок, на нем огарок в глиняной миске, рядом щепки лежат — лучины. Больше пока мало что видеть было.

— Здравствуйте вам, — сказал Сенька и картуз снял.

Никто ему не ответил. Рассусоливать, однако, некогда было — как бы Князь не нагрнулся.

Потому Сенька зажег лучинку и над головой поднял: ну-ка, что тут у них, у Синюхиных? Чего молчат?

На лавке у стены баба лежала, спала. На полу, под лавкой, дитё — совсем мелкое, года три или, может, два.

Баба на спине разлеглась, глаза себе чем-то черным прикрыла. Это у дядьки Зот Ларионыча супруга так же

вот на ночь вату, шалфеем смоченную, на глаза клала, чтоб морщин не было. Дуры они, бабы, всякому известно. Посмотришь на такую — жуть берет: будто дырья у ней на роже вместо глаз.

— Эй, тетенька, вставай! Не время дрыхнуть, — сказал Сенька, подходя. — Сам-то где? Дело у ме...

И поперхнулся. Не ватки это у ней были, а жижа. Застыла в глазницах, будто в ямках, и еще по виску к уху пролилась. И не черная она была, а красная. Тоже и шея у Синюхинской бабы была вся мокрая, блестящая.

Сенька сначала зенками похлопал и только после допер: перехватили бабе глотку и еще глаза выкололи — вот как.

Хотел крикнуть, но вырвалось только:

— Ик!

Присел на корточки, на мальчика поглядеть. И тот был мертвый, а вместо глаз две темные прорехи, только маленькие — сам-то тоже невелик.

— Ик, — сказал Сенька. — Ик, ик, ик.

И потом уже икал не переставая, не мог остановиться.

Попятился он от нехорошей лавки, споткнулся о мягкое. Чуть не упал.

Посветил — пацан лежит, лет двенадцати. Рот разинут, зубы посверкивают. А глаз опять нету, повывколоты.

— Ой! — удалось, наконец, Сеньке крикнуть. — Ой, беда!

Хотел к двери дунуть, но вдруг из угла, где темно, послышался голос.

— Митюша, — позвал голос тихо, жалостно. — Ушел он? Мамоньку-то не тронул? А? Не слышу... Вишь, что он, зверь, со мной сделал... Иди, иди сюда...

Там в углу висела ситцевая занавеска.

Скорик икнул раз, другой. Бежать или подойти?

Подошел. Отодвинул.

Увидел деревянную кровать. На ней лежал человек, шупал руками мокрую от крови грудь. А глаз у него тоже не имелось, как у прочих. Наверно, он-то и был каляка Синюхин.

Сенька хотел ему объяснить, что и Митюшу этого, и мамку, и мальчика насмерть зарезали, но только икнул.

— Ты молчи, ты слушай, — сказал Синюхин, облизывая губы и вроде как улыбаясь. Сенька отвернулся, чтоб этой безглазой улыбки не видеть. — Слушай, а то сна из меня уходит. Кончаюсь я, Митюша. Но это ничего, это пускай. Жил плохо, грешно, так хоть помру человеком. Может, мне за это прощение будет... Не выдал ведь я ему! Он мне всю грудь ножиком исколол, глаза вырезал, а я стерпел... Прикинулся, будто помер, а сам-то живой! — Каляка засмеялся, и в горле у него забулькало. — Слушай, сынок, запомниай... Заветное место, про какое я говорил, к нему идти вот как: ты подземную залу, сводчатую, где кирпичные опоры, знаешь? Да знаешь, как не знать... Там, за правой крайней опорой, в самом уголку, нижний камень вынуть можно... Я искал, где от мамоньки бутылку спрятать, ну и наткнулся. Вынешь камень, отодвинешь, тогда можно будет другие снять, которые над ним сверху... Лезь туда, не бойся. Там потайной ход. Дальше просто: иди себе и иди... Выйдешь прямо в камору, где сокровище. Ты, главное, не бойся. — Голос стал совсем тихий, так что Сеньке нагнуться пришлось — еще и икота, проклятая, слушать мешала. — Сокровище... Большущее... Всё у вас будет. Хорошо живите. Тятеньку лихом не поминайте...

Больше Синюхин ничего не сказал. Скорик посмотрел на него: губы в улыбке растянуты, а сам уже не дышит. Преставился.

Перекрестился Сенька, потянулся покойнику, как положено, глаза прикрыть, да руку-то и отдернул.

Уже не икал, дрожал беззвучно. И не от страха — за-был про страх.

Сокровище! Большущее!

КАК СЕНЬКА ИСКАЛ СОКРОВИЩЕ

Конечно, не в себе был, после такого-то.

То думал: вот ведь носит земля изверга, дитю малому, и тому не спустил, да еще глаза повырезал, ирод. А и Князь тоже хорош! Вроде честный налетчик. Зачем такого беспардонщика при себе держит, который живым людям глаза колет?

А то вдруг мыслью соскакивал со страшного и начинал сокровище воображать, но неясно: что-то вроде царских врат в церкви. Всё сверкает, переливается, а толком ничего не разглядишь. Сундуки еще представлял, в них — злато-серебро, самоцветы там всякие.

Дальше повернуло на брата Ванюшу — как приедет к нему Сенька, не деревяшку с мочальным хвостом подарит и не поню эту недомерную, как судья Кувшинников, а самого настоящего скакуна арабских кровей и к нему коляску на пружинном ходу.

И про Смерть, само собой, тоже подумалось. Если Сенька при огромном богатстве будет, может, и она на него по другому взглянет. Не шербатый-конопатый, не комарик и не стриж, а Семен Трифонович Скориков, самостоятельный кавалер. И тогда...

Что «тогда», и сам не знал.

Как вышел из жуткой комнаты — побежал назад, в самый дальний погреб с пузатыми кирпичными стояками, не иначе Синюхин про него говорил.

«Крайняя опора» это которая, с этого конца или с того?

Надо думать, та, что от Синюхинского жилья дальше всего.

Хоть Сенька от всего приключившегося вроде пьяного был, но спички и запас лучинок со стола прихватить догадался.

В самом дальнем углу сел на корточки, спичку зажег. Увидел тесаные камни старинной кладки, каждый величиной с ящик. Поди-ка сдвинь такой.

Когда огонек погас, Скорик нашупал пальцами шов, подвигал и так, и сяк — мертвое дело. Попробовал пошевелить соседний — тож самое.

Ладно. Перешел в другой угол, по правой стороне. Теперь уже не спичку зажег, лучину. Посветил туда-сюда. Камни тут были такие же, но у одного, нижнего, по краям чернели щели. Ну-ка, ну-ка.

Взялся, потянул — камень поддался, и довольно легко.

Кряхтя, вытащил, отодвинул. Из дырки пахло сырым и затхлым.

Сеньку снова колотить начало. Синюхин-то правду сказал! Есть там что-то!

Другой камень, сверху, снять еще легче оказалось — он был малость пошире нижнего. Третий еще пошире и тоже не прихваченный раствором, а всего камней вынулось пять. Верхний — пуда на три, если не больше.

Теперь перед Сенькой чернела щель — вполне можно человеку пролезть, если боком и скрючимши.

Перекрестился, полез.

Как протиснулся, сразу просторней сделалось. Заколебался: не поставить ли за собой камни на место. Но не стал — кто в угол погребца полезет? Без огня все одно щель не углядишь, а огня ерохинские обитатели не зажигают.

Очень уж Сеньке невольно было поскорей до сокровища добраться.

Запалил погасшую лучину.

Ход был шириной аршина в полтора, с низкого потолка свисали какие-то серые тряпки — не то паутина, не то пыль. А снизу пискнуло — крысы. Их по подвалам полно, самое ихнее крысиное отечество. Но эти наглые были. Одна прямо Сеньке на сапог прыгнула, зубьями в складку на голенище вцепилась. Страхнул ее, тут же другая наскочила. Вот бесстрашные!

Потопал ногами: кыш, проклятые.

И потом, когда вперед по лазу шел, остромордые серые твари то и дело из-под ног шмыгали. Из темноты, будто капельки, посверкивали ихние глазенки.

Пацаны рассказывали, прошлой зимой крысы с голодухи обезумели и пьянчуге, что в погребе уснул, нос и уши

отъели. Младенцев в люльке, если без присмотра оставить, часто обгрызают. Ништо, успокоил себя Сенька. Чай не пьяный и не младенец. А сапог им не прокусить.

Когда щепка догорела, новую не стал зажигать. Зачем? Дорога-то одна.

Сколько шел в темноте, сказать затруднительно, однако не так чтоб очень долго.

Растопыренными руками вел по стенам, опасался пропустить, если будет поворот или развилка.

Лучше б потолок шупал — налетел лобешником на камень, аж в ушах зазвенело, и колеса перед глазами покатались, желтые. Нагнул голову, сделал три шажочка, и стенки из-под обеих рук ушли.

Засветил лучину.

Оказывается, он из низкого прохода в некий погреб попал. Может, это и есть камора, про которую Синюхин своему мертвому сыну говорил?

Потолок тут был плавно-изгибчатый, узкого кирпича, не сказать, чтоб очень высокий, но рукой не дотянешься. Кирпич кое-где осыпался, на полу валялись осколки. Помещение собой не большое, но и не маленькое. От стены до стены, может, шагов двадцать.

Никаких сундуков Сенька не углядел.

У стены, что справа, и у той, что слева, лежало по большой куче хвороста. Подошел — нет, не хворост, пруты железные, почерневшие.

Напротив хода, из которого вылез Скорик, раньше, похоже, дверь была, но только ее всю доверху битым кирпичом, камнями и землей засыпало — не пройдешь.

Где ж большущее сокровище, за которое Синюхин и всё его семейство страшную смерть приняли?

Может, в подполе, а Синюхин досказать не успел?

Сенька встал на карачки, принялся по полу ползать, стучать. Лучина догорела — другую зажег.

Пол, тоже кирпичный, отзывался глухо. Посреди каморы нашлась большая мошна толстой задубевшей кожи, вся ветхая, негодная. Внутри, однако, что-то звякнуло.

То-то!

Вывернул, потряс. На пол со звоном посыпались какие-то лепестки-чешуйки, с мизинный ноготь каждая. Немного, с пару горстей.

Может, золотые?

Непохоже — чешуйки были темные и блестели.

Сенька слышал, что золото на зуб пробуют. Погрыз один лепесток. На вкус он был пыльный, укусить — не укусишь. Черт его знает. Может, и вправду золото?

Насыпал чешуйки в карман, пополз дальше. Еще три лучины сжег, весь пол коленками обтер, но боле ничего не нашел.

Сел на задницу, голову подпер, пригорюнился.

Ай да сокровище. Выходит, бредил Синюхин?

А может, тайник в стене?

Вскочил на ноги, прут железный из кучи подобрал и давай стены простукивать.

Через короткое время от раскатистого звона уши запылились — вот и вся прибыль. Ничего путного не выстукал.

Достал из кармана лепесток, поднес к самому огню. Разглядел чеканку: человек на коне, какие-то буквы, непонятные. Вроде монетка, только кривая какая-то, будто обкусанная.

От расстройства снова в мощну полез, за подкладкой шупать. Нашел еще два лепестка и монету — круглую, настоящую, больше рублевика. На ней был выбит бородатый мужик и тоже буквы. Деньга была серебряная, это Сенька сразу понял. Наверно, их тут таких раньше полная сумка лежала, да Синюхин все забрал, перепрятал куда-нибудь. Ищи-свищи теперь.

Делать нечего — полез Сенька по подземному ходу обратно, не сильно солоно похлебавши.

Ну, кругляш серебряный. Ну, лепесточки эти — то ли серебряные, то ли медные, не разберешь. А хоть бы и серебряные — невелико богатство.

Прут железный, которым в стены стучал, с собой взял, крыс гонять. Да и вообще сгодится — приятный он был на ощупь, хватистый.

КАК СЕНЬКА ПОПАЛСЯ

Хоть и не оказалось в схроне сокровища, все же, когда вылез из лаза в погреб с кирпичными опорами, задвинул камни на место. Надо будет вернуться с хорошей масляной лампой да получше поискать. Вдруг чего не углядел?

С того места, где «крот» спрашивал, к какому выходу вести, Сенька теперь пошел не вправо, а влево, чтоб в Ветошный подвал не угодить. Снова мимо двери ходить, за которой мертвяки безглазые лежат? Благодарствуйте, нам без надобности.

Теперь Скорик сам на свою отчаянность удивлялся — как это он после такой страсти не побежал из Ерохи со всех ног, а еще сокровище искать полез? Тут либо одно, либо другое: или он все ж таки пацан крепкий, или сильно жадный — корысть в нем злее страха.

Про это и думал, когда через боковую дверь к Татарскому кабаку вышел.

Из ночлежки вышел — зажмурился от света. Это ж надо, утро уже, солнышко на колокольне Николы-Подкопая высверкивает. Всю ночь под землей проползал.

Шел Сенька Подколокольным переулком, на небо смотрел, какое оно чистое да радостное, с белыми кружавчиками. Чем на облачка пялиться, лучше б по сторонам глядел, дурень.

Налетел на какого-то человека — твердого, прямо налитого всего. Ушибся об него, а человек и не шелохнулся.

Мама родная — китаец!

От всяких разных событий Сенька про него и думать позабыл, а он, двужильный, всю ночь на улице проторчал. И это за семьдесят копеек! А кабы бусам этим паршивым цена в трешник была, наверно, вовсе бы удавился.

Улыбнулся косоглазый:

— Добурое утро, Сенька-кун.

И лапу короткопалую тянет — за ворот ухватить.
Хрена!

Скорик ему прутом железным, который из подземелья, по руке хрясь!

Жалко отдернул, идол вертлявый.

Охо-хо, снова-здорово, давно наперегонялки не бежали. Развернулся Сенька и припустил вдоль по переулку.

Только на сей раз утек недалеко. Когда пробежал мимо нарядного господина с тросточкой (и как только такой франт забрел на Хитровку), зацепился карманом за набалдашник. Чудно, что у гуляльщика тросточка из руки не выдернулась, как следовало бы, а наоборот, Сенька к месту прирос.

Франт слегка тросточку на себя потянул, а вместе с нею и Сеньку. Человек был солидный, в черной шелковой шляпе трубой, с крахмальными воротничками. И рожа гладкая, собой красивая, только немолодой уже, с седыми висками.

— Отцепляйте меня скорей, дяденька! — заорал Сенька, потому китаец уже совсем близко был.

Не бежал, неспешно подходил.

Вдруг красивый господин усмехнулся, усишками черными шелохнул и говорит, немножко заикаясь:

— К-конечно, Семен Скориков, я вас пушу, но не раньше, чем вы вернете мне нефритовые четки.

Сенька на него вылупился. Имя-фамилию знает?

— А? — сказал. — Чего? Какие-такие четки?

— Те самые, что вы стянули у моего камердинера Масы т-тому восемь дней. Вы шустрый юноша. Отняли у нас немало времени, заставили за собой побегать.

Только тут Скорик его признал: тот самый барин, которого он в Ащеуловом переулке со спины видал, входящим в подъезд. И виски седые, и заикается.

— Не обессудьте, — говорил дальше заика, беря Сеньку двумя цепкими пальцами за рукав. — Но Маса устал за вами г-гоняться, ему ведь не шестнадцать лет. Придется принять меру предосторожности, временно заковать вас в железа. Позвольте ваш п-прутик.

Франт отобрал у Сеньки железку, вцепился в ее концы, наморщил гладкий лоб и вдруг как закрутит прут у Скорика на запястьях! Легко так, словно проволоку какую.

Вот это силища! Скорик так поразился, что даже кричать не стал — чего, мол, сироту обижаете.

А силач поднял точеные брови — вроде бы сам своей мощи удивился — и говорит:

— Интересно. Позвольте п-полюбопытствовать, откуда у вас эта штуковина?

Сенька ответил, как положено:

— Откуда-откуда, дала одна паскуда, велела сказать, что ей на вас ...

Руки были, будто в кандалах, нипочем из железной петли не вытянуть, сколько ни елозь.

— Что ж, вы правы, — мирно согласился усатый. — Мой вопрос нескромен. Вы вправе на него не отвечать. Так где мои четки?

Тут и китаец подошел. Сенька зажмурился — сейчас будет бить, как Михейку с пацанами.

И само вырвалось:

— У Ташки! Подарил ей!

— Кто это — Таська? — спросил китаеза, которого франт назвал Масой.

— Маруха моя.

Красивый господин вздохнул:

— Я понимаю, неприятно и неприлично забирать назад у д-дамы подарок, но поймите и вы меня, Семен Скориков. Эти четки у меня лет пятнадцать. Знаете ли, привыкаешь к вещам. К тому же с ними связано некое особенное в-воспоминание. Пойдемте к мадемуазель Ташке.

За «мамзель» Сенька обиделся. Почем он знает, что его маруха — мамзелька? То есть, Ташка, конечно, мамзелька и есть, но ведь ничего такого про нее сказано не было. Может, она порядочная. Хотел Скорик заступиться за Ташкину честь, сказать оскорбителю грубость, но посмотрел в его спокойные голубые глаза повнимательней и грубить не стал.

— Ладно, — пробурчал, — пошли.

Двинули назад по Подколокольному.

Желтомордый Маса держал прут, которым Сеньку повязали, за один конец, а второй мучитель шел сам по себе, постукивал по булыге тросточкой.

Стыдно было Скорику, что его, будто собачонку, на поводке ведут. Увидит кто из пацанов — срамота. Поэтому старался идти поближе к китайцу, вроде как дружба у них или, может, общее дело. Тот понял Сенькино страдание: снял свой пиджачок, накинул сверху на стянутые руки. Тоже ведь человек, понятие имеет, хоть и нерусская душа.

Возле главного входа в Ероху, на углу, толпился народ. В самых дверях торчала фуражка с бляхой. Городовой! Стоял важный, строгий, никого внутрь не пускал. Сенька-то сразу понял, что за оказия — не иначе порезанных Синюхиных нашли, а в толпе говорили разное.

Один, по виду тряпичник, что ветошь по помойкам собирают, громко объяснял:

— Энто теперь вышло такое от начальства указание. Ероху закрыть и инфекцией опрыскать, потому как от ней на всю Москву бациллы.

— Чего от ней? — испугалась баба с перебитым носом.

— Бациллы. Ну, там мыша или крыса, если по-простому. А от них проистекает холера, потому что некоторые, кто в Ерохе проживает, этих бацилл с голодухи жрут, а после их с крысиного мяса пучит. Ну, начальство и прознало.

— Что вы врете, уважаемый, только людей смущаете, — укорил тряпичника испитой человек в драном сюртучишке, не иначе из каляк, как покойник Синюхин. — Убийство там случилось. Ждут пристава со следователем.

— Ага, стали бы из-за такой малости огород городить, — не поверил тряпичник. — В «Каторге» вон нынче двоих порезали, и ничего.

Каляка голос понизил:

— Мне сосед рассказывал, там ужас что такое. Будто бы порезали детей малых, видимо-невидимо.

Вокруг заохали, закрестились, а барин, чьи бусы, навострил уши и остановился.

— Убили д-детей? — спросил он.

Каляка повернулся, увидел важного человека, картуз сдернул.

— Так точно-с. Сам я не лицезрел, но Иван Серафимыч из Ветошного подвала слышал, как городской, что в участок побегал, на ходу приговаривал: «Детей не пожалели, ироды». И еще про выколотые глаза что-то. Сосед мой — честнейший человек, врать не станет. Раньше в акцизе служил, жертва судьбы, как и я. Вынуждены прозябать в сих ужаснейших местах по причине...

— Выколотые глаза? — перебил Сенькин поимщик и сунул каляке монетку. — Вот, держите. Ну-ка, Маса, заглянем, п-посмотрим, что там стряслось.

И пошел прямо к двери ночлежки. Китаец потянул Скорика следом. Вот уж куда Сеньке ни за какие ковриги идти не хотелось, так это в Ветошный подвал.

— Да чего там смотреть? — заныл Сенька, упираясь. — Мало ли чего набрешут.

Но барин уже к городовому подошел, кивнул ему — тот и не подумал такого представительного господина останавливать, только под козырек взял.

Спустившись по ступенькам вниз, в подвал, франт задумчиво пробормотал:

— Ветошный подвал? Это, кажется, налево и потом направо.

Знал откуда-то, вот чудеса Господни. И по темным коридорам шел быстро, уверенно. Очень Сенька на это удивился. Сам-то он сзади волочился и всё канючил:

— Дядя китаец, давай тут его подождем, а? Ну дядя китаец, а?

Тот остановился, повернулся, легонько щелкнул Скорика по лбу.

— Я не китаец, я японец. Понял?

И дальше за собой потащил.

Надо же! Вроде китаец ли, японец — один хрен рожа косягазая, а тоже вот различают между собой, обижаются.

— Дяденька японец, — поправился Сенька. — Устал я что-то, нет больше моей мочи.

И хотел на пол сесть, вроде как в изнеможение впал, но Маса этот кулаком погрозил, убедительно, и Сенька умолк, смирился с судьбой.

У входа в Синюхинскую квартиру стоял сам Будочник: прямой, высокий, как Иван Великий, руки сзади сцеплены. И лампа на полу горела, керосиновая.

— Будников? — удивился барин. — Вы всё на Хитровке? Надо же!

А Будочник еще больше поразился. Уставился на франта, глазами замигал.

— Эраст Петрович, — говорит. — Ваше высокородие! — И руки по швам вытянул. — А сказывали, вы сменили расейское местопроживание на заграничное?

— Сменил, сменил. Но наведываюсь иногда в родной город, п-приватным образом. Вы как тут, Будников, пошаливаете, как прежде, или остепенились? Ох, не добрался я до вас, не успел.

Будочник улыбнулся, но не широко, а чуть-чуть, деликатно.

— Годы у меня не те, чтоб шалить. О старости подумать пора. И о душе.

Вот те на! Господин-то этот, оказывается, не просто так — сам Будочник перед ним навьютяжку. Никогда Сенька не видывал, чтобы Иван Федотыч перед кем-нибудь этак тянулся, хоть бы даже перед самим приставом.

Покосился Будочник на Сеньку, косматые брови сдвинул.

— А этот что? — спрашивает. — Или напакостил вам чем? Только скажите — я его в труху разотру.

Тот, который Эраст Петрович, сказал:

— Ничего, мы уже решили наш к-конфликт. Правда, Сеня? — Скорик закивал, но интересный барин смотрел не на него, а на дверь. — Что тут у вас случилось?

— Так что уголовно-криминальное зверство, каких даже на Хитровке не видывали, — мрачно доложил Будочник. — Каляку одного со всем семейством вырезали, да еще изуверским манером. А вам, Эраст Петрович, лучше бы уходить отседова. Про вас еще вон когда велено было: кто из полициантов увидит, сразу по начальству доносить. Неровен час пристав с господином следовательно застанут... Уж пора им прибыть.

Ишь ты, соображал Сенька, а человек-то этот, похоже из деловых, да не обыкновенный, а какой-то разосо-

бенный, против которого московские — сляки драные. Ну, попутал лукавый у этакого фартового принца-генерала памятную вещь утырить! Вот оно, сиротское счастье.

А Будочник еще сказал:

— Приставом у нас теперича Иннокентий Романыч Солнцев, которого вы под суд хотели. Очень на обиду памятен.

Если он мог самого пристава под суд упечь, то, выходит, не фартовый? Сенька вовсе запутался.

Эраст Петрович предупреждения нисколько не напугался.

— Ничего, Будников. Бог не выдаст, свинья не съест. Да мы быстренько, одним г-глазком.

Будочник не стал больше перечить, посторонился:

— Если свистну — выходите скорей, не подводите.

Хотел Сенька снаружи остаться, но чертов японец Маса не позволил, хоть бы даже под Будочниковым при-
смотром.

Сказал:

— Отень сюстрый. И бегаесь быстро.

Как внутрь вошли, Сенька на покойников смотреть не захотел (будет, налюбовался уже), стал глядеть на потолок.

В комнате теперь светлее было, чем раньше — на столе лампа горела, тоже керосиновая, как в коридоре.

Эраст Петрович ходил по комнате, нагибался, чем-то позвякивал. Кажется, и мертвяков ворочал, за рожи за-
чем-то трогал, но Скорик нарочно отворачивался, что-
бы этого непотребства не наблюдать.

И японец тоже рыскал чего-то, сам по себе. Сеньку за собой таскал. Тоже и над трупаками нагибался, бормотал по-своему.

Минут пять это длилось.

От запаха убины Сеньку малость мутило. И еще на-
возом тоже несло — должно, из располосованных брюх.

— Что думаешь? — спросил Эраст Петрович своего японца.

Тот ответил непонятно, не по-нашему.

— Ты полагаешь, маниак? — Барин-фартовый раз-
думчиво потер подбородок. — Основания?

Тут японец снова по-русски заговорил:

— Убийство дза дзеньги искрютяетца. Эта семья быра софусем нисяя. Это радз. Сумаседсяя дзестокость — дазе маренкького марьсика не подзярер. Это два. Есё градза. Вы сами говорири, господзин, сьто придзнак маниакарного убийства — ритуар. Затем градза выкарывачь? Ясно — сумаседсий ритуар. Это три. Маниак убир, тотьно. Как тогда Дзекоратор.

Скорик не знал, кто такие Маниак и Дзекоратор (по фамилии судить — жиды или немцы), да и вообще мало что понял, однако видно было, что японец своей речью шибко горд.

Только барина, похоже, не убедил.

Тот присел на корточки возле кровати, где лежал Синюхин, стал шарить у покойника в карманах. А еще приличный господин! Хотя кто его знает, кто он на самом деле. Сенька стал на иконку смотреть, что в углу висела. Подумал: видел ведь Спаситель, как Очко каляку уродовал, и не спас, не заступился. А потом вспомнил, как валет в иконы ножиком швырялся, тож прямо в глаза, и вздохнул: хорошо еще, святому образу не выколол. У, нелюдь.

— Это что у нас? — раздался голос Эраста Петровича.

Не утерпел Сенька, высунулся из-за Масиногo плеча.

На ладони у барина лежала чешуйка, точь-в-точь такая же, как у Сеньки в кармане.

— Кто знает, что это такое? — обернулся Эраст Петрович. — Маса? Или, может, вы, Скориков?

Маса покачал головой. Сенька пожал плечами, да еще глаза нарочно выпучил: отродясь не видывал этакой диковины. Даже еще вслух сказал:

— Почем мне знать?

Барин на него посмотрел.

— Ну-ну, — говорит. — Это копейка семнадцатого столетия, отежанена при царе Алексее. Откуда она взялась у нищего, спившегося каляки?

Услышав про копейку, Скорик приуныл. Ничего себе «большущее сокровище»! Пригоршня копеек, и те царя Гороха.

Дверь из коридора приотворилась. Просунулся Будочник:

— Ваше высокородие, идут!

Эраст Петрович положил чешуйку на кровать, чтоб было видно.

— Всѣ-всѣ, уходим.

— Вон туда ступайте, чтоб с приставом не сойтись, — показал Будочник. — К Татарскому кабаку попадете.

Барин подождал, пока Маса и Сенька выйдут. Не сказать, чтобы очень уж торопился от пристава бежать. Хотя чего тут бегать: как донесутся шаги — в темноту отойти, и нет тебя.

— Не думаю, что маниак, — сказал Эраст Петрович своему слуге. — Я бы не стал исключать корысть как мотив п-преступления. Вот скажи, как по-твоему, глаза у жертв выколоты при жизни или после смерти?

Маса подумал, губами почмокал.

— У дзенсины и дзетотек посмертно, у мусины есѣ при дзизни.

— И я пришел к тому же в-выводу.

Сенька вздрогнул: откуда знают, что Синюхин поначалу еще живой был? Колдуны они, что ли?

Эраст Петрович повернулся к Будочнику:

— Скажите, Будников, были ли на Хитровке похожие преступления, чтобы жертвам выкалывали глаза?

— Были, в самом недавнем времени. Одного купчика, что на Хитровку сдуру после темна забрел, порешили. Ограбили, башку проломили, портмоне с золотыми часами взяли. Глаза зачем-то повырезали, крокодилы. А еще раньше, тому с две недели, господина репортера из газеты «Голос» умертвили. Хотел про трущобы в газету прописать. Он денег-часов с собой не брал — опытный человек и на Хитровке не впервой. Но кольцо у него было золотое, с бриллиантом, с пальца не сымалось. Пришли репортера, бестии мокрушные. Кольцо прямо с мясом срезали и глаза тоже выкололи. Вот какая публика.

— Видишь, Маса, — поднял палец красивый господин. — А ты говоришь, деньги исключаются. Это не маниак, это очень предусмотрительный преступник. Вид-

но, слышал б-басню о том, что у покойника на сетчатке запечатлевается последнее, что человек видел перед смертью. Вот и осторожничает: всем своим жертвам, вплоть до детей, вырезает глаза.

Японец зашипел и заклекотал что-то по-своему — должно быть, заругался на душегуба. А Сенька подумал: больно много о себе воображаете, ваше высокородие или кто вы там. Не угадали, нет в Очке никакой осторожности, одна только бешеность от марафета.

— Картинка на глазу? — ахнул Будочник. — Чего только не удумают, аспиды уголовные.

— Басня — это неправда, да? — спросил Маса. — *Татозбанаси?*

Эраст Петрович подтвердил:

— Разумеется, чушь. Была такая гипотеза, но не нашла подтверждения. Тут еще вот что интересно...

— Идут! — перебил, наклонив голову, Будочник. — Слыхали? Сидоренко, что у входа стоит, гаркнул «Здравия желаю, вашскобродь!» — это я велел ему глотку не жалеть. Через минуту, много две, здесь будут. Шли бы вы от греха. Далось вам, Эраст Петрович, это убийство. Или расследовать будете?

— Нет, не могу. — Барин развел руками. — Я в Москве совсем по другому делу. Передайте, что я говорил, Солнцеву и следователю. Скажите, своим умом дошли.

— Вот еще, — презрительно скривил рот Будочник. — Пускай Иннокентий Романыч сами мозгой шевелят. И так всё нороят на чужом горбе в рай прокатиться. Ништо, ваше высокородие, я дознаюсь, кто это на Хитровке озорует, найду и своей рукой жизни лишу, как Бог свят.

Эраст Петрович только головой покачал:

— Ох, Будников, Будников. Вы, я смотрю, всё такой же.

Слава Богу, ушли наконец из проклятого подвала. Вылезли на Божий свет у Татарского кабака, пошли к Ташке.

Она с мамкой в Хохловском переулке квартировала: комната в одно окошко со своим ходом — для мамзельного ремесла. Так многие лахудры проживали, но толь-

ко у Ташки на подоконнике что ни день новые цветы, под стать хозяйкиному расположению. Скорик уже знал: если слева лютики выставлены, а справа незабудки — значит, всё у Ташки хорошо, песни поет и букеты раскладывает. А если, скажем, левкой и иван-чай, тогда с мамкой пособачилась или клиент сильно противный попался, и Ташке оттого грустно.

Сегодня как раз такой день был, да еще с занавески можжевельная ветка свисала, на языке цветов значит «не рада гостям».

Рада, не рада, а куда денешься, если насильно привели. Постучали, вошли.

Ташка на кровати сидела, мрачнее тучи. Семечки грызла, шелуху в ладошку плевала. Ни «здрасьте» тебе, ни «как поживаешь».

— Чего надо? — говорит. — Что за бакланов привел? Зачем? Мало мне тут этой лахудры.

И в угол кивнула, где мамка валялась. Опять, поди, нажралась где-то пьянее грязи и после кровью харкала, вот Ташка и бесится.

Скорик хотел объяснить, но тут у него с рук японский пиджак соскользнул, на пол упал. Ташка увидала Сенькины скованные руки, как с кровати спрыгнет — и на Масу. Ногтями ему в толстые щеки вкогтилась и давай орать:

— Отпусти его, гад мордатый! Щелки повыщарапаю!

И еще всякими разными словами, на которые Ташка была знатная мастерица. Сенька и то заморщился, а чистый господин так даже глазами захлопал.

Пока японец одной рукой от мамзельки свою желтую красу оборонял, Эраст Петрович в сторонку отошел. На Ташкину ругань сказал уважительно:

— М-да, вдали от родины отвыкаешь от силы русской речи.

Пришлось за японца заступаться.

— Ладно тебе, Ташка. Угомонись. Чего к человеку пристала? Помнишь, я тебе бусы дарил, зеленые. Целы? Отдай им, ихние это. Не то худо мне будет. — И вдруг испугался. — Или продала?

— Что я, лярва замоскворецкая, дареное продавать? — оскорбилась Сенькина подрунька. — Мне, может, никто больше и не дарил ничего. Клиенты, те не в счет. Бусы твои у меня в хорошем месте прибраны.

Скорик знал это ее «хорошее место» — в подкроватном шкапчике, где Ташка свои сокровища хранила: книжку про цветы, хрустальный пузырь из-под духов, гребенку из черепахи.

Попросил ее:

— Отдай, а? Я тебе другое что подарю, чего хошь.

Ташка японца отпустила, просветлела вся.

— Правда? Я, Сень, собачку хочу, пуделя белого. На рынке видала. Пуделя, они знаешь какие? Они, Сень, на задних лапах вальс пляшут, через веревочку прыгают и лапу подают.

— Да подарю, ей-богу подарю. Только бусы отдай!

— Ладно, не надо, не дари, — разрешила Ташка. — Это я так. Пудель такой тридцать целковых стоит, даже если щенок. Я приценивалась.

Вздыхнула, но без особой печали.

Полезла под кровать, зад тощий задрала, а рубашонка короткая, Скорик у людей стыдно стало. Вот какая девка бесшабашная. Подошел, одернул.

Ташка там, под кроватью, погремела немножко (видно, не хотела при чужих все свои богатства доставать), потом вылезла обратно, кинула Маше бусы:

— На, удавись, жадюга.

Японец поймал низку, с поклоном передал господнну. Тот перебрал камешки, зачем-то погладил один из них, бережно спрятал бусы в карман.

— Что ж, все хорошо, что хорошо к-кончается. Уж вы-то, мадемуазель, передо мной ни в чем не виноваты. — Полез в карман, достал лопатник, из лопатника три кредитки. — Вот вам тридцать рублей, купите себе пуделя.

Ташка деловито спросила:

— Это каким же манером ты меня кобелить собрался, за три-то краснухи?

Если, говорит, так-то и так-то, то я согласная, а если так или вот этак, то я девушка честная и гадостей этих творить над собой не позволяю.

Гладкий барин аж шарахнулся, руками заплескал:

— Что вы, — говорит. — Ничего такого от вас мне не нужно. Это п-подарок.

Не знал он Ташку! Она подбоченилась:

— Ну и вали тогда со своими бумажками. Я подарки либо от клиента беру, либо от товарища. Раз кобелиться не желаешь, значит, ты мне не клиент, а товарищ у меня уже есть — Скорик.

— Что ж, мадемуазель, — поклонился ей Эраст Петрович. — Такого товарища, как вы, лестно иметь всякому.

Здесь Ташка вдруг крикнула:

— Тикай, Скорик!

Кинулась на Масу и зубами его за левую руку, в которой конец прута!

Японец от неожиданности пальцы разжал, ну Сенька к двери и рванул.

Барин ему вслед:

— Стойте! Я освобожу вам руку!

Ага, нашел дурака. Как-нибудь сами освободимся, без вашей помощи. За покражу-то от вас расчета еще не было. Станете мордовать, нет ли, про то нам неизвестно, а все ж от непонятного человека, которого сам Будочник опасается, чем далее, тем целее — так Сенька рассудил.

Но Ташка-то, Ташка! Не девка — золото.

КАК СЕНЬКА СТАЛ БОГАТЫЙ

Сбежать-то Скорик сбежал, но теперь надо было и в самом деле как-то от железяки избавляться. Шел, руки к груди прижимал, прут концами вверх-вниз повернул, чтоб меньше в глаза бросался.

С Хитровки нужно было уносить ноги — даже не из-за опасного Эраста Петровича, а чтоб знакомых в дурачком виде не встретить. Засмеют.

Зайти в кузню, где подковы куют, наврать чего-нибудь — вроде как кто из озорства или на спор железяку прикрутил. В кузнях лбы здоровые. Может, и не такие уцепистые, как красивый барин, но уж как-нибудь растянут, на то у них свой струмент имеется. Само собой не за спасибо — копеек двадцать дать придется.

Тут-то и сообразил: а где их взять, двадцать копеек? Последний пятиалтынный вчера «кроту» отдал. Или надуть кузнеца? Посулить деньгу, а после дать деру? Снова бегать, вздохнул Сенька. Кузнецы, если догонят, так отметелят своими кулачищами — хуже любого японца.

В общем, шел, думал.

Поднявшись на Маросейку, увидел вывеску «САМШИТОВЪ. Ювелирные и златокузнечныя работы». Вот оно, что нужно-то! Может, даст ювелир сколько-нисколько за серебряную монету из суммы, опять же копейки эти старинные. Не даст — часы Килькины заложить можно.

Потянул стеклянную дверь, вошел.

За прилавком никого не было, но красивая птица попугай, что сидела в клетке на жердочке, проорала противным голосом:

— Добрррро пожаловать!

На всякий случай Сенька снял картуз и тоже сказал:

— Доброго здоровьичка.

Хоть он был и птица, но, видно, с понятием.

— Ашотик-джан, опять дверь не заперта! — донесся из глубины лавки бабский голос — чудной, с переливами. — Заходи, кто хочет!

Зашуршали шаги, из-за шторы выглянул человек небольшого росточка, лицом смуглявый, с кривым носом, на лбу вздет стеклянный кружок в медной оправе. Пугливо спросил:

— Вы один?

Увидал, что один. Тогда побежал, зачем-то дверь на засов запер и только после повернулся к Скорик:

— Чем могу?

Да, такой огрызок железного прута не растянет, разстроился Сенька. А еще про кузнечные работы написал. Может, у него подмастерье имеется?

— Желаю кой-чего продать, — сказал Сенька и полез в карман.

Ох, непросто это было, со стянутыми-то руками.

Попугай как заладит дразниться:

— Прродать! Прродать! Прродать!

Носатый ему:

— Помолчи, помолчи, Левончик. — А Сеньке, оглядев с ног до головы, сказал. — Извините, молодой человек, но я краденого не покупаю. На то есть свои специалисты.

— Без тебя знаю. Вот, чего дашь?

И монету на прилавок шлеп.

Ювелир на Сенькины запястья покосился, однако ничего не сказал. А на серебряный кругляш глянул без большого интереса.

— Хм, ефимок.

— Кто-кто? — не понял Скорик.

— Ефимок, иоакимстальер. Монета нередкая. Они идут по два веса. То есть по весу серебра, помноженному вдвое. Ваш ефимок в хорошей сохранности. — Взял денежку, положил на весы. — Можно сказать, даже в идеальной. Полноценный талер, шести с половиной золотников весу. Золотник серебра нынче — 24 копейки. Это получается... м-м... три двенадцать. Минус моя комиссия, двадцать процентов. Итого — два рубля пятьдесят копеек. Больше вряд ли кто-нибудь даст.

Два с полтиной — это уже было дело. Сенька снова завернулся весь, полез в карман за чешуйками, высыпал на стойку.

— А эти чего?

Лепестков этих было у него ровно двадцать, еще ночью пересчитал. Плохонькие, конечно, копеечки, но если к двум с полтиной прибавить, это уж два семьдесят выходило.

Чешуйкам ювелир больше уважения оказал, чем ефимку. Спустил со лба на глаз стеклышко, стал разглядывать одну за одной.

— Серебряные копейки? Ого, «ЯД». И сохранность завидная. Ну, эти могу взять по три рубля штучка.

— По сколько, по сколько? — ахнул Сенька.

— Поймите, молодой человек, — сказал ювелир, взглянув на Скорика через стекляшку страшным черным глазом. — Предбунташные копейки, конечно, не талеры и идут по другому курсу, но как раз недавно в Замоскворечье вырыли очередной клад того времени, в три тысячи серебряных копеек, в том числе две сотни яузских, так что цена на них сильно упала. Ну хотите, по три пятьдесят? Больше не могу.

— Это сколько же всего будет? — спросил Скорик, все еще не веря своей удаче.

— Всего? — Самшитов пощелкал счетами, показал. — Вот: вместе с ефимком семьдесят два рубля пятьдесят копеек.

Сенька аж охрип:

— Ладно, давай.

Попугай встрепенулся:

— Давай! Давай! Давай!

Хозяин монетки сгреб куда-то под прилавок, звякнул замком кассы. Зашуршали кредитки — заслушаешься. Это ж надо, какие деньжищи!

Из глубины лавки снова пропел бабский голос:

— Ашотик-джан, чай кушать будешь?

— Сейчас, душенька, — обернулся ювелир. — Только клиента отпущу.

Из-за занавески вышла хозяйка, с подносом. На подносе чай в серебряном подстаканнике, блюдечко со сла-

стями — важно. Тетка была видная, толстая, много больше своего мухортика, с усами под носом, а ручки с сахарную голову.

Вот она, загадка, и разъяснилась. С такой бабой никакого подмастерья не нужно.

— Тут еще вот чего... — покашлял Скорик и руки с прутком показал. — Мне бы того, распутаться... Пацаны пошутили...

Баба посмотрела на скованные руки — слова не сказала, пошла себе обратно за занавеску.

Ювелир же взялся за прут своими сухими лапками и вдруг — Сенька обомлел — растянул железное кольцо. Не до конца, но все же запястья вытащить хватило. Ай да Ашотик!

Пока Скорик вольными руками рассовывал по карманам бумажки с гривенниками, Самшитов всё на прут глядел. Покапал на него из какого-то пузырька, поскреб. Повернул концом, стекляшку наставил — и ну давай лысину платочком тереть.

— Откуда это у вас? — спрашивает, и голос дрожит.

Так тебе и Расскажи. Сенька «откуда-откуда, дала одна паскуда» не стал ему говорить, потому что хороший человек и выручил.

Сказал вежливо:

— Откуда надо.

И хотел уж идти. Нужно было подумать, что с неожиданным богатством делать.

Но тут хозяин возьми и брякни:

— Сколько вы за это хотите?

Шутник! За железный мусор?

Однако голос у Самшитова дрожал нешутейно.

— Невероятно! — забормотал он, надраивая прут мокрой тряпочкой. — Я, конечно, читал про талерный прут, но не думал, что сохранился второй такой... И клеймо Яузского двора!

Сенька глядел, как черный прут из-под тряпочки выходит белым, блестящим.

— Чего? — спросил.

Ювелир смотрел на него, будто что-то прикидывал.

— Хотите... два веса? Как за талер, а?

— Чего?

— Даже три, — быстро поправился Самшитов. Положил прут на весы. — Здесь без малого пять фунтов серебра. Пускай будет ровно пять. — Защелкал костяшками на счетах. — Это сто пятнадцать рублей двадцать копеек. А я вам дам втрое, триста сорок шесть рублей. Даже триста пятьдесят. Нет, даже четыреста! Целых четыреста рублей, а? Что скажете?

Сенька сказал:

— Чего?

— В лавке я столько денег не держу, нужно в банк сходить. — Выбежал из-за прилавка, стал в глаза заглядывать. — Вы должны меня понять, с таким товаром много работы. Пока найдешь правильного покупателя. Нумизматы — публика особенная.

— Чего?

— Нумизматы — это коллекционеры, которые собирают денежные знаки, — объяснил хозяин, но сильно понятней от этого не стало.

Сенька этих самых коллекционеров, что обожают деньги собирать, на своем веку много видал — того же дядьку Зот Ларионыча, к примеру.

— А сколько их, которым эти пруты нужны? — спросил Скорик, всё еще подозревая подвох.

— В Москве, пожалуй, человек двадцать. В Питере вдвое. Если за границу отправить — там тоже многие купить захотят. — Тут носатый вдруг дернулся. — Вы сказали «пруды»? У вас что, еще такие есть? И вы готовы продать?

— По четыре сотни? — спросил Сенька, сглотнув. Вспомнил, сколько там, в подземелье, этого хвороста навалено.

— Да-да. Сколько их у вас?

Скорик осторожно сказал:

— Штучек пять добыть можно бы.

— Пять талерных протов?! Когда вы можете мне их принести?

Здесь нужно было солидность показать, не мельтешить. Трудное, мол, дело. Не всякий справится.

Помолчал и важно так:

— Часа через два, никак не ранее.

— Ниночка! — заорал ювелир жене. — Закрывай магазин! Я в банк!

Заморская птица крику обрадовалась, давай тоже базарить:

— Я в банк! Я в банк! Я в банк!

Под эти вопли Сенька и вышел.

Рукой об стенку оперся — так шатало.

Ничего себе прутики, по четыреста рублей штука! Прямо сон какой-то.

Перед тем как под землю лезть, в Хохловский заглянул. Посмотреть, не забили ли Ташку те двое, ну и вообще — спасибо сказать.

Слава Богу, не тронули.

Ташка сидела там же, на кровати, волосы расчесывала — ей скоро было на работу. Рожу уже размалевала: брови с ресницами черные, щеки красные, в ушах стеклянные сережки.

— Этот, косоглазый, велел тебе кланяться, — рассказала Ташка, накручивая виски на палочку, чтоб кучерявились. — А красавчик сказал, что будет за тобой приглядывать.

Очень это Сеньке не понравилось. Как так «приглядывать»? Грозится, что ли? Ничего, теперь Скорика хрен достанешь, хрен найдешь. Другая теперь у него жизнь пойдет.

— Ты вот чего, — сказал он Ташке. — Ты брось это. Нечего тебе больше улицу утюжить. Заберу я тебя с Хитровки, вместе будем жить. У меня теперь денег знаешь сколько.

Ташка сначала обрадовалась, даже по комнате закружилась. Потом остановилась.

— А мамку?

— Ладно, — вздохнул Скорик, поглядев на пьяную бабу — поныне не проспалась. — Возьму и мамку.

Ташка еще немножко потанцевала и говорит:

— Нет, нельзя ее отсюда. Пускай помрет спокойно. Ей уж недолго осталось. Вот помрет, тогда заберешь меня.

И ни в какую. Сенька ей все хрусты, что от ювелира получил, отдал. Чего жадничать? Скоро у него денег сколько хочешь будет.

Теперь нужно было в Ероху попасть, откуда к сокровищу лаз.

Из дверей ночлежки как раз убитых выносили. Бросили на телегу два рогожных куля побольше, один поменьше и еще один совсем маленький.

Народ стоял, глазел. Некоторые крестились.

Вышли трое: чиновник в очках, пристав Солнцев и еще бородатый дядька с фотографическим ящиком на треноге.

Пристав с чиновником поручкался, фотографу просто кивнул.

— Иннокентий Романович, оперативную информацию прошу сообщать мне незамедлительно, — наказал очкастый, усаживаясь в пролетку. — Без вашей хитровской агентуры не сдвинемся.

— Всенепременно, — кивнул пристав, тронув подкрученный ушико.

Пробор у него сиял — ослепнуть можно. Видный был мужчина, ничего не скажешь, хоть и гад смердячий — про то вся Хитровка знала.

— И постарайтесь как-нибудь репортеров того... поменьше распалать. Без живописных подробностей. И так звону будет... — Чиновник безнадежно махнул рукой.

— Само собой. Не беспокойтесь, Христиан Карлович, — Солнцев вытер лоб белейшим платочком, снова надел фуражку.

Пролетка укатила.

— Будников! — позвал пристав. — Ерошенко! Где вы там?

Из темной ямы поднялись еще двое: Будочник и хозяин ночлежки, знаменитый Афанасий Лукич Ерошенко. Большой человек, золотая голова. Сам из хитрованцев, начинал половым в трактире, после возрос до кабатчика, само собой и сламом приторговывал, а ныне почетный гражданин, кресты у него, медали, к губернатору-генералу христосоваться ездит. Ночлежек этих у него три, еще винная торговля, лабазы. Одно слово — миллионщик.

— Скоро газетчики прирысят, — сказал им полковник, усмехаясь. — Всё рассказать, всюду пускать, место преступления показать. Да не вздумайте кровь замывать. А на вопросы про ход следствия не отвечать, ко мне отправляйте.

Скорик смотрел на пристава, диву давался. Вот ведь бесстыжий, гнида. Сам очкастому этому вон чего обещал, а сам вон что. И людей, что рядом стоят, ему не совестно. Хотя они для него, надо думать, и не люди совсем.

Пристава на Хитровке не уважали. Слова не держит, беспардонничает, жаден без меры. Прежние тоже были нумизматы, но Иннокентий Романыч всех переплюнул. Берешь с притонов, где мамзельки, навар — бери, святое дело, но еще не бывало такого, чтоб пристав сам лахудр пользовал, не брезговал. Выбирал, конечное дело, какие подороже, десятирублевых, и чтоб девушке за труды заплатить или там подарок сделать — никогда. Еще и псов своих легавых угощал. Хуже не было для лахудры, чтоб в Третий Мясницкий на «разговение» попасть. Возьмут ни за что, посадят в «курятник» и кобелят все кому не лень. Ходили «деды» к Будочнику, просили, не дозволит ли господина полковника порезать или каменюку на него обронить, не до смерти, конечно, а чтоб в разум вошел. Будочник не дал. Потерпите, сказал. Их высокоблагородие недавно появился и недолго у нас продержится. Высоко метит, карьеру делает.

Делать нечего — терпели.

Солнцев сказал Ерошенке:

— С вас, Афанасий Лукич, штраф. Извольте мне тысячку представить за непорядок в заведении. У нас с вами уговор.

Ерошенко ничего — степенно поклонился.

— И с тебя штраф, Будников. Я в твои дела не лезу, но за Хитровку ты передо мной в ответе. В три дня мне убийцу не найдешь — двести рублей заплатишь.

Будочник тоже ни слова не ответил, только седым усом повел.

Подкатила полковничья коляска. Сел его высокоблагородие, пальцем всем погрозил: «У, рвань!» — и поехал себе. Это он для важности, мог бы и пешком пройтись, ходу до участка всего ничего.

— Не сомневайтесь, Иван Федотыч, — сказал Ерошенко. — Ваш штраф на мне, покрою-с.

— Я те дам, «покрою-с», — рыкнул на него Будочник. — Ты от меня, Афонька, двумя катками не отделаешься. Мало я тебе, вору, спускал!

Вот он какой, Будочник. Ерошенко хоть весь крестами увешайся, хоть до смерти князя-губернатора зацелуй, а всё одно для Будочника воров Афонькой останется.

Слазил в подземелье куда ловчей, чем в первый раз. Одолжил в «Каторге» под залог картуза масляную лампу — дорогу светить — и до каморы быстро дошел. По часам мене десяти минут.

Первым делом принялся серебряные прутья считать. Их тут было таскать не перетаскать. Насчитал у одной стены сто, а даже до половины не дошел. Употел весь.

Еще нашел подошву от сапога, ветхую, кожаную, крысами обгрызанную. Покидал камни и кирпич из обвалившейся двери, хотел посмотреть, что за нею. Бросил — надоело.

Так умаялся, что взял не пять прутьев — четыре. Хватит с Самшитова, да и тащить тяжело, в каждом фунтов по пять весу.

На обратном пути, у самой ювелирной лавки, когда Сенька уже протянул руку к двери, сзади свистнули — по-особенному, по-хитровски, и еще филин заухал: уху-уху!

Повернулся — на углу Петровериги пацаны трутся: Проха, Михейка Филин и Данька Косой. Вот незадача.

Делать нечего, подошел.

Проха говорит:

— А сказывали, замели тебя.

Косой спросил:

— Ты чё это железяки таскаешь?

Михейка же, виновато помигав, попросил:

— Не серчай, что я тебя китайцу этому выдал. Очень уж напужался, как он всех молотить стал. Китайцы — они знаешь какие.

— Баба себя напужала, когда ежа рожала, — проворчал Сенька, но без большой злости. — Навешать бы тебе за паскудство по харе, да некогда, дела.

Проха ему ехидно так:

— Какие у ты, Скорик, дела? Был ты деловой, да весь вышел.

Знают уже, что от Князя сбежал, понял Сенька.

— Да вот, нанялся армяшке решетку на окна ставить. Видали, пруты железные?

— В ювелирной лавке? — протянул Проха и прищурился. — Так-так. Да ты еще хитрей, чем я думал. Ты с кем теперь, а? С китайцем этим? Решили армяшку подломить? Ловко!

— Я сам по себе, — буркнул Сенька.

Проха не поверил. Отвел в сторонку, руку на плечо положил, зашептал:

— Не хошь — не говори. Только знай: ищет тебя Князь. Порезать грозитя.

Шепнул — и отбежал, присвистнул насмешливо:

— Пакедова, фартовый.

И дунули с пацанами вниз по переулку.

В чем Прохина надсмешка была, Сенька понял, когда увидал, что Килькины серебряные часы, прицепленные к порточному ремню, пропали. Вот он, подлюка, чего обниматься-то полез!

Но из-за часов расстроился не сильно. Часы что — им красная цена четвертной, а вот что Князь направо-налево про него, Скорика, грозитя, из-за этого приуныл. Поосторожней теперь надо будет по Хитровке-то. В оба глядеть.

Когда входил в лавку под попугайское приветствие, был мрачен. Не про деньги думал, а про Князев нож.

Хряпнул на стойку прутья.

— Четыре принес — больше нету.

А когда, пять минут спустя, снова на Маросейку выходил, про Князя и думать забыл.

За пазухой, ближе к сердцу, лежали сумасшедшие деньги — четыре петруши, пятисотенных кредитных билета, каких Сенька прежде и в глаза не видывал.

Щупал их, хрусткие, через рубаху, пытался сообразить: каково это — в большом богатстве жить?

КАК СЕНЬКЕ ЖИЛОСЬ В БОГАТСТВЕ

История первая. Про лиху беду начало

Оказалось — трудно.

На Лубянской площади, где извозчики поят из фонтана лошадей, Сеньке тоже пить захотелось — кваску, или сбитня, или оранжаду. И брюхо тоже забурчало. Сколько можно не жрамши ходить? Со вчерашнего утра маковой росинки во рту не было. Чай не схимник какой.

Тут-то и началась трудность.

У обычного человека всякие деньги имеются: и рубли, и гривеники с полтинниками. А у богатея Сеньки одни пятисотенные. Это ведь ни в трактир зайти, ни извозчика взять. Кто ж столько сдачи даст? Да еще если ты во всем хитровском шике: в рубахе навыпуск, сапогах-гармошке, фатовом картузе взалом.

Эх, надо было у ювелира хоть одного «петрушу» мелкими брать, не то пропадешь с голодухи, как царь из сказки, про которого когда-то в училище рассказывали: до чего тот царь ни касался, всё в золото превращалось, и поесть-попить ему, убогому, при таком богатстве не было никакой мочи-возможности.

Пошел Скорик назад, на Маросейку. Сунулся в лавку — заперто. Один попугай Левончик за стеклом сидит, глаза таращит и орет чего-то, снаружи не разберешь.

Ясное дело: закрыл Ашот Ашотыч торговлю, побежал по этим, как их, лекционерам-нумизматам, настоящим делом заниматься — серебряные прутья продавать.

К Ташке податься? Из денег, что подарил, часть назад отобрать?

Во-первых, она уж, поди, улицу утюжит. А во-вторых, стыдно. Бусы подарил — отобрал. Деньги дал — и снова назад. Нет уж, самому нужно выкручиваться.

Спереть чего на рынке, пока не закрылся?

Раньше, хоть бы еще нынче утром, запросто утырил бы Сенька с прилавка в Обжорном ряду какую-никакую снедь, не задумался бы. Но воровать можно, когда тебе терять нечего и в душе лихость. Если бояться — точно попадешься. А как не бояться, когда за пазухой хрустит да пошуршивает?

Ужасно кушать хотелось, хоть вой. Ну что за издевательство над человеком? Две тыщи в кармане, а бублика копеечного не купишь!

Так Сенька на жизненное коварство разобиделся, что ногой топнул, картуз оземь шмякнул, и слезы сами собой потекли — да не в два ручья, как в присказке говорится, а во все четыре.

Стоит у фонаря, ревет — дурак-дураком.

Вдруг голос, детский:

— Глаша, Глаша, гляди — большой мальчик, а плачет!

С рынка шел малый пацаненок, в матроске. С ним румяная баба — нянька ему или кто, с корзинкой в руке. Видно, пошла за покупками на базар, и барчонок за ней увязался.

Баба говорит:

— Раз плачет, стало быть, горе у него. Кушать хочет.

И шлеп Сеньке в упавший картуз монетку — пятиалтынный.

Скорик, как на монетку эту поглядел, еще пуше разревелся. Совсем обидно стало.

Вдруг звяк — еще монетка, пятак медный. Старушка в платочке кинула. Перекрестила Сеньку, дальше пошла.

Он милостыньку подобрал, хотел сразу за пирогами-калачами дунуть, но образумился. Ну сунет в брюхо парутройку калачей, а дальше что? Вот бы рублика три-четыре насобирать, чтоб хоть пиджачишко прикупить. Может, тогда и «петрушу» разменять можно будет.

Сел на корточки, стал глаза кулаками тереть — уже не от сердца, а для жалости. И что вы думаете? Жалел

плакальщика народ христианский. Часу Сенька не просидел — целую горку медяков набросали. Если в точности сказать, рупь с четвертаком.

Сидел себе, хныкал, рассуждал в философическом смысле: когда гроша за душой не было, и то не христо-радничал, а тут на тебе. Вот она, богатейская планида. И в Евангелии про это же сказано, что люди, у которых богатство, они-то самые нищие и есть.

Вдруг Сеньку по кобчику хряснули, больно. Обернулся, а сзади калека на костыле, и давай орать:

— Ну, волки! Ну, шакалы! На чужое-то! Мое место, испокон веку мое! Чайку попить не отойдешь! Отдавай, чего насобирал, ворюга, не то наших кликну!

И костылем, костылем.

Подхватил Скорик картуз, чуть добычу не рассыпал. Отбежал от греха, не стал связываться. Нищие, они такие — и до смерти прибить могут. У них свое обчество и свои законы.

Шел по Воскресенской площади, соображал, как поумнее рупь с четвертаком потратить.

И было Сеньке озарение.

Из «Большой Московской гостиницы», где у входа всегда важный швейцар торчит, выскочил парнишка-рассыльный в курточке с золотыми буквами БМГ, в фуражке с золотой же кокардой. В кулаке у парнишки была зажата трешница — не иначе, постоялец велел чего-нибудь купить.

Скорик рассыльного догнал, сторговал тужурку и фуражку на полчаса в наем. В задаток ссыпал всю мелочь, что на рынке накланчил. Обещал, когда вернется, еще два раза постольку.

И бегом в «Русско-азиатский банк».

Сунул в окошко пятисотенную, попросил скороговоркой — вроде некогда ему:

— Поменяйте на четыре «катеньки», пятую сотню мелкими. Так постоялец заказал.

Кассир только уважительно головой покачал:

— Ишь, какое вам доверие, большемосковским.

— Так уж себя поставили, — с достоинством ответил Сенька.

Банковский служитель номер купюры по какой-то бумажке сверил — и выдал всё в точности, как было прошено.

Ну, а после, когда Скорик в Александровском пассаже приоделся по-чистому, да в парикмахерской «Пари-зьян» на модный манер остригся, богатая жизнь малость легче пошла.

История вторая. Про жизнь в свете, дома и при дворе

Средства вполне позволяли в той же «Большой Московской» поселиться, и Сенька уж было к самым дверям подошел, но поглядел на электрические фонари, на ковры, на львиные морды по-над наличниками и заробел. Оно конечно, наряд у Сеньки теперь был барский и в новехоньком чемодане лежало еще много дорогого барахла, ненадеваного, но ведь гостиничные швейцары с лакеями народ ушлый, враз под шевиотом и шелком хитровскую дворняжку разглядят. Вон там у них за стойкой какой генерал в золотых еполетах сидит. Чего ему сказать-то? «Желаю номер самый что ни на есть отличный»? А он скажет: «Куды прешься, со свинячьим рылом в калашный ряд»? И как прилично подойти? Здравоваться с ним надо либо как? А шапку сымать? Может, просто приподнять, как господу друг дружке на улице делают? Потом еще им, гостиничным, вроде на чай подают. Как этому важному сунешь-то? И сколько? Ну как попрет взяшей, не посмотрит на парижскую прическу?

Мялся-мялся у дверей, но так и не насмелился.

Зато впал в задумчивость. Выходило, что богатство — штукавина непростая, тоже своей науки требует.

Жилье-то Сенька, конечно, сыскал — чай Москва, не Сибирь. Сел в Театральном проезде на лихача, спросил, где способнее обустроиться приезжему человеку, чтоб прилично было, ну и доставил его извозчик с ветерком в номера мадам Борисенко на Трубной.

Комната была чудо какая замечательная, никогда еще Скорик в таких не живывал. Большенная, с белыми занав-

весочками, кровать с блестящими шарами, на кровати перина пуховая. Утром обещали самовар с пышками, вечером, коли пожелаешь, ужин. Прислуга всю уборку делала, в коридоре тебе и рукомойня, и нужник — не такой, конечно, как у Смерти, но тоже чистый, хоть сиди газету читай. Одно слово, царские хоромы. Плата, правда, тоже немалая, тридцать пять целковых в месяц. По хитровскому, где за пятак ночуют, — сумасшедшая дороговизна, а если в кармане без малого две тыщи, ничего, можно.

Обустроился Скорик, на обмены полюбовался, в полированный шкаф их разложил-повесил и сел к окну, на площадь глядеть и думу думать — как дальше на свете проживать.

Известно: всяк человек чужой доле завидует, а от своей нос воротит. Вот Сенька всю жизнь о богатстве мечтал, хоть сердцем и знал, что никогда не будет у него никакого богатства. Однако Господь, Он всё видит, каждое моление слышит. Другое дело — каждое ли исполнит. На то у Него, Всевышнего, свои резоны, невинные смертным человекам. Один хромой калика из тех, что по миру ходят, говорил как-то в чайной: самое тяжкое испытание у Господа, когда Он все твои желания поисполнит. Накося, мечтатель, подавись. Погляди, многого ль алкал, и чего, раб Божий, теперь алкать будешь?

Тож и с Сенькой вышло. Сказал ему Бог: «Хотел земных сокровищ, Сенька? Вот те сокровища. Ну и чего теперь?»

Без денег жить тухло, спору нет, но и с богатством тоже не чистый мёд.

Ладно, нажрался Сенька от пуза, пирожных одних в кондитерской восемь штук засобачил (брюхо после них так и крутит), приоделся, красивым жильем обзавелся, а дальше-то что? Какие у вас, Семен Трифоныч, будут дальнейшие мечтания?

Однако в философской печальности, вызванной не иначе как теми же пирожными, Скорик пребывал не очень долго, потому что мечтания обрисовались сами собой, числом два: земное и небесное.

Земное было про то, как из большого богатства еще большее сделать. Раз Скориком нарекли, не спи, шевели мозгой.

Дураку понятно: если весь серебряный хворост, что в подземелье лежит, наружу выволочь, его кроме как на вес не купят. Где столько нумизматов взять, по одному на каждый прут?

Ладно, прикинем, сколько это — если на вес. Прутов этих там... Черт их знает. Штук пятьсот, не меньше. В каждом по пять фунтов серебра, так? Это будет две с половиной тыщи фунтов, так? Ашот Ашотыч говорил, золотник серебра нынче по 24 копейки. В фунте 96 золотников. Две с половиной тыщи помножить на 96 золотников да на 24 копейки — это будет...

Закряхтел, сел на бумажке столбиком умножать, как в коммерческом когда-то учили. Да недолго учили-то, и позабылось с отвычки — так и не сложилась цифирь.

Попробовал по-другому, проще. Самшитов говорил, что чистого серебра в пруте на 115 рублей. За пятьсот прутов это... тыщ пятьдесят, что ли, получается. Или пятьсот?

Погоди, погоди, остудил себя Скорик. Ашот Ашотыч за прут по четыреста рублей дал и, надо думать, себе не в убыток. Нумизматам своим он, может, по тыще перепродает.

Раз эти палки почерневшие в такой цене, хорошо бы самому поторговать, без Самшитова. Дело, конечно, непростое. Для начала много чего вызнать да уразуметь придется. Перво-наперво про настоящую цену. Обслужить всех московских покупальщиков. Потом питерских. А там, может, и до заграничных добратся. Попридерживать нужно прутья, втюхивать их дуракам этим, которые готовы дороже серебряного весу платить, по штучке. А уж потом, когда дурни досыта наедятся, можно прочий хворост на переплавку продать.

От таких купеческих мыслей Сенька весь вспотел. Сколько мозгов-то надо на этакую коммерцию! Впервые пожалел, что наукам не выучился. Барышей будущих, и тех толком не сочтешь.

А значит что?

Правильно. Догонять нужно. Хамское обличье из себя повытравить, культурному разговору научиться, арифметике-чистописанию, а еще хорошо бы по-иностранному сколько-нисколько наблаться, на случай если придется в Европах торговать.

От мыслей дух перехватило.

И это еще только земное мечтание, не главное. От второго, небесного, у Сеньки вовсе голова закружилась.

То есть, оно, если вдуматься, тоже было земное, может, даже поземней первого, но грело не голову, где мозги, а сердце, где душа. Хотя животу и прочим частям Сенькиной натуры от этого мечтания тоже сделалось жарко.

Это раньше он был огрызок, щенок и Смерти не пара, а теперь он, если не сплеховать, может, первым московским богачом станет. И тогда, мечталось Скорику, он все эти огромные тыщи ей под ноги кинет, спасет ее от Князя с Упырем, от марафетной хвори вылечит и увезет далеко-далеко — в Тверь (говорят, хороший город) или еще куда. А то вовсе в Париж.

Это ничего, что она старше. У него тоже скоро на щеках из пуха усы-борода вырастут, и он в настоящий возраст войдет. Еще можно, как у Эраста Петровича, седины на висках подрисовать — а чего, авантажно.

Только когда они со Смертью венчаться поедут, надо подале от набережной, где можно в воду свалиться и потонуть. Береженого Бог бережет.

Вот уже Сенька и свадьбу представлял, и пир в ресторане «Эрмитаж», а сам понимал: одними деньгами тут не обойтись. Были у Смерти кавалеры-полюбовники при больших тыщах, не в диковинку ей. И подарками ее не улестишь. Нужно сначала из серого воробышки белым соколом воспарить, а потом уж можно и к этакой лебеди подлетать.

И опять поворачивало на воспитание и культурность, без которых соколом нипочем не станешь, хоть бы и при богатстве.

На площади — из окна видать — книжная лавка. Сенька сходил туда, купил умную книжку под названием

«Жизнь в свете, дома и при дворе»: как себя поставить в приличном обществе, чтоб в тычки не погнали.

Стал читать — в испарину кинуло. Матушки-светы, каких премудростей там только не было! Как кому кланяться, как бабам, то есть дамам, ручку целовать, как говорить комплименты, как когда одеваться, как входить в комнату и как выходить. Это жизнь целую учись — всего не упомнишь!

«Нельзя являться с визитом раньше двух часов и позже пяти-шести, — шевелил губами и ерошил французскую куафюру Сенька. — До двух вы рискуете застать хозяев дома за домашними занятиями или за туалетом; позже можно показаться навязывающимся на обед».

Или еще так: «Приехав с визитом и не застав хозяев дома, благовоспитанный человек оставляет карточку, загнутую широко с левого бока кверху; при визите по случаю смерти или иного печального случая карточку загибают с правого бока вниз, слегка надорвав сгиб».

Елки-иголки!

Но страшной всего было читать про одежду. Бедному хорошо: всего одна рубаха и портки — и нечего голову ломать. А богатому ужас что за морока. Когда надевать пиджак, когда сюртук, когда фрак; когда сыпать перчатки, когда нет; чего должно быть в клеточку, чего в полочку, а что может быть в цветочек. Да еще и не все цвета у них, культурных, друг к другу подходят!

Трудней всего выходило со шляпами — Сенька для памяти даже стал записывать.

Стало быть, так. В конторе, магазине или гостинице шляпу снимают, только если хозяева и приказчики тоже с непокрытыми головами (эх, тогда, в «Большой Московской» бы знать). Выходя из гостей, шляпу надевать надо не на пороге, а за порогом. В омнибусе или экипаже шляпы не снимать вовсе, даже в присутствии дам. Когда пришел с визитом, шляпу держишь в руке, а ежели ты во фраке, то цилиндр должен быть не простой, а с пружинкой. Когда сел, шляпу можно положить на стул, а если нет свободного стула, то на пол, но только, упаси Боже, не на стол.

Тут Скорику стало шляпу жалко — ведь на полу она испачкается. Посмотрел на красовавшееся посреди стола канотье (двенадцать с полтиной). Ага, на пол. Щас!

Утомившись учиться светскому обхождению, снова рассматривал обнови. Сюртучок верблюжьего камлота (девятнадцать девяносто), две жилеточки белого и серого пике (червонец пара), панталоны в черно-серую полосу (пятнадцать), брюки на штрипках (девять девяносто), штиблеты с пуговками (двенадцать) и еще одни, лаковые (отвалил за них двадцать пять, но зато загляде-ние). Еще зеркальце на серебряной ручке, помада в золоченой баночке — кок смазывать, чтоб не вис. Дольше всего любовался перламутровым перочинным ножиком. Восемь лезвий, шило, даже зубная ковырялка и ногтечистка!

Насладившись, читал полезную книгу дальше.

К ужину Сенька вышел, как положено по этикету, в сюртуке, потому что «простой жакет за столом позво-литель лишь в кругу своей семьи».

В столовой прилично поклонился, сказал по-французски «Бон суар», шляпу, так и быть, положил на пол, однако вниз все-таки постелил прихваченную из комнаты салфетку.

Столующихся у вдовы Борисенко было с десяток. Они уставились во все глаза на благовоспитанного человека, некоторые поздоровались, прочие так покивали. В сюртуке не было ни одного, а толстый, кучерявый, что сидел рядом с Сенькой, вовсе ужинал в одной рубашке с подтяжками. Он оказался студент Межевого института, по имени Жорж, с чердака, где комнаты по двенадцати рублей.

Сеньку хозяйка представила мосье Скориковым, московским негоциантом, хотя он, когда сговаривался про комнату, назвался иначе — торговым человеком. «Негоциант», конечно, звучало куда лучше.

Жорж этот сразу пристал: как это, мол, в таком юном возрасте и уже коммерцией занимаетесь, да что за коммерция, да про папеньку-маменьку. Когда сладкое подали («десерт» называется) студент шепотом три рубля занять попросил.

Три рубля ему за здорово живешь Скорик, конечно, не дал и на вопросы отвечал туманно, однако из пройдошистого Жоржа, кажется, можно было извлечь пользу.

На одной книжке много не научишься. Учитель нужен, вот что.

Отвел Жоржа в сторонку и стал врать: мол, купеческий сын, при тятеньке в лавке состоял, некогда учиться было. Теперь вот батька помер, всё свое богатство наследнику завещал, а что он, Семен Скориков, в жизни кроме прилавка видал? Нашелся бы добрый человек, поучил уму-разуму, культурности, французскому языку и еще всякому разному, так можно было бы за ту науку хорошие деньги заплатить.

Студент слушал внимательно, всё понимал с полуслова. Сразу столковались об уроках. Как Жорж услышал, что Сенька будет за учение по рублю в час платить, сразу объявил: в институт ходить не станет и готов хоть весь день быть в его, Семен Трифоныча, полном распоряжении.

Сговорились так: час в день правописанию и красивому почерку учиться; час французскому; час арифметике; в обед и в ужин хорошим манерам; вечером поведению в свете. Из-за оптового подряда Сенька себе скидку сторговал: четыре рубля в день за всё про всё. Оба остались довольны.

Начали прямо после ужина — со светского поведения. Поехали в балет. Фрак для Сеньки наняли за два рубля у соседа-музыканта.

В театре Скорик сидел смирно, не вертелся, хотя на сцену, где скакали мужики в тесных подштанниках, смотреть скоро наскучило. Потом, когда выбежали девки в прозрачных юбках, пошло поживей, но больно уж музыка была кислая. Если б Жорж не взял в раздевалке увеличительные стекла («бинокль» называются), совсем скучно бы было. А так Сенька разглядывал всё подряд. Сначала танцорок и ихние ляжки, потом кто вокруг залы в золоченых ящиках сидел, а после уж что придется — например, бородавку на лысине у музыкантского начальника, который оркестру палочкой грозил, чтоб стройней играли. Когда все *аплодировали*, Сенька бинокль брал под мышку и тоже хлопал, еще погромче прочих.

За семь рублей просиживать три часа в колючих воротничках — это мало кому понравится. Спросил у Жоржа: что, мол, богатые каждый вечер в театр потеть ходят? Тот успокоил: сказал, можно раз в неделю. Ну, это еще ничего, повеселел Сенька. Вроде как по воскресеньям обедню стоять, кто Бога боится.

Из балета поехали в бордель (так по-культурному шалавник называется), учиться культурному обхождению с дамами.

Там Сенька сильно стеснялся ламп с шелковыми абажурами и мягких кушеток на пружинном подпрыге. Мамзель Лоретта, которую ему на колени усадили, была тетка дебелая, собой рыхлая, пахла сладкой пудрой. Сеньку называла «пусей» и «котиком», потом повела в комнату и стала всякие штуки выделявать, про какие Сенька даже от Прохи не слыхивал.

Однако стыдно было, что свет горел, и вообще куда ей, Лореттке этой, кошке жирной, до Смерти.

ТЬФУ!

После еще долго учился шампанское пить: кладешь в него клубничину, даешь ей малость пообвыкнуться, разомкнуть и губами вылавливаешь. Потом выдуваешь пузырчатое пойло до дна, и по новой.

Утром, конечно, головой маялся, хуже чем от казенного вина. Но это пока Жорж не заглянул.

Жорж посмотрел на страдания ученика, языком поцокал, сразу послал слугу за шампанским и паштетом. Позавтракали прямо у Сеньки на кровати: он лежа, студент сидя. Паштет мазали на белые булки, вино пили из горлышка.

ПОЛЕГЧАЛО.

Сейчас французским позанимаемся, а в обед поедem укреплять знания во французский ресторан, сказал Жорж и облизнул толстые губы.

А ничего, расслабленно думал Сенька. Глаза боятся, а руки делают. Ко всему человек обвыкается. Можно, можно жить и в богатестве.

История третья. Про брата Ванечку

Про две большие мечты думать было приятно — воображать, как оно всё устроится с любовью и с бессчетным богатством. Однако и при нынешнем, пока еще не столь великом богатстве сделалась доступна одна мечта, раньше казавшаяся несбыточной — появиться во всей красе перед братом Ванькой.

Тоже, конечно, без подготовки не нагрянешь: здрастье, я ваш старший брат, барскую одежду напялил, а сам трушоба трушобой, ни слова по-культурному. Вдруг забрезует Ванятка неучем?

Однако для мальчика все-таки можно было обойтись и малой наукой.

С первого же дня Сенька уговорился с Жоржем — пускай тот при разговоре поправляет неправильные слова. Чтоб студент не ленился, ему была объявлена награда: по пятаку за каждую поправку.

Ну, тот и рад стараться. Чуть не через слово: «Нет, Семен Трифоныч, так в культурном обществе не говорят: *колидор*, нужно *коридор*» — и крестик на особой бумажке чирк. После, на уроке арифметики, Скорик сам же эти крестики на 5 перемножил. Первого сентября 1900 года погорел на восемнадцать рублей семьдесят пять копеек — и это еще жадничал лишний раз слово сказать. Начнет по-писаному: «А вот думается мне, что...» — и затыкается.

Закряхтел Скорик от такой суммы, потребовал с пятак на копейку перейти.

Второго сентября отмусолил, в смысле *отсчитал*, четыре рубля тридцать пять копеек.

Третьего сентября три двенадцать.

К четвертому сентября малость наблатыкался, то есть *немного освоился*, хватило рубля с гривенником, а пятого и вовсе обошелся девянота копейками.

Тут Сенька решил, что хватит с Ваньки, пора. Теперь он с *отменной легкостью* мог минут пять, а то и десять *излагать* свои мысли гладко, памятью-то Бог не обидел.

По светскому этикету полагалось сначала судье Кувшинникову по почте письмо отписать: так, мол, и так, желаю нанести Вашей милости визит на предмет посещения обожаемого братца Ванятки. Но терпелу не хватило.

С утра пораньше Сенька пошел к дантисту золотой зуб вставлять, а Жоржа снарядил в Теплые Станы, предупредить, что пополудни, *если его милости будет благоугодно*, пожелует и сам Семен Трифионович Скориков, *состоятельный коммерсант* — вроде как с родственным визитом. Жорж нарядился в студенческий мундир, купил форменную фуражку из ломбарда, укатил.

Сенька сильно *нервничал* (то есть тряс гузкой). Ну как судья скажет: на кой бес моему приемному сыну такая собачья родня.

Но ничего, обошлось. Жорж вернулся важный, объявил: ожидают к трем. Стало быть, не к обеду, сообразил Сенька, но не обиделся, а наоборот обрадовался, потому что пока еще плохо умел со столовыми ножами управляться и отличать мясные вилки от рыбных с салатными.

В книге было прописано: «При визите детям обязательно должно дарить конфеты в бонбоньерке», и Скорик не пожидился, то есть *не поскупился* — купил на Мясницкой у Перлова самолучшую жестянку шоколаду, в виде горбатого конька из сказки.

Нанял лаковую пролетку за пятерик, но, поскольку от нервов выехал сильно раньше нужного, сначала шел по улице пешком, коляска следом ехала.

Старался вышагивать, как в учебнике предписано: «На улице легко отличить хорошо воспитанного, утонченного человека. Походка его всегда ровна и размеренна, шаг уверен. Он идет прямо, не оглядываясь, и только изредка останавливается на мгновение перед магазинами, обыкновенно придерживается правой стороны дороги и не смотрит ни кверху, ни книзу, а прямо за несколько шагов перед собой».

Прошел так через Мясницкую, Лубянку, Театральный. А как шея от прямого глядения задубела, сел в пролетку.

До Коньковских яблоневых садов катили неспешно, а перед самыми Теплыми Станами седок велел разогнать-

ся, чтоб подъехать к судейскому дому лихо, при всей наглядности, *с шиком*.

И в дом вошел в лучшем виде: сказал *бон жур*, умеренно поклонился.

Судья Кувшинников ответил: «Здравствуй, Семен Скориков», пригласил в кресло.

Сенька сел скромно, учтиво. Как положено в начале визита, снял одну правую перчатку, шляпу на пол положил, без салфетки. И только потом, благополучно всё исполнив, рассмотрел судью как следует.

А постарел-таки Ипполит Иванович, вблизи видно было. Усы подковой стали совсем седые. Длинные, ниже ушей, волосы тоже побелели. А взор остался такой же, как прежде: черный, въедливый.

Про судью Кувшинникова покойный тятенька говорил, что умней его человека на всем свете не сыщешь, а потому, поглядев в строгие глаза Ипполит Иваныча, Сенька решил, что будет держать себя не по светскому этикету, а по настоящей учтивости, которой его обучила не книжка и не Жорж, а некая особа (про нее сказ впереди, не всё в одну кучу-то валить).

Особа эта говорила, что настоящая учтивость стоит не на вежливых словах, а на искреннем уважении: уважай всякого человека по всей силе возможности, пока этот человек тебе не показал, что твоего уважения не достоин.

Сенька долго думал про такое диковинное суждение и в конце концов прояснил себе так: лучше плохого человека улестить, чем хорошего обидеть, ведь так?

Вот и судье он не стал светские разговоры про приятно прохладную погоду говорить, а сказал со всей честностью, поклонившись:

— Спасибо, что брата моего, сироту, как родного воспитываете и ни в чем не притесняете. А еще больше вам за это Иисус Христос благодарность сделает.

Судья тоже слегка поклонился, ответил, что не на чем, что ему с супругой от Вани на старости лет одно счастье и удовольствие. Мальчик он живой, сердцем нежный и при больших способностях.

Ладно. Помолчали.

Сенька ломал голову — как бы повернуть разговор в том смысле, что, мол, нельзя ли братца повидать. От напряжения шмыгнул носом, но тут же вспомнил, что «шумное втягивание носовой жидкости в обществе совершенно недопустимо» и скорей выхватил платок — сморкаться.

Судья вдруг сказал:

— Твой знакомый, что утром заезжал, назвал тебя «состоятельным коммерсантом»...

Скорик приосанился, да ненадолго, потому что дальше Ипполит Иванович заговорил вот как:

— С каких это барышей лаковая пролетка, фрак с цилиндром? Я ведь с опекуном твоим, Зотом Ларионовичем Пузыревым в переписке состою. Все эти годы раз в квартал перевожу по сто рублей на твое содержание, отчеты получаю. Пузырев писал, что учиться в гимназии ты не пожелал, что нрава ты дикого и неблагодарного, якшаешься со всяким отребьем, а в последнем письме сообщил, что ты вовсе стал вор и бандит.

От неожиданности Сенька вскочил и крикнул — глупо, конечно, лучше бы промолчать:

— Я вор? А он меня ловил?

— Поймают, Сеня, поздно будет.

— В гимназию я не схотел?! Сто рублей ему на меня полагалось?!

Сенька задохнулся. Ну и подлец же дяденька Зот Ларионыч! Мало ему было витрину расколотить, надо было весь дом его поганный запалить!

— Так откуда богатство-то? — спросил судья. — Я должен это знать, прежде чем допущу тебя к Ване. Может, фрак твой из крови скроен и слезами сшит.

— Не из какой не из крови. Клад я нашел, старинный, — пробурчал Сенька, сам понимая — кто ж в такое поверит.

Прокатился с шиком, угостил братика конфетами, как же. Прав был тятка: умный человек судья.

Однако Кувшинников оказался еще того умней. Не почмокал недоверчиво губами, головой не покачал. Спросил спокойно:

— Что за клад? Откуда?

— Откуда-откуда, из хитровских подвалов, — хмуро ответил Сенька. — Пруты там были серебряные, с клеймом. Пять штук. Больших денег стоят.

— Что за клеймо?

— Почему мне знать. Две буквы: «Я» и «Д».

Судья долго смотрел на Скорика, молчал. Потом поднялся.

— Пойдем-ка в библиотеку.

Это была такая комната, вся сверху донизу заставленная книгами. Если все книжки, какие Сенька в жизни видал, вместе сложить, и то, пожалуй, меньше бы вышло.

Кувшинников на лесенку влез, достал с полки толстый том. Там же, наверху, принялся листать.

— Эге, — сказал.

Потом:

— Так-так.

Взглянул на Сеньку поверх очков и спрашивает:

— Стало быть, «ЯД»? А где ты нашел клад? Часом не в Серебряниках?

— Не. На Хитровке, вот вам крест, — забожился Скорик.

Ипполит Иванович с лесенки быстро слез, книгу на стол положил, а сам к картине подошел, что висела на стене. Чудная была картина, похожая на рисунок разделки свиных туш, какой Сенька видал в немецкой мясной лавке.

— Гляди. Это карта Москвы. Вот Хитровка, а вот Серебряники, переулок и набережная. От Хитровки рукой подать.

Сенька подошел, посмотрел. На всякий случай сказал: «Оно конечно».

А судья на него и не глядит, сам себе бормочет:

— Ну разумеется! Там в семнадцатом столетии располагалась Серебряническая слобода, где при Яузском денежном дворе жили мастера-серебряники. Как твои пруты выглядят? Вот так?

Поташил Скорика к столу, где книга. Там, на картинке, Сенька увидел прут — точь-в-точь такой же, какие ювелиру продал. И крупно, на торце, буквы «МД».

— «МД» — это «Монетный двор», — объяснил Кувшинников. — Его еще называли Новым Монетным или Английским. В старину на Руси своего серебра было мало, поэтому закупали европейские монеты, иоachimсталеры, ефимки. — Сенька на знакомое слово опять кивнул, но уже с толком. — Талеры переплавляли в такие вот серебряные пруты, потом из них волокли проволоку, резали ее на кусочки, плющили и чеканили копейки, так называемые «чешуйки». Копеек сохранилось много, талеров и того больше, а заготовочных серебряных прутков, разумеется, не осталось вовсе — ведь они все в работу шли.

— А этот как же? — показал Скорик на картинку.

— Молодец, — похвалил судья. — Соображаешь. Правильно, Скориков. Всего один прут только до нашего времени и дошел, отлитый на Новом Монетном.

Сенька задумался.

— Чего ж они, серебряники эти, заготовки побросали, денег из них не начеканили?

Кувшинников развел руками:

— Загадка. — Глаза у него теперь были не въедливые, сощуренные, а блестящие и широкие, будто судья сильно чему-то удивился или обрадовался. — Хотя не такая уж и загадка, если немного порассуждать. Воровства в семнадцатом веке было много, еще больше, чем сейчас. Вот, тут в энциклопедии написано... — Он повел пальцем по строчкам. — «За так называемое «угорание» серебра мастеров нещадно били кнутом, иным вырывали ноздри, однако от дела не отставляли, ибо серебряников не хватало». Видно, мало били, если кто-то тайник из «угоревшего» серебра устроил. А может, не мастеров нужно было драть — дьяков.

Дальше судья стал про себя читать. Вдруг присвистнул. Сеньке удивительно стало: такой человек, а свистит.

— Сеня, ты за сколько свои пруты продал?

Скорик врать не стал. Кувшинников сам богатый, заводить не будет.

— По четыре катеньки.

— А тут написано, что этот прут пятьдесят лет назад на аукционе в Лондоне был приобретен коллекционером-

нумизматом за 700 фунтов стерлингов. Это семь тысяч рублей, а по нынешним деньгам, пожалуй, и поболее.

У Сеньки рот сам собой разинулся. Ай да Ашот Ашотыч, ай да змей!

— Видишь, Скориков, если б ты свой клад казне отдал...

— Да с какой радости казне-то? — вскинулся Сенька, еще не оправившись от ювелирова вероломства.

— Так ведь серебро у казны было украдено. Хоть и двести лет назад, но государство-то все то же, Российское. За передачу властямклада, согласно закону, нашедшему положена треть стоимости. Выходит, ты за свои пять прутьев получил бы не две тысячи, а во много раз больше. К тому же был бы честный человек, родине помощник.

Сенька хотел было сказать, что дело поправимое, да вовремя прикусил язык. Тут надо было сначала крепко думать, а потом уж болтать. Кувшинников-то остер, враз всё выпытает.

И без того судья на Скорика хитро смотрел, со значением.

— Ладно, — говорит. — Ты подумай, куда прутья нести, если вдруг еще найдешь: барыге своему или в казну. Надумаешь по закону, я тебе подскажу, как и куда. В газетах про твой патриотизм напишут.

— Про что?

— Про то, что ты не только свое брюхо, но и родину любишь, вот про что.

Насчет родины Сенька как-то не очень уверен был. Где она, его родина? Сухаревка, что ли, или Хитровка? За что их, вшивых, любить?

А Кувшинников опять удивил. Вздыхнул:

— Так, значит, врал мне Зот про гимназию-то? И про остальное, поди, тоже... Ладно, за это он мне ответит.

И вдруг запечалился, сивую голову повесил.

— Ты, — говорит, — прости меня, Сеня, что я от своей совести ста рублями откупался. Мне бы хоть раз самому съездить да проверить, как ты там проживаешь. Хотел ведь я, когда твой отец умер, вас обоих к себе взять, да Пузырев намертво вцепился — родной племянник,

мол, сестрина кровь. А ему, выходит, только деньги нужны были.

Здесь у Сеньки мысли от огромных тыщ совсем в другую сторону развернуло: как бы оно у него всё сложилось, если б после родительской смерти не к Зот Ларионому, а к судье Кувшинникову попасть?

Да чего там, что попусту убиваться.

Спросил хмуро:

— Не пустите с Ванькой повидаться?

Судья не сразу ответил.

— Что ж, говорил ты со мной честно, да и парень ты непропащий. Повидайтесь. Почему не повидайтесь? У Вани как раз урок французского закончился. Иди в детскую. Горничная тебя проводит.

А про братишку Сенька волновался зря.

Тому когда сказали, что старший брат пришел — выбежал навстречу и как прыгнет на шею.

— Ага! Это я, я ему письмо написал! Ты, Сеня, точь-в-точь такой, как я воображал! — И поправился. — Не воображал, а запомнил. Нисколько не изменился. Даже галстук тот же!

Вот врать здоров, оголец.

Дал ему Скорик бонбоньерку, еще подарки: бинокль и перочинный ножик — тот самый, с ногтечисткой. Ванька про брата, конечно, сразу позабыл, принялся лезвиями шелкать, но это ничего, пацаненок он и есть пацаненок.

С судьей Сенька попрощался за руку, обещался через пару деньков снова быть.

Обратно шел пешком чуть не до самой Калужской, думу думал.

Семь тысяч за прут! Если цену не сбивать, можно на одном прутике целый год по-княжески жировать.

Помозговать надо было, очень сильно думалкой поворочать.

Как учила некая, один раз уже поминавшаяся особа: «Кто маро думар — много пракар».

История четвертая. Про японского человека Масу

Это в смысле: «Кто мало думал — много плакал». Особа эта русскую букву «л» выговорить не умела, потому что в ихнем наречии такой буквы в заводе нет. Как-то живут, обходятся.

Стало быть, пора рассказать про второго Сенькиного учителя, не нанятого, а самозваного.

Дело вышло так.

В тот самый день, когда Скорик после балета и борделя утром сначала болел, а после лечился шампанским и паштетом, был к нему неожиданный гость.

Постучали в дверь — тихо так, прилично. Думал — хозяйка.

Открывает — а там вчерашний японец.

Сенька напугался — страх. Сейчас как пойдет метель: чего, мол, удрал, расчета за покражу не получив?

Японец поздоровался и спрашивает:

— Тево дрозись?

Сенька ему честно: так, мол, и так, дрожу, потому что за жизнь свою опасаюсь. Не порешили бы вы меня, дяденька.

Тот удивился:

— Ты сьто, Сенька-кун, смерчи боисься?

— Кто ж ее не боится, — ответил на грозный вопрос Скорик и к окну попятился. Мысль возникла — не сигануть ли из окошка. Высоконько было, а то беспрерменно прыгнул бы.

Японец давай дальше стращать — вроде еще пуще удивился:

— А сево ее бояться? Ты ведь нотью спать не боисься?

От такого нехорошего намека Сенька уж и высоты страшиться перестал. Допятился до окна, створку открыл, как бы душно ему. Теперь, если убивать начнут, одним скачком можно было на подоконник взлететь.

— Так то спать, — сказал он. — Знаешь, что утром проснешься.

— И посре смерчи проснешься. Есри хоросё дзир — хоросё и проснешься.

Тоже еще поп выискался! Будет, басурман, крещеному человеку про рай и воскресенье проповедовать!

От близости окна Скорик чуток осмелел.

— Как вы меня сыскали-то? — спросил. — Слово, что ль, какое волшебное знаете?

— Дзнаю. «Рубрь» надзывается. Дар марьсику рубрь, он дза тобой победзар.

— Какому мальчику? — опешил Сенька.

Маса показал рукой на аршин от пола:

— Маренькому. Сопривому. Но бегаёт быстро.

Японец оглядел комнату, одобрительно кивнул:

— Мородец, Сенька-кун, сьто тут посерирся. От Асеева переурка бризко.

Это он про Ащеулов переулоч, где они с Эраст Петровичем квартируют, сообразил Сенька. В самом деле недалёко.

— Чего вам от меня надо? Ведь бусы-то я вернул, — сказал он жалобно.

— Господзин верер, — строго, даже торжественно пояснил Маса и вдруг вздохнул. — А есё ты, Сенька-кун, на меня походз. Я когда быр такой, как ты, тодзе быр маренький бандзит. Есри бы госпозина не встретир, вырос бы борьсёй бандзит. Он — мой учитьер. А я буду твой учитьер.

— Есть у меня уже учитель, — проворчал Скорик, перестав бояться, что станут до смерти убивать...

— Чему учит? — оживился Маса. (То есть на самом деле он спросил *тему утит*, но Сенька уже научился разбирать его чудной говор и с пониманием не затруднился.)

— Ну, там хорошим манерам...

Коротышка ужасно обрадовался. Это самое главное, говорит. И объяснил про настоящую учтивость, которая происходит от искреннего уважения ко всякому человеку.

В разгар объяснения над Сенькиной головой зажужжала муха. Он ее, настырную, гнал-гнал, никак не отставала. А японец как подпрыгнет, махнул рукой — и поймал насекомую в кулак.

От такой его резвости Скорик взвизгнул, на корточках присел, да еще голову руками прикрыл — думал, прибить хочет.

Маса посмотрел на скорчившегося Сеньку, спрашивает: ты что это?

— Напужался, что стукнете.

— Зачем?

Сенька ему со всхлипом:

— Сироту всякий обидеть может.

Японец наставительно поднял палец: нужно, говорит, уметь себя защищать. Особенно, если сирота.

— Как это — «уметь»?

Тот смеется. А кто, мол, говорил, что ему учитель не нужен? Хочешь научу, как себя защищать?

Скорик вспомнил, как азиатец руками-ногами машет, и тоже так захотел.

— Неплохо бы, — говорит. — Да, чай, трудно этак ловко людей мордовать?

Маса подошел к окну, выпустил пойманную муху на волю.

Нет, говорит, мордовать нетрудно. Трудно научиться Пути.

(Это Сенька потом понял, что он слово «Путь» как бы с большой буквы сказал, а тогда не смикнутил.)

— А? — спросил. — Чему научиться?

Стал ему Маса про Путь объяснять. Что, мол, жизнь — это дорога от рождения к смерти и что дорогу эту нужно пройти правильно, не то дойти-то дойдешь, никуда не денешься, только потом не обессуди. Если будешь ползать по той дороге по-мушиному, быть тебе в следующем рождении мухой, как та, что жужжала. Будешь гадом в пыли пресмыкаться, гадом и родишься.

Сенька подумал, что это он для образности сказал, к слову. Не знал еще, что Маса про мух и гадюк взаправду говорил, во всей натуральности.

— А как правильно идти по Пути? — спросил Скорик.

Оказалось, умучаешься, если по-правильному.

Перво-наперво, как проснешься с утра, нужно говорить себе: «Сегодня меня ждет смерть» — и не пугаться. И все

время о ней, смерти, думать. Потому не знаешь ведь, когда твой путь закончится, и нужно завсегда наготове быть.

(Сенька зажмурил глаза, сказал заветные слова и нисколько не напугался, потому что увидел перед собой Смерть, ужас до чего собой прекрасную. Чего ж бояться, если она тебя ждет?)

Но дальше хуже пошло.

Врать нельзя, без дела валяться нельзя, на перине пуховой спать нельзя (вообще нежить себя ни-ни), а надо себя всяко терзать, испытывать, закалять и в черном теле держать.

Послушал Сенька, послушал, и чего-то не захотелось ему этукую страсть выносить. И без того набедовался, наголодался, только-только к настоящей жизни принюхиваться стал.

— А попроще нельзя, без Пути? Чтоб только драться?

Маса от такого вопроса расстроился, головой покачал. Можно, говорит, но тигра тебе тогда не победить, только шакала.

— Ничего, с меня и шакала хватит, — заявил Скорик. — Тигра можно сторонкой обойти, ноги не отвалятся.

Японец еще пуше закручинился. Ладно, говорит, ленивая душа, бес с тобой. Снимай курточку, будет тебе первый урок.

И стал учить, как правильно падать, если с размаху по морде бьют.

Сенька науку освоил быстро: исправно падал, через голову перекувыркивался и на ноги вставал, а сам всё ждал, когда же Маса спрашивать станет, откуда у хитровского голодранца богатство.

Нет, не стал.

Однако перед тем, как уйти, сказал:

— Господин спрашивает, не хочешь ли ты, Сенька-кун, ему что-нибудь рассказать? Нет? Тогда саёнара.

Это по-ихнему «пакеда».

И повадился в нумера ходить, дня не пропускал.

Спустится Сенька к завтраку — а Маса уже сидит у самовара, весь красный от выпитого чаю, и хозяйка ему

варенья подкладывает. Строгая мадам Борисенко от него вся размякала, румянилась. И чем только он ее взял?

Потом начинался урок японской гимнастики. Честно сказать, Маса больше языком трепал, чем настоящему делу учил. Видно, задумал-таки, хитрый азиат, Скорика на свой Путь уволочь.

К примеру, обучал он Сеньку с крыши сарая вниз сгигать. Сенька наверх-то залез, а прыгнуть не может, боязно. Это ж две сажени! Ноги переломаешь.

Маса рядом стоит, поучает. Это тебе, говорит, страх мешает. Ты гони его, он человеку без надобности. Только препятствует голове и телу свое дело делать. Ты ведь знаешь, как прыгать, я тебе показал и объяснил. Так не бойся, голова и тело всё сами исполнят, если страх мешать не будет.

Легко сказать!

— Вы чего, сенсей, вовсе ничего на свете не боитесь? — Это его так называть нужно было, «сенсей». «Учитель», значит. — Я думал, таких людей не бывает, кто совсем страха не знает.

Редко, говорит, но бывают. Господин, например, ничего не боится. А я одной вещи очень даже боюсь.

Сеньке от этих слов полегче стало.

— Чего? Мертвяков?

Нет, говорит. Боюсь, что господин или какой-нибудь хороший человек мне доверится, а я не оправдаю, подведу. Из-за своей глупости или невластных мне обстоятельств. Ужас, говорит, как этого страшусь. Глупость — ладно, она с годами проходит. А вот над обстоятельствами один Буцу властен.

— Кто властен? — спросил Скорик.

Маса пальцем наверх показал:

— Буцу.

— А-а, Иисус Христос.

Японец кивнул. Поэтому, говорит, я Ему каждый день молюсь. Вот так.

Зажмурил глазенки, ладоши сложил и загнулавил чего-то. Сам же после и перевел: «На Буцу уповаю, но и сам сделаю всё, что могу». Такая у них японская молитва.

Сенька фыркнул:

— Тоже мне японская. На Бога надейся, а сам не плошай.

Потом еще однажды заговорили о божественном.

Мух у Сеньки в комнате много развелось. Видно, на крошки налетали — очень уж он лют был пирожные со сдобами трескать.

Маса мух не любил. Ловил их, как кот лапой, но чтобы раздавить или прихлопнуть — ни в жизнь. Всегда к окошку поднесет, выпустит.

Скорик раз спросил:

— Чего вы, сенсей, с ними церемонии разводите? Шлепнули бы, и дело с концом.

Тот в ответ: никого не нужно убивать, если можно не убивать.

— Даже муху?

Какая разница, говорит. Душа она и есть душа. Сейчас это муха, а если будет себя в своей мушиной жизни правильно вести, то в следующем рождении, может, человеком станет. К примеру, таким, как ты.

Сенька обиделся:

— Чего это, как я? Может, как вы?

Маса сказал на это: а если будешь хамить учителю, то сам после смерти станешь мухой. Ну-ка, говорит, уворачивайся. И как врежет Сеньке по роже — попробуй-ка, увернись. Только в ушах зазвенело.

Так вот и обучался японской премудрости.

И всякий раз в конце диковинный учитель спрашивал одно и то же: не желаешь ли, мол, чего господину передать.

Сенька глазами хлопал, отмалчивался. Не мог в толк взять, о чем спрос. Про клад? Или про что другое?

Маса, впрочем, никакой докуки не делал. Подождет с полминутки, кивнет, скажет свое «саёнара» и идет себе восвояси.

Дни летели быстро. Урок гимнастики, урок грамматики, урок арифметики, урок французского, закрепление пройденного во французском ресторане, потом проме-

над по магазинам, снова урок — изящных манер, с Жоржем, а там уж пора ужинать и на практикум. «Практикумом» Жорж называл вояжи в оперетку, танц-зал, бордель или какое другое светское место.

По утрам Сенька дрых допоздна, а встанешь, умоешься — уже и Маса тут как тут. И снова-здорово, чисто белка в колесе.

Пару раз, вместо практикума, заглядывал на Хитровку к Ташке — после темна и, конечно, не в сюртуке-фраке, а в прежней одежде. Как говорил Жорж, *апашем*.

Делал это так.

Нанимал на Трубе степенного, трезвого извозчика и непременно чтобы с номером, ехал на нем до Лубянки. Переодевался прямо в коляске, спустив пониже кожух.

На Лубянке, уже преобразовавшись из негоцианта в апаша, оставлял ваньку дожидаться. Плохо ли — сиди себе, спи, по целковому за час. Только уговор: с козел сходить ни-ни, не то вмиг одежду с сиденья попрут.

Упрямая Ташка денег, какие Сенька давал, не брала. И от своих шалавских занятий отходить не желала, потому что гордая. Деньги, говорила, от мужчины кто берет — не за работу, а просто так? Либо маруха, либо супруга. В марухи я к тебе идти не могу, как мы есть с тобой товарищи. В супруги тоже не согласная, из-за французки (не то чтоб Сенька ее жениться звал — это уж Ташка сама себе напридумывала). Сама сколько требуется заработаю. А не хватит, вот тогда ты мне поможешь, как товарищ.

Однако от Сенькиных рассказов про его новую светскую жизнь заиграла и в Ташке амбиция или, иначе сказать, честолюбие. Захотелось ей тоже карьеру произвести — из уличной мамзельки в «гимназистки» подняться, тем более и возраст был подходящий.

«Гимназистки» улицу не утешают, клиентов им сводня поставляет. Работа против уличной лахудры не в пример легче и денежней.

Тут первое — платье гимназическое купить, с пелериной, но на это у Ташки отложено было.

Сводня знакомая тоже имелаась. Баба честная, надежная, за клиентов всего треть себе берет. А клиентов, ко-

торые гимназисток ценят, полным-полно. Люди всё солидные, в возрасте, при деньгах.

Одна только была трудность, такая же, как у Сеньки: культурности не хватало, бонтонно разговор повести. Ведь клиент, он верить должен, что к нему настоящую гимназистку привели, а не мамзельку переодетую.

Потому Ташка тоже стала французские слова и всякие изящные выражения учить. Сочинила себе жизненную историю, стала Сеньке рассказывать. Пока еще не твердо все слова помнила, подглядывала по бумажке. Вроде как она гимназистка четвертого класса, инспектор ее совратил, цветок невинности сорвал, всяким кунштюкам обучил, и вот теперь она тайком от маман и папан зарабатывает себе женским местом на конфетки и пирожные.

Скорик историю послушал и как человек со светским опытом предложил кое-что подправить. Особенно же советовал в рассказ матершину не вставлять.

Ташка такому совету удивилась — она, хитровская порода, разницы между приличными и похабными выражениями понимать не умела. Тогда он ей все матюгальные слова на листочке написал, чтоб запомнила. Ташка обхватила голову руками, стала повторять:,,, Сенькины уши, приобывшие к культурному, или еще лучше сказать, цивилизованному разговору, от этого прямо вяли.

А еще Ташка с прошлой Сенькиной дачи купила себе щенка пуделя. Был он маленький, беленький, шепутной и несказанно нюхастый. Сеньку со второго раза уже узнал, обрадовался, запрыгал. Все Ташкины цветы различал и на каждый тывкал по-особенному. Имя ему было Помпоний, попросту Помпошка.

Когда Скорик к Ташке во второй раз заглянул — рассказать, как с братишкой повидался, и новый зуб показать (ну и еще одно дело было, денежное), товарка на него накинулась:

— Чего приперся? Ты что, не видал, у меня на окне красный мак? Забыл, что это значит? Я ж тебя учила! Опасность, вот что! Не ходи ты на Хитровку, Князь тебя ищет!

Сенька и сам про это знал, да как было не прийти? Из-за светской учебы и особенно Жоржевых практикумов от двух тысяч у него уже едва четверть оставалась. В неделю полторы тысячи спустил, вот какой с ним приключился дезастр. Срочно требовалось упрочить финансовый статут.

Слазил в подземелье, упрочил.

Хотел взять два прута, но передумал — хватит и одного. Нечего попусту шиковать, денежка счет любит. Пора жить по правильному принципу.

Ювелир Ашот Ашотыч Сеньке как родному обрадовался. Сторожить лавку доверил попугаю, повел гостя за шторку, коньяком-бисквитом угостил.

Скорик бисквит сжевал, коньячку тоже отхлебнул, самым культурным манером, и только после предъявил ювелиру прут, но в руки не дал. Потребовал не четыреста рублей — тысячу. Согласится или нет?

Дал Самшитов тысячу, слова не сказал!

Стало быть, правда в книге судьи Кувшинникова написана, про настоящую-то цену.

Ювелир все подливал коньяку. Думал, напьется хитровский недоумок, сболтнет лишнее. Спросил, будут ли еще прутья и когда.

Сенька ему хитро:

— По тысяче пруты закончились, один только и был. Вы меня, господин Самшитов, с заказчиком сведите, тогда, может, еще появятся.

Поморгал Ашот Ашотыч чернильными глазами, пососпел, однако понял — были дураки, да все вышли. А моя комиссия, спрашивает.

— Как положено — двадцать процентов.

Тот заволновался. Двадцать мало, говорит. Настоящих клиентов только я знаю, без меня вам на них не выйди. Надо тридцать процентов дать.

Поторговались, сошлись на двадцати пяти.

Оставил Скорик ювелиру адрес, куда в случае чего весточку послать, и пошел, очень собой довольный.

Самшитов вслед:

— Так я могу надеяться, господин Скориков?

И попугай Левончик, хрипло:

— Господин Скорриков! Господин Скорриков!

Дошел до извозчика, переоделся в приличный вид, но в пролетке не поехал, отправился домой пешком. Не шиковать — значит не шиковать. Лишний полтинник, конечно, трата не грандиозная, однако раз по принципу, значит, по принципу.

На углу Цветного бульвара обернулся — так, помешалось что-то.

Глядь — под фонарем фигура знакомая. Проха! От Хитровки следил, что ли?

Скорик к нему, ворюге, бросился, ухватил за грудки.

— Отдавай котлы, паскуда!

Сам-то уж почти неделю с новыми котлами ходил, золотыми, но то не Прохина печаль. Утырил у своего — отвечай.

— Красно нарядился, Скорик, — процедил Проха и высвободился рывком. — А по харе, гнида, не хошь?

И руку в карман, а там, Сенька знал, свинчатка или чего похуже.

Тут свист, топот. Городовой несется — защищать приличного юношу от шпаны.

Проха дернул вверх по Звонарному, в темноту.

То-то, пролетарий штопанный. Тут тебе не Хитровка, а чистый квартал. Ишь чего удумал — «по харе».

КАК СЕНЬКА СТАЛ ЛЮБОВНИКОМ СМЕРТИ

Жадней всего из преподанных Масой уроков Сенька внимал самой главной из наук — как покорять женские сердца.

По этой части японец оказался дока и в смысле побаловать, и в смысле покобелиться. Нет, лучше будет так сказать: как в теории, так и в практике.

Сенька долго удивлялся, как это мадам Борисенко от кривоногового, щелеглазого млеет, такую симпатию ему оказывает. Раз вышел завтракать раньше положенного, когда другие постояльцы еще не спустились — ух ты! Хозяйка у Масы на коленях сидит, толстую щеку ему нацеловывает, а он только жмурится. Увидела Скорика, ойкнула, покраснелась, да из комнаты вон, будто девчонка какая. А самой-то, наверно, лет тридцать, если не больше.

Не выдержал, спросил — в тот же день, во время рекреации после утреннего мордобоя. Как, мол, вам, Маса-сенсей, такое от женщин счастье? Научите сироту, явите такую милость.

Ну, японец и прочел целую лекцию, навроде той, куда Жорж однажды Сеньку в институт водил. Только говорил понятней, чем профессор, хоть сам и иностранный человек.

Если коротко пересказать, премудрость выходила такая.

Чтобы отворить женское сердце, нужно три ключа, учил Маса. Уверенность в себе, загадочность и *подход*. Первые два — это просто, потому что зависят только от тебя самого. Третье — труднее, потому что тут нужно понимать, какая перед тобой женщина. Это называется знание души, а по-научному психология.

Женщины, объяснил Маса, не все одинаковые. Делятся на две породы.

— Только на две? — поразился Сенька, который слушал очень внимательно и жалел лишь об одном — под рукой не было бумажки записать.

Только две, важно повторил сенсей. Те, которым в мужчине нужен папа, и те, которым нужен сын. Главное — правильно определить, женщина какой породы перед тобой, а это с непривычки непросто, потому что женщины любят притворяться. Зато если определил, всё остальное — пустяки. С женщиной из первой породы нужно быть папой: про жизнь ее не расспрашивать и вообще поменьше разговаривать, являть собой отеческую строгость; с женщиной второй породы нужно делать печальные глаза, вздыхать и больше смотреть на небо, чтобы она поняла: без мамы ты совсем пропадешь.

Если же тебе от женщины не нужно души, а хватит одного лишь тела, продолжил далее учитель, тогда проще. Сенька торопливо воскликнул:

— Хватит-хватит!

В этом случае, пожал плечами Маса, слова вообще не нужны. Громко дыши, делай глазами вот так, на умные вопросы не отвечай. Душу свою не показывай. Иначе нечестно получится — тебе ведь от женщины души не нужно. Ты для нее должен быть не человек, а зверушка.

— Кто? — не сразу понял Скорик. — А, зверушка.

Маса с удовольствием повторил звучное слово. Да, сказал, зверушка. Которая подбежит, понюхает под хвостом и сразу сверху залезает. От женщин все хотят, чтобы они стеснялись и целомудрие изображали, женщины от этого устают и скупают. А зверушку чего стесняться? Она ведь зверушка.

Долго еще сенсей про всякое такое поучал, и Сенька, хоть не записывал, но запомнил науку слово в слово.

А на следующий день как раз и подходящий практикum подвернулся.

Жорж позвал ехать в Сокольники на пикник (это когда едут в лес, а там на траве сидят и едят руками, попростому). Сказал, позовет с собой двух курсисток. За одной он давно ударяет, а вторая, сказал, в самый раз для тебя будет (они уж к тому времени на брудершафт

выпили, на «ты» перешли, чтоб проще). Современная барышня, говорит, без предрассудков.

Сенька спрашивает, шалава, что ли?

— Не совсем, — уклончиво ответил Жорж. — Сам увидишь.

Сели в шарабан, поехали. Скоро Сеньке стало ясно: надул его студент. У самого-то девка пухленькая, разбитная, всё хохочет, а товарищу подсунул какую-то тарань сушеную, в очках, с поджатыми губами. Видно, нарочно подгадал, чтоб мымра эта не мешала ему за ейной подружкой ухлестывать.

Пока ехали, очкастая тарабанила про непонятное: Ницше там, фигище, Маркс-шмаркс.

Скорик не слушал, думал про свое. По Масиной науке выходило, что, если подъехать по-умному, с психологией, то любую бабу уделать можно, даже такую фрю. Как он там учил? Простые, говорил, любят галантность и мудреные слова, а с образованными, наоборот, надо попроще и поглубее.

Попробовать что ли — заради проверки?

Ну и попробовал.

Она спрашивает:

— Что вы, Семен, думаете о теории социальной эволюции?

А он — молчок, только усмехается.

Она занервничала, глазами захлопала. Вы, говорит, наверное, сторонник насильственного преобразования общественных институтов? А он голову слегка наклонил и угол губы дюйма на полтора в сторону — вот и весь ответ.

В парке, когда Жорж свою хохотушку повел на лодке катать (Сенькина-то не захотела, сказала, что у ней от воды головокружение), пришло время действовать.

От Скориковой загадочности барышня вовсе в раж впала — тараторит, тараторит, остановиться не может. Посреди длиннющей речи про каких-то Прудона и Бакунина он наклонился вперед, обнял очкастую за костлявые плечи и крепко-крепко поцеловал в губы. Она только пискнула. Руками уперлась в грудь — Сенька уж хотел отпустить, ведь не насильник какой. Был в полной

готовности и по харе получить. С такими ручонками, чай, скулу не свернет.

Упереться-то она уперлась, однако не отпихнула. Сенька удивился, давай дальше целовать, а руками начал ей ребра щупать да пуговки сзади на платье расстегивать: может, опомнится?

Курсистка забормотала:

— Вы что, Семен, вы что... А правду Жорж говорит, что вы... Ах, что вы делаете!.. Что вы пролетарий?

Сенька для большей зверообразности тихонько рыкнул и совсем обнаглел, руку под платье запустил, где расстегнуто. Там у барышни сверху была голая спина, с торчащими позвонками, а ниже шелковое белье.

— Сумасшедший, — сказала курсистка, задыхаясь. Очки у нее сползли на сторону, глаза полузакрылись.

Сенька еще с минуту руками по ней там-сям повозил, чтоб окончательно удостовериться в правильности Массиной теории, и отодвинулся. Больно костиста, да и не для баловства затевалось, а для научного опыта, или, выражаясь культурно, эксперимента.

Когда из Сокольников обратно ехали, ученая девица рта не раскрывала — всё на Сеньку пялилась, будто ждала чего, а он про нее и думать забыл, такое в нем происходило потрясение.

Вот она, сила учения! Наука всё преодолеть может!

Назавтра ни свет ни заря поджидал Маса у входа.

Дождался, увел к себе в комнату, даже не дал чаю попить.

Попросил Христом-Богом: обучите, сенсей, как мне одну обожаемую особу сердечно завоевать.

Маса ничего, никакой насмешки над Сенькиной эмоцией не сделал. Велел подробно разобъяснить, что за особа. Скорик всё, что про Смерть знал, рассказал, а под конец дрожащим голосом спросил:

— Что, дядя Маса, никак невозможно мне такую лебедь стрелой Амура сразить?

Учитель руки на животе сложил, почмокал губами. Отчего же, говорит, невозможно? Для настоящего кави-

лера всё возможно. И дальше сказал непонятное: «Смерть-сан — женщина руны». Оказалось, «женщина Луны». Бывают, говорит, женщины Солнца и женщины Луны, такими уж на свет рождаются. Я, говорит, больше женщин Солнца люблю, но это дело вкуса. А к женщинам Луны, как твоя Смерть-сан, нужно, говорит, вот как подступать — и разъяснил Сеньке всё в доскональности, дай ему Господь доброго здоровичка.

Вечером того же дня Сенька отправился к Смерти — искать своего счастья.

Поехал не как раньше собирался: при белом галстуке, с букетом хризантем, а снарядился по всей Масиной науке.

Надел старую рубашку, некогда Смертью заштопанную, да еще и подмышку нарочно порвал. Купил на толчке стоптанные штиблетишки. На портки, совсем целые, пришил сверху заплату.

Поглядел на себя в зеркало — чуть сам не прослезился. Пожалел только, что накануне зуб вставил — щербатым вышло бы еще жалостней. Но рассудил, что, если рот не разевать, золото сильно сверкать не будет.

Однако всё чистое было, стираное, и сам в баню сходил. Маса наказал: «Бедненько, но тистенько, грязных кавареров они не рюбят».

Слез с извозчика на углу Солянки, поднялся вверх по Яузскому бульвару. Постучал — громко, но сердчишко все равно шумней колотилось.

Смерть открыла опять без спросу, как прежде.

— А, — сказала. — Стриж прилетел. Давно тебя не видно было, заходи.

Сеньке показалось — рада, и на душе сразу немножко растиснулось.

Памятуя о зубе, рта не раскрывал, да сенсей и не велел без крайней нужды языком болтать. Полагалось глядеть чисто, доверчиво и мигать почаще — и только.

Зашли в горницу, сели на диван, рядышком (это Сеньке тоже показалось добрым знаком).

Прическу ему на Неглинном сделали особенную, «мон-анж» называется: вроде растреп растрепом и прядка на лоб свисает, но пушисто, трогательно.

— Думала я про тебя, — сказала Смерть. — Жив ли? Не оголодал ли? Ты долго у меня не сиди. Неровен час кто Князю донесет. Он, зверь, на тебя ярится.

Тут в самый раз было заготовленное сказать. Сенька на нее из-под льняной прядки посмотрел, вздохнул.

— Я с тобой попрощаться пришел. Всё одно не сносить мне головы, найдут они меня и порежут. Пускай режут, нет моей мочи в ихних душегубствах участвовать. Противоречит это моим принципам.

Смерть только удивилась:

— Ты где это слов таких понабрался?

Ай, неправильно сказал. Не умничать надо, свою ученость показывать, а на жалость бить.

— Оголодал я, Смертушка, меж людей скитаться. — Скорик ресницами помигал — ну как слеза выкатит? — Воровать совестью, христарадничать зазорно. Ночи нынче холодные стали, осень уже. Дозволь обогреться, хлебца кусочек покушать и пойду я себе дальше.

Разжалобил самого себя — аж всхлипнул.

Вот это было правильно. У Смерти тоже глаза мокрым блеснули.

По голове его погладила, бросилась стол накрывать.

Сенька даром что сытый был (перед выходом пуля-рочки с артишоками навернул), но ситный с колбасой мял усердно и молоком хлюпал. Смерть сидела, подперев рукой щеку. Вздыхала.

— Чистый-то какой, — умилилась. — И рубашка свежая. Постирал кто?

— Кто мне стирает? Сам обхожусь, — лучисто поглядел на нее Сенька. — С вечера в речке рубаху с портами простирну, к утру высохнет. Зябко, конечно, голому, но надо себя блюсти. Ветшает только рубаха-то. Оно бы ничего, да вышивки твоей жалко. — Погладил ладонью нитяной цветок, закручинился. — Вишь, рубаха под мышкой лопнула.

Смерть, как тому и следовало, говорит:

— Снимай, зашью.

Снял.

Мамзель Лоретта, которая из практикума, говорила: плечики у вас, кавалер, красивые, чисто сахарные, и ко-

жица такая нежная, прямо съела бы. Вот Сенька свои сахарные плечи и развернул, а руками себя посиротливей за бока обхватил.

Смерть иголкой мельтешит, а сама на Сенькину белизну поглядывает.

— Один только миг в моей злосчастной жизни и был, во всей судьбе моей горемычной, — тихо, проникновенно сказал Скорик. — Когда ты меня, сироту, поцеловала...

— Неужто? — изумилась Смерть, даже шить перестала. — Такое это для тебя счастье?

— И словами не обсказать, какое...

Она отложила рубаху.

— Господи, — говорит, — да давай я тебя еще поцелую — не жалко.

Он зарозовелся весь (это уж естественным манером получилось).

— Ах, тогда и помереть не страшно...

Но руки пока держал при себе и глазами мигал не дерзко, а робко.

Смерть подошла к нему, наклонилась. Глаза ласковые, влажные. Погладила по шее, по плечу, и нежно так, по-доброму приложилась к Сенькиным губам.

Тут его будто в печку, в самое пламя, кинуло. Позабыл он про всю сенсееву науку, рванулся вверх, навстречу Смерти, обнял ее что было сил и давай целовать, а сам от горячности только вдыхает мятный, пьяный аромат ее волос — ах, ах — и выдохнуть не может, жалко.

И случилось тут что-то, ей-богу случилось! Ненадолго, может, на несколько секундочек всего, налилось вдруг тело Смерти таким же ответным жаром, и поцелуй ее из мягкого, материнского стал жадным, требовательным, твердым, а руки заметались по Сенькиной спине.

Но кончились невозможные секундочки — она расцепила Скориковы объятия, отшатнулась.

— Нет, — говорит, — нет. Ну тебя, чертенок, не соблазняй. Чего нельзя, того нельзя.

Головой затрясла, будто отгоняла какую химеру (это так говорят, когда привидится небывальщина), ладонью себе по глазам провела — и стала всегдашняя, спокойная. Помотрела на Сеньку с лукавой улыбкой.

— Ух, змей, от горшка два вершка, а хитрющий. Наплачутся от тебя девушки.

А Скорик из печки-то еще не вылез, не понял еще, что всему конец, и сунулся к Смерти снова обнять. Она не отстранилась, но и не шевельнулась — это все равно было, как статую какую обнимать.

Вдруг сзади голос, с дрожанием:

— Ах вот ты с кем, сука!

Сенька обернулся и закоченел.

На пороге стоял Князь — рожа перекошена, глазищи сверкают. Ну да, дверь-то с улицы не заперта, вот и вошел, а им не слышать было.

— Кого в любовники взяла, паскуда! Кутенка! Глистеныша! В надсмешку, что ли?!

Шагнул к помертвевшему Сеньке, схватил за шею, вверх рванул — пришлось на цыпки привстать.

— Убью, — шипит. — Башку сверну.

И ясно было — сейчас свернет. Хорошо еще, что недолго мучиться. А то начал бы, как тому барышнику, уши резать и в рот совать или, того хуже, глаза бы повыколол.

Сенька отвернулся, чтоб Князевой рожи не видеть — и без того ужасно было. Решил, лучше в последний миг на Смерть посмотреть, пока душа из плоти не отлетела.

И увидел чудо-чудное, диво-дивное: как берет Смерть со стола крынку с недопитым молоком и с размаху бьет ею фартового по макушке.

Князь удивился, Сеньку выпустил и на пол сел. За голову держится, меж пальцев кровь с молоком течет.

Смерть крикнула:

— Что встал? Беги!

И рубаху недозашитую сует.

А Сенька не побежал. Кто-то другой, как бы второй Сенька, изнутри его, сказал:

— Айда со мной. Убьет он тебя.

— Не убьет, — ответила она, и так спокойно, что Сенька сразу поверил.

Князь морду повернул, глаза мутные, бешеные. Рванул-ся встать, покачнулся, ухватился за стол — не совсем еще вошел в разум, ноги плохо держали. Однако прохрипел:

— Москву переверну, а найду. Под землей не спрячешься. Зубами жилы вытяну!

Так страшен был, что Скорик в голос заорал. Дунул со всех ног, с крыльца кубарем слетел и заметался: куда бежать-то, куда?

А туда, подсказал ему второй, внутренний Сенька, оказавшийся поумней и покрепче первого. Туда, куда Князь сказал: под землю. Как бы не пришлось из Москвы эмиграцию делать. Князь теперь и вправду не угомонится, пока сироту не изведет.

Ну а коли так, нужно запастись деньгами.

Наведалься в заветный подвал снова. Взял много, целых пять прутков. Решил, что торговаться с ювелиром не станет, отдаст по тысяче. Пускай радуется Ашот Ашотыч своей фортуна.

Только не довелось Самшитову попользоваться Сенькиной щедростью.

Когда Скорик вышел на Маросейку, то увидел перед ювелирной лавкой двух городских, а внутри — через стеклянную витрину было видно — толпились синемундирные.

Вот те на. Доторговался Ашот Ашотыч казенным серебришком. Не иначе донес на него кто-нибудь. А может, судья Кувшинников еще вострей оказался, чем с виду. Разузнал, у кого из нумизматов появились яузские прутки, да расспросил, через кого приобретены — вот и вся недолга.

Это, положим, ничего, не так страшно. Адреса своего Сенька судье не оставлял. Где клад, кроме него самого тоже никто не знает.

Ищите, псы, ветра в поле.

Ай нет! Армяшке-то про нумера мадам Борисенко было сказано. Выдаст носатый, обязательно выдаст!

Не стал Сенька времени терять, светиться на нехорошем месте. Побежал извозчика брать.

Надо было из нумеров съезжать, пока не сцапали.

В экзистенции обрисовалась тенденция к ухудшению жизненных кондиций, или, попросту сказать, дела были

хреновей некуда: и Князь на хвосте, и полиция, и прутья продать некому, однако Сенька сейчас пребывал в таком кураже, что всё ему казалось трын-трава.

Лошадка цокала копытами и помахивала хвостом, встречный ветер дотрепывал прическу «мон-анж», и жизнь, несмотря ни на что, была замечательная, Сенька качался на сиденье пролетки совершенно счастливый.

Пусть недолго, считанные миги, но он был-таки любовником Смерти, почти что самым настоящим!

КАК У СЕНЬКИ РАЗВЯЗАЛСЯ ЯЗЫК

В тот же вечер Скорик поменял квартиру. Хотел с Жоржем попрощаться, да того носило где-то. Так и уехал по-английски, как последняя свинья. К извозчику его провожала одна мадам Борисенко, перенесшая часть сердечной расположенности к Масае и на его ученика. Со страхом спросила:

— А Масаил Мицуевич теперь что же, заходить не будут?

— Завтра с утра непременно появятся, — пообещал Сенька, еще не решивший, будет ли извещать японца о смене местожительства. — Передайте, Семен Скориков благодарил за заботу и желал здравствовать.

Чтоб быть от Князя подальше, заехал к черту на кулички, аж за Пресню. Остановился в гостинице для железнодорожных служащих. Хорошее место: никто никого не знает, ночку человек переночевал и поехал себе дальше.

Заодно уж и имя поменял, для пущей конспирации, чтоб совсем концы в воду. Думал сначала назваться как-нибудь обыкновенно, а после решил: уж менять, так на что-нибудь звучное, красивое, в тон новой жизни. Записался в книге постояльцев Аполлоном Секандровичем Шопенгауэром, коммивояжером.

Ночью снилось всякое разное. То жаркое, сладострастное — про Смерть, то жуткое — как в окно Князь лезет с ножом в зубах, а он, Сенька, в одеяле запутался и из кровати вылезти не может.

Это ночью, а на рассвете Скорик проснулся от громкого стука в дверь.

Сел, за сердце схватился. Думал — Князь с Очком его сыскали. Хотел по трубе водосточной тикать в чем был, то есть считать вовсе без ничего, но из коридора донесся голос Масы:

— Сенька-кун, дзиво отворяй!

Уф! Прямо не сказать, какое Сеньке от этого было облегчение. Даже не задумался, как японец его так быстро на новом месте нашел.

Отодвинул засов, и в комнату быстро вошел Маса, а за ним (вот это да!) Эраст Петрович, собственной персоной. Оба хмурые, строгие.

Маса у стенки встал, а его господин взял Сеньку за плечи, повернул лицом к окну (свет был еще ранний, сумеречный) и деловито сказал:

— Ну, Аполлон Секандрович, хватит д-дурака валять. Нет у меня больше времени возиться с вашей загадочной личностью. Рассказывайте всё, что знаете: и про убийство Синюхиных, и про убийство Самшитовых. Этому нужно положить конец!

— Сам... Самшитовых?! — поперхнулся Скорик. — А я д-думал...

Его тоже в заикание повело — заразился, что ли?

— Одевайтесь, — приказал Эраст Петрович. — Едем.

И больше пока ничего объяснять не стал, вышел в коридор.

Натягивая брюки и рубашку, Сенька спросил сенсея:

— Как вы меня нашли-то?

— Номер проретки, — ответил тот коротко, и Сенька понял: мадам Борисенко запомнила номер извозчика, а тот рассказал, куда отвез седока.

Вот тебе и конспирация, вот тебе и концы в воду.

— А куда едем?

— Смотречь место преступления.

О Господи, что за охота! Но перечить Сенька не решился. Эти силком, за шиворот поволокут — знаем, кушали.

Всю дорогу до Маросейки Сенька сильно нервничал, и чем дальше, тем больше. Так, выходит, не заарестовали Ашот Ашотыча? Порешили? Эраст Петрович сказал «Самшитовы» — это значит, супружницу тоже? Кто, грабители? А причем тут он, Сенька Скориков?

Полицейских перед лавкой не было, но на двери висела веревка с печатью, а внутри горел свет. На улице пока

было пусто, магазины еще не открылись, а то бы обязательно народ столпился.

В дом вошли со двора, через черный ход. Там поджидал чиновник в синем мундире — тихий, неприметный, в очочках.

— Как вы долго, — укорил он Эраста Петровича. — Я же просил... Протелефонировал вам в полночь, а сейчас половина шестого. Я рискую.

— Извините, Сергей Никифорович. Понадобилось разыскать важного с-свидетеля.

Хоть Сеньку и называли «важным», но не больно ему это понравилось. Чего это «свидетель»-то?

— Рассказывайте, — попросил Эраст Петрович чиновника. — Что удалось установить при первичном осмотре?

— Пожалуйте сюда, — поманил очкастый Сергей Никифорович. Прошли в комнаты. — Здесь, в задней части лавки, у ювелира было что-то вроде конторы. Жилые покои наверху. Однако туда преступник не поднимался, всё произошло здесь. — Он заглянул в блокнот. — Врач полагает, что Самшитову Нину Акоповну, сорока девяти лет, убили первой, ударив тяжелым предметом в висок. Тело лежало вот здесь.

На полу у двери была нарисована мелом человечья фигура, не очень похоже, а сбоку темнело пятно. Кровь, догадался Сенька и содрогнулся.

— Самшитова Ашота Ашотовича, пятидесяти двух лет, преступник связал, усадил вот в это кресло. Как видите, всюду кровь: на изголовье, на подлокотниках, на полу. Причем и венозная, и артериальная, разной пульсационной упругости... Простите, Эраст Петрович, я невнятно пересказываю, плохо владею медицинской терминологией, — смутился чиновник. — Вы мне когда еще пеняли, чтобы подучился, да новое начальство не требовало, вот руки-то и не дошли...

— Неважно, — перебил его Эраст Петрович. — Я понял: Самшитова перед смертью пытали. Резали ножом?

— Вероятно. Или же тыкали колющим предметом.

— Г-глаза?

— Что «глаза»?

— Глаза у трупов выколоты?

— А, вы про хитровские убийства... — Сергей Никифорович покачал головой. — Нет, глаза не выколоты, и вообще картина преступления несколько иная. Посему это расследование решено выделить в особое производство, отличное от дела о Хитровском Слепителе.

— Хитровский Слепитель? — поморщился Эраст Петрович. — Что за г-глупое название! Я думал, его употребляют только газетчики.

— Это пристав Третьего Мясницкого участка полковник Солнцев придумал. Репортеры так и ухватились, хотя, конечно, с грамматической точки зрения...

— Ладно, черт с ней, с грамматикой, — сказал Эраст Петрович, пройдясь по комнате. — Пройдем на второй этаж?

— Незачем. Совершенно очевидно, что убийца туда не поднимался.

— Убийца? Не убийцы? Установлено, что преступник б-был один?

— Видимо, так. Соседи показали, что Самшитов никогда не обслуживал и даже не пускал в лавку более одного посетителя, сразу запирал дверь. Очень боялся ограбления, ведь Хитровка близко.

— Следы г-грабежа?

— Никаких. Даже в лавке ничего не взято, хотя там в стеклянной витрине лежали кое-какие безделушки — правда, невеликой ценности. Я же говорю: всё произошло в этой комнате.

Эраст Петрович покачал головой, вышел в лавку. Чиновник и Маса за ним. Сенька тоже, чтоб не оставаться одному в забрызганной кровью комнате.

— А это что? — показал Эраст Петрович на птичью клетку.

В ней, откинув хохластую башку, валялся попугай Левончик.

Сергей Никифорович пожал плечами:

— Попугаи — птицы нервные, чувствительные к шуму. А тут, поди, криков и стонов было... Сердчишко не выдержало. Или, может, не покормили его вовремя.

— Дверца открыта. Да и... Э-э, гляди-ка, Маса. — Эраст Петрович взял трупик в руку, передал японцу.

Тот поцокал языком:

— Баську свернури. Убийство.

— Да, жалко эксперт не освидетельствовал, — хмыкнул полицейский — видно, решил, что азиат шутит, но Сенька-то знал: для сенсея душа она и есть душа, хоть человеческая, хоть птичья.

— Как понизился профессионализм московского сыска, — печально молвил Эраст Петрович. — Десять лет назад подобная небрежность была бы невообразима.

— И не говорите, — еще горше вздохнул Сергей Никифорович. — Сейчас не то что при вас. Верите ли, никакого удовольствия от работы. Одной результативности требуют, а доказательность никого не заботит. О торжестве справедливости и вовсе говорить нечего. У начальства другие заботы. Между прочим, — понизил он голос, — я не стал по телефону... Ваше пребывание в Москве не составляет тайны. Я по случайности видел на столе у полицмейстера секретное предписание установить ваше местопребывание и организовать негласную слежку. Кто-то вас видел, узнал и донес.

Эраст Петрович этому известию несколько не расстроился, а даже, кажется, был польщен:

— Немудрено, меня в Москве знают многие. И, видно, не забывают. Благодарю вас, Субботин. Я знаю, как вы рисковали, и ценю. П-прощайте.

Он пожал очкастому руку, а тот сконфуженно пробормотал:

— Ерунда. Вы бы все же поосторожней... Кто их знает, что у них на уме. Его высочество злопамятен.

У кого «у них» и что за «высочество», Сенька не понял.

Из Самшитовского двора вышли переулком в Лубянский проезд, оттуда повернули к скверу.

У первой же скамейки Эраст Петрович жестом пригласил: присядем.

Сели. Сенька посередке, эти двое по бокам. Чисто арестант под конвоем.

— Ну-с, господин Шопенгауэр, — повернулся к нему Эраст Петрович. — Поговорим?

— А чего я-то? — пробурчал Скорик, предвидя нехорошее. — Я знать ничего не знаю.

— Дедукция доказывает обратное.

— Кто-кто? — обрадовался Сенька. — Я Дедукции вашей в глаза не видывал. Врет она всё, стерва!

Эраст Петрович дернул углом рта.

— Эта дама, Скориков (давайте я уж лучше буду вас так называть), никогда не врет. Помните серебряную копейку семнадцатого столетия, которую я нашел в кармане убитого Синюхина? Разумеется, помните — вы тогда еще подчеркнуто ею не заинтересовались. Откуда у нищего к-каляки этакая нумизматическая диковина? Это раз. Идем далее. На месте убийства вы, Скориков, старательно отворачивались, а то и зажмуривались, хотя, по Масиным наблюдениям, отсутствием любопытства не страдаете. Изумления и ужаса, естественных при подобном зрелище, тоже не проявляли. Согласитесь, странно. Это два. Далее. В тот день у вас в кармане, как и у Синюхина, позвякивало серебро, и довольно звонко. Судя по звуку, монеты были мелкие, каких в наши времена не чеканят. А в руке вы несли палку из чистого серебра, что совсем уж необычно. Откуда серебряные россыпи у вас, хитровского г-гавроша? Это три.

— Обзываетесь, да? На «гэ» сироту ругаете? — набычился Сенька. — Грех вам. А еще приличный господин.

Маса двинул его локтем в бок:

— Когда господзин говорит «это радз, это два, это три», помаркивай. Дедукцию спугнёшь.

Скорик по сторонам оглянулся — никакой дамы вокруг не было. Кого спугивать-то? Однако на всякий случай язык прикусил. Это сенсей пока легонько локотком пихнул, а там может и посерьезней шарахнуть.

Эраст Петрович продолжил, будто его и не перебивали:

— Хоть я и не собирался расследовать это преступление, потому что занят совсем д-другим делом, но ваше поведение меня заинтриговало, и я поручил Масае присмотреть за вами. Однако новое жестокое убийство, о

котором мне нынче ночью сообщил мой давний сослуживец, изменило мои намерения. Я должен вмешаться в эту историю, потому что власти явно не в силах найти убийцу. Следствие даже не видит, что эти преступления — звенья одной цепи. Почему я так считаю, хотите вы спросить? — Ничего такого Сенька спросить не хотел, однако спорить со строгим человеком не стал. Пускай говорит. — Дело даже не в том, что от Маросейки до Хитровки, где убили Синюхиных, пять минут хода. В обоих этих злодеяниях налицо две п-принципиально сходные черты, встречающиеся слишком редко для того, чтобы их можно было счесть случайным совпадением. Убийца явно преследует некую грандиозную цель, ради которой не отвлекается на мелочи вроде цепочек и медальончиков из витрины ювелирной лавки. Это раз. А еще впечатляет дьявольская осторожность, понуждающая преступника не оставлять никаких свидетелей, ни единого живого существа, даже такого безобидного, как трехлетний младенец или п-птица. Это два. Ну, а теперь о вас, Скориков. Я совершенно уверен, что вы многое знаете и можете мне помочь.

Сенька, настроившийся дальше слушать про душегуба, от такой неожиданной концовки вздрогнул, поежился под пристальным взглядом голубых глаз, крикнул:

— Ну завалили ювелира этого, а я при чем?!

Маса снова двинул его локтем, уже сильнее.

— Про сопривого марьтиську забыр? Который на тебе рубрь заработар? Он видер, как ты в равку серебряные паркы носир.

Понял Скорик: не отпереться, потому перешел с базарного крику на хныканье:

— Чего надо-то, спрашивайте толком... А то пужают, ребры локтем бьют...

— Б-бросьте приbedняться, — сказал Эраст Петрович. — Маса характеризует вас самым лестным образом. Говорит, что вы нежестокосердны, что у вас пытливый ум, и — самая ценная человеческая черта, что вы стремитесь к самоусовершенствованию. Раньше, до этого последнего преступления, Маса просто спрашивал вас, не

надумали ли вы поделиться с нами вашей тайной. Он был уверен, что рано или поздно заслужит ваше доверие и вы захотите облегчить перед ним д-душу. Теперь же ждать некогда. Я требую от вас — уже безо всякой деликатности — ответа на два вопроса. Первый: чего ищет убийца? И второй: что вам известно об этом человеке?

Маса закивал головой: давай, мол, не трусь, говори.

Ну, Сенька всё и рассказал — как на духу. И про колоду, и про Очка, волчину мокрушного, и про Смерть, и про то, что Князь его, Сеньку, из-за ревности извести хочет.

Ну, то есть, не совсем, конечно, всё. Про клад уклончиво помянул — мол, вроде есть такой, а правда ли, нет ли, то ему, Скорику, неизвестно. Ну так ведь и на духу тоже не совсем уж всю правду говорят, верно?

— Значит, по-вашему, Скориков, выходит, что Синюхина этот самый Князь с валетом истребили, желая выпытать тайну клада? — спросил Эраст Петрович, дослушав не очень складный Сенькин рассказ. — А к антиквару Князь наведася, чтобы узнать ваш адрес?

— Само собой. Проха ему донес, крысенок. Видел он меня подле лавки, я же говорил! Потому и не пограблено ничего, что Князю мелкие цацки — тьфу. Ему до меня добраться нужно.

— А вы уверены, что Князь вас ищет из одной лишь ревности? — Эраст Петрович наморщил гладкий лоб, будто не совсем что-то понимая. — Может, вы ему из-за к-клада нужны?

У Сеньки внутри все так и заныло: догадался, обо всем догадался хитроумный барин! Вот сейчас пристанет: говори, где серебряный хворост спрятан.

Чтоб потянуть время, Скорик затараторил:

— Ужас как ревнует! Лучше бы к Очку своему ревновал! Тот тоже к Смерти шастает. Он ей — марафет, а она ему — известно чего. Но не от шалавства это. Что с нее взять, марафетчицы над собой невластные. Хворь это у них такая...

— В Приязье в старину, кажется, был монетный двор, где серебряную монету чеканили, — задумчиво произ-

нес Эраст Петрович, когда Скорик запнулся — воздуху набрать. — Ладно, про клад мне сейчас неинтересно. Скажите-ка лучше, Скориков, не можете ли вы меня познакомить с этой интригующей особой, которая свела с ума весь фартовый б-бомонд? Говорите, ее зовут Смерть? Какое декадентское имя.

У Сеньки от сердца отлегло.

— Познакомить можно. А что со мной-то будет, а? Не выдадите меня Князю?

КАК СЕНЬКА ВИДЕЛ СОБАЧЬЮ СВАДЬБУ

Не выдал Эраст Петрович, справедливый человек, сироту на произвол судьбы. Мало того — велел собирать вещички и увез к себе на квартиру, в тот самый Ащеулов переулок, где Сеньке на свою беду (а может, и не на беду, а совсем наоборот — как знать?) взбрело в голову стырить узелок у «китаезы».

Квартира была диковинная, не как у обыкновенных людей.

В одной комнате вовсе никакой мебели не было, на полу полосатые матрасы и боле ничего. Там хозяин с Масой *рэнсю* делают, японскую гимнастику. Посмотреть — ужас что такое. Молотят друг дружку руками-ногами, как только до смерти не убьют. Маса стал и Сеньку звать — вместе метелиться, но тот напугался, на кухню убежал.

Кухня тоже интересная, в ней начальник Маса. Плиты нет вовсе, бочки с капустой-огурцами тоже. Зато в углу большой железный шкаф под названием рефрижератор. В нем завсегда холодно, как в леднике, и на полках лежит сырая рыба. Они, квартирные жильцы, ее кусками режут, коричневым уксусом кропят и прямо так трескают с рисом. Сеньке на завтрак тоже давали, но он не опоганился, одного рису пожевал немножко. И чаю пить не стал, потому что он был невзаправдошный — желтый какой-то и совсем несладкий.

Спать Сеньке определили в комнате у сенсея, а там и кроватей-то нет, одни подстилки на полу, будто в Кулаковской ночлежке. Ладно, рассудил Скорик, лучше поспать на полу, чем в сырой земле с пером в боку. Потерпим.

Чудней всего был хозяйский кабинет. Одно название, а так больше на механическую мастерскую смахивало. Там на полке книжки, по большей части технические, на

чужестранных языках; стол завален листами бумаги с непонятными рисунками (называется «чертежи» — видно оттого, что в них черт ногу сломит); у стен — всякие железки, пружины, резиновые обода и много чего другого. Это потому что Эраст Петрович инженер, выучился в самой Америке. У него и фамилия нерусская: господин Неймлес. Сеньке очень хотелось расспросить, для какой надобности потребны все эти штуковины, но тогда, в первый день Ащеуловской жизни, не до того было.

Спали допоздна, после этакой-то ночи. Как пробудились — господин Неймлес с Масой давай по матрасам прыгать, да кричать, да колошматить один другого, потом, значит, сырятины своей покушали, и повез Сенька Эраста Петровича знакомиться со Смертью.

По дороге меж ними вышел спор про то, какая она, — Смерть, — хорошая или плохая.

Эраст Петрович говорил, плохая.

— Судя по тому, что вы мне рассказали, Скориков, эта женщина упивается своей способностью м-манипулировать людьми, да не просто людьми, а самыми жестокими, безжалостными преступниками. Она осведомлена об их злодействах, безбедно существует на награбленные деньги, однако сама вроде как ни в чем не повинна. Мне знакома эта порода, она встречается во всех странах и во всех слоях общества. Так называемые inferнальные женщины абсолютно безнравственны, они играют человеческими жизнями и судьбами, только эта игра и приносит им удовлетворение. Неужто вы не видите, что она и с вами поиграла, как к-кошка с мышкой?

И так он сердито это говорил, на себя совсем непохоже, будто от тех inferнальных женщин ужасно настрадался, прямо всю жизнь они ему перепахали.

Только Смерть никакая не inferнальная и не безнравственная, а несчастная. Ничего она не упивается, а просто потеряла себя, найти не может. Так Сенька ему и сказал. Даже не сказал — в голос выкрикнул.

Эраст Петрович вздохнул, улыбнулся, но печально, без насмешки.

— Ладно, — говорит, — Скориков. Я не хотел задеть ваши чувства, только, боюсь, вас ждет болезненное ра-

зочарование. Что, она, действительно, так уж хороша, эта хитровская К-Кармен?

Кто такая Кармен, Сенька знал, ходили с Жоржем в Большой театр на нее смотреть. Испанка эта была толстая, крикастая, всё ножищами топала и рукой в жирный бок упиралась, будто крючит ее. Вроде умный человек Эраст Петрович, всё при нём, а ничего в женщинах не понимает. У слуги бы своего поучился, что ли.

— Да Кармен ваша против Смерти жаба болотная, — сказал Скорик и еще сплюнул для убедительности.

На повороте с Покровского бульвара на Яузский Сенька привстал в пролетке и тут же обратно нырнул, вжался в сиденье.

— Вон ейный дом, — шепнул. — Только нельзя к ней сейчас. Трутся там двое, видите? Звать Дубина и Клюв, оба из Упыревой колоды. Увидят меня — беда.

Эраст Петрович наклонился, тронул извозчика за плечо:

— Проезжайте за угол, остановите на Солянке. — И Сеньке. — Кажется, происходит что-то интересное? Вот бы п-посмотреть.

Когда упыревских проехали, Скорик снова распрямился.

— Посмотреть — это навряд ли, а подслушать можно.

И повел Эраста Петровича к потребному дому дворами.

Бочка, какую Сенька к окну еще вон когда подкатил, так и стояла, никуда не делась.

— Всунетесь? — показал Скорик на приоткрытую фортку ватер-клозета.

Господин Неймлес прямо с места, без разбежки, впрыгнул на бочку, потом подпрыгнул еще раз, подтянулся на руках и легко, словно бы играючи, ввинтился в малый квадратик — только каблучки мелькнули. Сенька тоже полез, не так ловко, но все же через небольшое время оказался в нужнике и он.

— Станный способ проникать к д-даме, — прошептал Эраст Петрович, помогая Скорика спуститься. — Что за дверью?

— Горница, — выдохнул Сенька. — В смысле, гостиная. Можно тихонько щелочку приоткрыть, но только совсем чуть-чуть.

— Хм. Я вижу, сей способ наблюдения вами уже запатентован.

На этом разговоры закончились.

Эраст Петрович чуть-чуть, на волосок, шевельнул дверь и припал глазом к щелке. Скорик потыркался и так, и этак (тоже ведь интересно), и в конце концов приспособился: сел на корточки, прижался к бедру господина Неймлеса, лбом к косяку. Короче, занял место в партере.

Увидел такое, что засомневался в зрении — не врет ли?

Посреди комнаты стояли в обнимку Смерть с Упырем, и этот слизень сальноволосый гладил ее по плечу!

Сенька не то вскрикнул, не то шмыгнул носом — сам толком не понял — и был немедленно шлепнут господином Неймлесом по затылку.

— Кралечка моя, — промурлыкал Упырь жирным голосом. — Утешила, усястила. Я, конечно, не Князь, самоцветов тебе дарить не в возможности, но платочек шелковый принесу, индейский. Красоты неопишущей!

— Марухе своей отдай, — сказала Смерть, отодвигаясь.

Он оскалился:

— Ревнуешь? А Манька моя неревнивая. Я вот у тебя, а она за углом на стреме стоит.

— Вот и дай ей, за утружение. А мне твои подарки ни к чему. Не этим ты мне дорог.

— А чем? — еще пуще заулыбался Упырь (Сенька скривился — зубы-то желтые, гнилые). — Вроде Князь ухарь ухарем, только я-то, выходит, лучше?

Она коротко, неприятно хохотнула.

— По мне лучше тебя никого нет.

Этот на нее уставился, глаза прищурил.

— Не пойму я тебя... Хотя баб понимать — понималки не хватит.

Схватил ее за плечи и давай целовать. Сенька от горя лбом об деревяшку стукнулся — громко. Эраст Петрович его снова по маковке щелкнул, да поздно.

Упырь рывком развернулся, револьвер выхватил.

— Кто там у тебя?!

— Экий ты дерганый, а еще деловой. — Смерть брезгливо вытирала губы рукавом. — Сквозняк по дому гуляет, двери хлопают.

Тут свист. И близко — из прихожей, что ли?

Чей-то голос просипел (не иначе Клюв, у него нос проваленный):

— Манька шумнула — пристав с Подколокольного идет. С цветами. Не сюда ли?

— По Хитровке, один? — удивился Упырь. — Без псов? Ишь, отчаянный.

— Будочник с ним.

Упыря из щели как ветром сдуло. Крикнул — верно, уже из сеней:

— Ладно, зазноба, после договорим. Князьку, лосю рогатому, от меня поклонец!

Хлопнула дверь, тихо стало.

Смерть налила из графину коричневой воды (Сенька знал — это ямайский ром), отпила, но не сглотнула, а прополоскала рот и обратно в стакан выплюнула. Потом достала из кармана бумажку, развернула, поднесла к носу. И только когда вдохнула белый порошок, малость оттаяла, завздыхала.

Ну а у Скорика марафета не было, поэтому он сидел весь околеченевший, словно льдом его сковало. Стало быть, честный юноша, с сахарными плечами и прической «мон-анж» ей нехорош, с ним нельзя. А с этим липкогубым, выходит, можно?

Сенька шевельнулся — и снова инженеровы пальцы предостерегающе забарабанили по его макушке: тихо сиди, не время еще себя показывать.

Что же это, Господи? Выходит, верно про нее, безнравственную лахудру, Эраст Петрович говорил...

Но это было еще только начало Сенькиных потрясений.

Минута прошла или, может, две — постучали в дверь.

Смерть качнулась, запахла на груди шаль. Звонко крикнула:

— Открыто!

Раздался звон шпор, и бравый офицерский голос сказал:

— Мадемуазель Морт, вот и я. Обещал, что ровно в пять явлюсь за ответом, и как человек чести слово сдержал. Решайтесь: вот букет фиалок, а вот предписание о вашем аресте. Выбирайте сами.

При чем тут фиалки, Скорик не понял, а пристав Солнцев — голос был его — дальше заговорил так:

— Как я уже говорил, имеющиеся в моем распоряжении агентурные сведения достоверно подтверждают, что вы состоите в преступной связи с бандитом и убийцей Дроном Веселовым по кличке Князь.

— И чего зря казенные деньги переводить, агентам платить? Про меня с Князем и так все знают, — небрежно, даже скучливо ответила Смерть.

— То «знают», а то неопровержимые, задокументированные свидетельские показания, плюс к тому фотографические снимки, осуществленные скрытно, по самой новейшей методе. Это, фрейляйн Тодт, сразу две статьи Уложения о наказаниях. Шесть лет ссылки. А хороший обвинитель припилит еще пособничество в разбое и убийстве. Тогда это каторга, семь лет-с. Что с вами, девицей простого звания, будут вытворять охранники и все, кому не лень, о том и помыслить страшно. Жалко вашей красоты. Выйдете на поселение совершенной руиной.

Вот в щелке показался и сам полковник — молодцеватый, с блестящим пробором. В одной руке и вправду держал пармские фиалки (на цветочном языке «лукавство»), в другой какую-то бумагу.

— Ну, и чего вы хотите? — спросила Смерть, подбоченясь, отчего в самом деле стала похожа на оперную испанку. — Чтоб я вам любовника своего выдала?

— На кой черт мне твой Князь! — вскричал пристав. — Когда придет время, я и так его возьму! Ты отлично знаешь, что мне от тебя нужно. Раньше умолял, а теперь требую. Или будешь моей, или пойдешь на каторгу! Слово офицера!

У Эраста Петровича на ногу — Сенька почувствовал щекой — дрогнула стальная мышца, да и у самого Скорика сжались кулаки. Вот ведь гнида какая этот пристав!

А Смерть только рассмеялась:

— Галантный кавалер, вы всех барышень так уговариваете?

— Никого и никогда. — Голос Солнцева задрожал от страсти. — Сами за мной бегают. Но ты... ты свела меня

с ума! Что тебе этот уголовник? Не сегодня так завтра будет валяться в канаве, продырявленный полицейскими пулями. А я дам тебе всё: полное содержание, защиту от прежних дружков, достойное положение. Жениться на тебе я не могу — лгать не стану, да ты все равно не поверила бы. Однако любовь и брак — материи разные. Когда мне придет время жениться, невесту я подберу не по красоте, но мое сердце все равно будет принадлежать тебе. О, у меня великие планы! Будь моей, и я вознесу тебя на небывалые высоты! Настанет день, когда ты станешь некоронованной царицей Москвы, а может быть, и того больше! Ну?

Она молчала. Смотрела на него, склонив голову, словно видела перед собой нечто любопытное.

— Скажи-ка еще что-нибудь, — попросила Смерть. — Не решусь никак.

— Ах так! — Пристав швырнул букет на пол. — В любви и на войне все средства хороши. Я тебя мало что в тюрьму засажу, так еще богадельню эту сиротскую, что ты подкармливаешь, разгоню к чертовой матери. На ворованные деньги существует, новых воров растит! Так и знай, мое слово — сталь!

— Вот теперь хорошо, — улыбнулась чему-то Смерть. — Вот теперь убедительно. Согласная я. Говори, Иннокентий Романыч, свои условия.

Полковник от такой неожиданной податливости, кажется, опешил, назад попятился, и его снова стало не видно.

Однако оправился быстро. Скрипнули сапоги, к букету протянулась рука в белой перчатке, подняла.

— Не понимаю я вас, сеньора Морте, но *passons*, неважно. Только учтите: я человек гордый и дурачить себя не позволю. Вздумаете финтить... — Кулак сжал фиалки так, что переломались стебельки. — Ясно?

— Ясно, ясно. Ты о деле говори.

— Хорошо-с. — Солнцев снова показался в щели. Хотел вручить букет, однако заметил, что цветки безжизненно обвисли и бросил их на стол. — Пока не взял Князя, жить будешь здесь же. Приходить буду тайно, по ночам. И чтоб была ласкова! Я в любви холодности не признаю!

Перчатки снял, тоже швырнул на стол и протянул к ней руки.

— А не побоишься ко мне ходить? — спросила Смерть. — Не страшно?

Руки у пристава опустились.

— Ничего. Буду брать с собой Будочника. Не посмеет Князь при нем сунуться.

— Я не про Князя, — тихо молвила она, придвинувшись. — Со Смертью играть не боязно? Слышал, что с моими любовниками бывает?

Он хохотнул:

— Чушь. Выдумки для невежественных болванов.

Она тоже засмеялась, но так, что у Сеньки по коже побежали мураши.

— Да вы, Иннокентий Романыч, матерьялист. Это хорошо, я матерьялистов люблю. Ну что ж, идемте в спальню, коли вы такой смелый. Приголублю вас, как умею.

Сенька аж застонал от этих ее слов — про себя, конечно, тихо, но от этого стон еще сильнее вышел. Правильно Жорж про баб говорил: «Все они, мон шер, в сущности, подстилки. Кто понапористей, под того и ложатся».

Думал, пристав от ее слов так и кинется в спальню, однако тот звякнул часами и вздохнул:

— Пылаю от страсти, но утолить пламень сейчас не могу, к половине седьмого зван на доклад к полицмейстеру. Загляну поздно вечером. Смотри же: без фокусов.

Потрепал, наглый псина, Смерть по щеке, да и зазвонил шпорами к выходу.

Она же, оставшись одна, вынула платок, поднесла к лицу, будто хотела его вытереть, но не стала. Села к столу, опустила голову на скрещенные руки. Если б заплакала, Сенька все бы ей простил, но она не плакала — плечи не дрожали и всхлипов было не слышать. Просто так сидела.

Скорик запрокинул башку, уныло поглядел на господина Неймлеса. Ваша правда, Эраст Петрович. Дурак я последний.

А тот задумчиво покачал головой, шевельнул губами, и Сенька не столько услышал, сколько догадался:

— Интересная особа...

Потом Эраст Петрович вдруг подмигнул Сеньке — не вешай, мол, носа — и слегка рукой подвинул. Видно, пришло время ему в дело вступать.

Но тут снова раздались шаги — не четкие, как у пристава, а тяжелые, с приволоком.

— Так что извиняемся, — прогудел густой бас.

Будочник! Сенька схватил господина Неймлеса за колено: стойте, нельзя!

— Их высокоблагородие перчаточки забыли. Меня послали, сами не пожелали.

Смерть подняла голову. Нет, никаких слез на лице у ней не было, только глаза горели ярче всегдашнего.

— Еще бы, — усмехнулась она. — Иннокентий Романыч так важно уходили. А за перчатками возвращаться — весь эффект испортить. Берите, Иван Федотыч.

Взяла со стола перчатки, бросила. Но Будочник ушел не сразу.

— Эх, девка-девка, чего ты только над собой творишь? Дал тебе Господь этакую красотищу, а ты ее в грязи валяешь, над Божьим даром измываешься. Мой-то павлин от тебя вышел, сияет, как сапог начищенный. Значит, и ему ты не отказала. А ведь дрянь человечешко, не павлин даже — куренок мокрый. И Князь, хахаль твой, — прыщик гнойный. Надавить — лопнет. Разве такого тебе надо? У тебя в голове ночь, в душе туман. Тебе нужен человек ясный, крепкий, при огромном богатстве, к какому прильнуть можно, дух перевести, ногами на землю встать.

Смерть удивленно подняла брови:

— Что это вы, Иван Федотыч? Сводником стали на старости лет? Кого же, интересно знать, вы мне сватаете? Что это за богач такой?

Тут откуда-то, из сеней что ли, донеслось сердитое:

— Будников, бездельник, ты что там застрял?

И договаривал Будочник скороговоркой:

— Я тебе, дуре несчастной, одного добра желаю. Есть у меня на примете один человек, кто тебе будет и крепость, и защита, и спасение. После зайду, потолкуем.

Протопали сапожищи, хлопнула дверь.

Снова Смерть осталась в гостиной одна, но к столу больше садиться не стала. Отошла в дальний угол комнаты, где висело треснутое зеркало, встала перед ним и принялась себя разглядывать. Покачивала головой и вроде бы даже приговаривала что-то, но слов было не слышно.

— М-да, Семен Скориков, — шепнул господин Неймлес. — Это, простите за вульгаризм, просто какая-то собачья свадьба. Нуте-с, и я присоединюсь, попытаю счастья. Держу пари, что мое появление будет еще эффективней, чем уход полковника Солнцева. — А вы лезьте обратно, вам тут делать нечего. Марш-марш в окошко. — И жестом показал.

Сенька перечить не стал. Наступил на фарфоровую вазу (называется «унитаз», в борделе такие же; еще другая ваза бывает, для женского полоскания, названием «биде»), сделал вид, что тянется к фортке, но когда Эраст Петрович постучал в дверь и шагнул в комнату, Скорик тут же кубарем слетел вниз. Так сказать, вернулся на обсервационную позицию.

КАК СЕНЬКА РАЗОЧАРОВАЛСЯ В ЛЮДЯХ

Эраст Петрович не спеша вышел на середину гостиной, приподнял головной убор (сегодня он был в клетчатом кепи с загнутыми наверх ушами):

— Не пугайтесь, сударыня. Я не сделаю вам д-дурного.

Смерть не обернулась, смотрела на незваного гостя в треснутое зеркало. Помотала головой, провела по поверхности рукой. Оглянулась через плечо. Лицо у ней было удивленное.

Он слегка поклонился.

— Нет, я не видение и не г-галлюцинация.

— Тогда пошел к черту, — бросила она и снова повернулась к зеркалу. — Ишь, наглец. Слово скажу — тебя на части порвут, кто ты ни будь.

Эраст Петрович подошел ближе.

— Я вижу, вы нисколько не испугались. Поистине вы редкая женщина.

— Ах, вот что дверь-то скрипела, — сказала она как бы сама себе. — А я думала, сквозняк. Ты кто такой? Откуда взялся? Из поганой трубы, что ли, выскочил?

На это он ответил строго:

— Для вас, мадемуазель, я — посланец судьбы. А судьба «выскакивает» откуда ей заблагорассудится, подчас из очень странных мест.

Вот когда она к нему, наконец, развернулась всем телом. И посмотрела уже не с презрением, а недоуменно и даже, почудилось Скорику, с некоей надеждой. Повторила:

— Посланец судьбы?

— Что, не похож?

Она двинулась ему навстречу, снизу вверх посмотрела в его лицо.

— Не знаю... Может, и похож.

Сенька закрихтел — больно плохо они стояли: высокий господин Неймлес совсем ее загородил, да и самого было видать только со спины.

— Отлично, — сказал он. — Тогда буду говорить поэтично, как и подобает посланнику судьбы. Сударыня, над той частью Москвы, где мы с вами сейчас находимся, сгустилось облако зла. Оно то и дело проливается на землю кровавым д-дождем. Эту железную тучу не уносит ветром, ее будто удерживает здесь некий магнит. И я подозреваю, что этот магнит — вы.

— Я?! — смятенно воскликнула Смерть и шагнула в сторону. Вот теперь ее было видно хорошо. Лицо у ней сделалось растерянное, совсем не такое, как обычно.

Эраст Петрович тоже переместился, будто желал быть от нее на расстоянии.

— Чудесная скатерть, — произнес он. — Никогда не видел такого удивительного узора. Кто это вышивал? Вы? Если так, то у вас настоящий т-талант.

— Не про то говорите, — перебила его она. — С чего вы взяли, что кровь из-за меня льется?

— А с того, госпожа Смерть, что вы сосредоточили вокруг себя самых опасных преступников г-города. Убийцу и грабителя Князя, который вас содержит. Выродка по прозвищу Очко, который снабжает вас кокаином. Вымогателя и п-подонка Упыря, который вам тоже за-чем-то нужен. К чему вам эта кунсткамера, эта коллекция монстров?

Она долго молчала. Сенька уж думал, вовсе отвечать не станет. Но ответила-таки:

— Стало быть, нужно.

— Кто вы? — сердито воскликнул господин Неймлес. — Алчная накопительница богатств? Честолюбница, которой нравится воображать себя королевой з-злодеев? Человеконенавистница? Душевнобольная?

— Я — Смерть, — тихо и торжественно молвила она. Он пробормотал, еле слышно:

— Еще одна? Не много ли на один город?

— Про что это вы?

Тогда он подошел к ней близко и заговорил резко, с напором:

— Что вам известно об убийстве Синюхиных и Самшитовых? В этих преступлениях имеются признаки какого-то сатанинского идолопоклонства: то выкалывание глаз, то истребление всего живого, вплоть до попугая в клетке. Настоящий пир смерти.

Она передернула плечами.

— Ничего про это не знаю. Вы кто, полицейский? — Посмотрела ему в глаза. — Нет, в полиции таких не бывает.

Он качнул головой — не то досадливо, не то смущенно.

— П-прошу простить, забыл представиться. Эраст Петрович Неймлес, инженер.

— Инженер? Так что вам за дело до убийств?

— Есть два феномена, которые никогда не оставляют меня равнодушным. Бездна злодеяния и т-тайна. Первый поднимает в моей душе гнев, который не дает мне спокойно дышать до тех пор, пока не восстановится справедливость. А второй лишает сна и покоя. В этой истории налицо оба явления: и чудовищное злодеяние, и тайна — вы. Я должен эту тайну разгадать.

Она насмешливо улыбнулась:

— И как же вы будете меня разгадывать? На манер прочих разгадывальщиков?

— Это уж как получится, — ответил он, помолчав. — Однако вы правы, ужасный сквозняк.

Развернулся, пошел прямо на Сеньку, прикрыл дверь, да еще стулом с той стороны подпер. Теперь Скорика стало не видно и почти не слышно, что там у них в гостиной делается.

А он и не желал дальше слушать. Полез в окошко печальный. Можно сказать, с разбитым сердцем.

Настигло Сеньку полное разочарование в людях. Вот Эраст Петрович этот: вроде серьезный мужчина, собой важный, а такой же кобель, как прочие. А гонорует, гонору. Кому верить на свете, кого уважать?

Сейчас господин Неймлес ее, само собой, в два счета разгадает. Таковую лярву только ленивый не разгадывал, терзал себя Сенька. Ох, женщины! Дешевки, предательницы. Одна только верная и есть — Ташка. Хоть и мамзелька, но честная. Или это у ней от малолетства? Наверно, подрастет, тоже, как все они, станет.

КАК СЕНЬКА ПЕРЕТЯНУЛ ДРОССЕЛЬ

От разочарования и печали Скорик шел, куда несли ноги, глядел не вокруг, а внутрь собственной натуры. Ноги же, глупые, по привычке вынесли его на Хитровскую площадь, где Сеньке мозолиться по нынешним временам было незачем. Увидят, Князю свистанут, и адьё, Семен Трифоныч, наказывайте долго жить.

Когда спохватился, стало страшно. Поднял воротник пиджака, нахлобучил на глаза шляпу-канотье и быстренько-быстренько к Трехсвятскому, откуда до безопасных мест уже рукой подать.

Вдруг навстречу Ташка, легка на помине. Не одна, с клиентом. По виду приказчик. Пьяный, рожа красная, Ташку за плечо облапил, еле ноги переставляет.

Вот дура гордая! Охота ей за паршивый трехрублевик себя трепать. И не объяснишь ведь, что зазорно и срам — не понимает. Еще бы, с младенчества на Хитровке. И мамка ее шалава была, и бабка.

Хотел Скорик подойти, поздороваться. И она тоже его увидела, но не кивнула, не улыбнулась. Сделала круглые, страшные глаза и в волосы себе тычет. А там цветок торчал, видно, нарочно на такой случай заготовленный, красный мак, на языке растений — опасность.

Кому опасность-то, ей или ему, Сеньке?

Все же подошел, открыл рот спросить, а Ташка зашипела:

— Вали отсюда, дурак. Он тебя ищет.

— Да кто?

Приказчик помешал. Ногой топнул, давай грозиться.

— Ты што? — орет. — Ты хто? Моя мамзелька! Харю сворочу!

Ташка его кулаком в бок двинула, шепнула:

— Ночью... Ночью приходи, такое расскажу... — И поволокла своего кавалера дальше.

Очень это ее шипение Скорику не понравилось. Не такая Ташка, чтоб попусту пугать. Видно, случилось что-то. Надо зайти.

Собирался дожидаться ночи на бульваре, но пришла идея поумней.

Раз уж всё одно оказался здесь, на Хитровке, не навещать ли в подземелье, еще серебрецом подзаправиться? Те пять пруты были припрятаны в чемодане, замощанные в кальсоны. Хорошо бы еще штук несколько. Кто знает, какой дальше фатум сложится. Не пришлось бы срочным порядком покидать родные палестины.

Взял еще четыре прута. Всего, значит, теперь получилось девять. Как ни посмотри, целый капитал. Ашот Ашотыча, царствие ему, страдальцу, небесное, боле нет, но, надо надеяться, рано или поздно сыщется вместо него другой посредник. Грех, конечно, так рассуждать, но мертвым свое, а живым свое.

Выбравшись из лаза в погреб с кирпичными стояками (культурно сказать — колоннами), Сенька задвинул на место камни, палки взял по две в каждую руку и пошел темным подвалом к выходу на Подколокольный.

Оставалось повернуть по коридору два раза, когда случилось страшное.

Скорику по заливку вдарило тяжелым — да так, что он полетел носом наземь, даже взвизгнуть не успел. Еще не понял толком, что за напасть на него обрушилась, как сверху придавило к полу: кто-то наступил ему на спину кованым сапогом.

Скорик забарахтался, хватая ртом воздух. Из левой руки вылетели прутья, малиново зазвенели по каменным плитам.

— А-а-а!!! — заорал бедный Сенька, а чьи-то стальные пальцы ухватили его за волосы, рванули голову назад — захрустели позвонки.

Не от храбрости, а от одного лишь звериного ужаса Сенька махнул прутьями, что были зажаты в правой руке,

назад и вверх. Куда-то попал и ударил еще раз, что было силы. Опять попал. Что-то там утробно, по-медвежьи рыкнуло, лапища, вцепившаяся Скорика в волосы, разжалась, да и сапог со спины сдвинулся.

Сенька волчком откатился вбок, поднялся на четвереньки, потом на ноги и, подвывая, понесся в темноту. Налетел на стену, шарахнулся в другую сторону.

По ступенькам вспорхнул на ночную улицу и бежал до самой Лубянки. Там упал на колени подле бортика бассейна, окунул рожу в воду, немножко остудился и только тогда заметил, что и из правой руки прутья выронил.

Бес с ними. Главное — живой.

— Где вас носило, Скориков? — спросил господин Неймлес, открыв дверь в квартиру. И тут же взял Сеньку за руку, подвел к лампе. — Кто это вас? Что случилось?

Это он увидел шишку на лбу и распухший нос, которым Скорик въехал в каменный пол.

— Князь меня убить хотел, — хмуро ответил Сенька. — Мало шею не сломал.

И рассказал, как было дело. Куда лазил и что прутья нес, конечно, говорить не стал. Мол, заглянул по одному делу в Ерошенковский подвал, там и приключился такой кошмарный прецедент.

— Инцидент, — механически поправил Эраст Петрович. Лоб у него сложился продольной складкой. — Вы хорошо разглядели Князя?

— А чего мне на него глядеть. — Скорик уныло изучал свою личность в зеркале. Ну и нос — чисто картоха печеная. — Кому еще надо меня мочить? Рвань ерохинская на кого не попадая не кидается, посмотрят сначала, что за человек. А этот без упреждения бил, всерьез. Или Князь, или из колоды кто. Только не Очко — тот бы чикаться не стал, сразу ножиком кинул или шпагу в глаз воткнул. А где Маса-сенсей?

— На свидании. — Господин Неймлес взял Сеньку за подбородок, повертел и так, и этак — любовался. — Компресс нужно. А здесь меркурохромом. Вот так не больно?

— Больно! — заорал Скорик, потому что Эраст Петрович крепко взял его пальцами за нос.

— Ничего, до свадьбы заживет. П-перелома нет.

Был господин Неймлес в длинном шелковом халате, на волосах тонкая сеточка — крепить куафюру. У Сеньки тоже такая была, «гард-фасон» называется.

Как у него со Смертью-то устроилось, подумал Скорик, глядя исподлобья на гладкую рожу инженера. Да уж известно как. Этакий рысак своего не упустит.

— Ну вот что, герр Шопенгауэр, — объявил Эраст Петрович, кончив мазать Сенькину рожу пахучей дрянью. — Отныне от меня и Масы ни шагу. П-поняли?

— Чего не понять...

— Отлично. Тогда ложитесь и — в объятя Морфея.

Лечь-то Сенька лег, а с Морфеем у него долго не ладилось. То зубы начнут дробь выстукивать, то в дрожь кинет, никак не согреешься. Еще бы. Погибель совсем рядом прошла, задела душу своим ледяным крылом.

Вспомнил: к Ташке-то не зашел. А ведь она сказать что-то хотела, предупредить. Надо бы к ней навеститься, но при одной мысли о том, чтоб снова на Хитровку идти, дрожь заколотила еще пуше.

Утро вечера мудреней. Может, завтра всё не так страшно покажется.

С тем и уснул.

Но назавтра все равно сильно боялся. И послезавтра тоже. Долго боялся, целую неделю. Утром или днем еще ничего: вот сегодня, думал, как стемнеет, непременно отправлюсь, а к вечеру на душе что-то делалось тоскливо, и не шли ноги на Хитровку, хоть ты что.

Однако не то чтобы Сенька в эти дни только боялся и больше ничего другого не делал. Дел-то было полно, да таких, что обо всем на свете позабудешь.

Началось с того, что Эраст Петрович предложил:

— Хочешь посмотреть на мой «Ковер-самолет»?

Как раз перед тем между ними разговор состоялся. Сенька Христом-Богом попросил на «вы» его не обзывать и «Скориковым» тоже, а то обидно.

— Обидно? — удивился господин Неймлес. — Что на «вы» называют? Но ведь вы, кажется, считаете себя взрослым. Меж взрослыми людьми обращение на «ты» возможно лишь на основе взаимности, я же перейти с вами на «ты» пока не г-готов.

— Да я вам ни в жисть не смогу «ты» сказать! — перепугался Скорик. — Мне и без надобности. Маса-то вон «ты» говорите, делаете ему отличие. А я вам уж и не человек.

— Видите ли, Скориков... То есть, простите, господин Скориков, — совсем уж взъелся на Сеньку инженер, — Маса я говорю «ты», а он мне «вы», потому что в Японии господин и слуга могут разговаривать только так и не иначе. В японском этикете речевые нюансы очень строго регламентированы. Там существует с десятков разных уровней обращения на «ты» и «вы», для всякого рода отношений свой. Обратиться к слуге не так, как принято — нелепость и даже грамматическая ошибка.

— А у нас простым людям одна только интеллигенция выкаст, хочет свое презрение показать. За это ее народ и не любит.

Еле уговорил. И то, чтоб по-свойски «Сенькой» называть — так нет. Заместо «Скорикова» стал звать «Сеней», будто барчука в коротких штанишках. Приходилось терпеть.

Когда Скорик на «Ковер-самолет» глазами захлопал (готов был от Эраста Петровича всяких чудес ожидать, даже волшебных), тот улыбнулся:

— Не сказочный, конечно. Так я назвал мототрипед, самоходный экипаж моей собственной к-конструкции. Идем, посмотришь

Во дворе, в каретном сарае, стояла коляска вроде пролетки на рессорном ходу, но только суженная к носу и не на четырех колесах, а на трех: переднее невысокое, бокастое, два задних большие. Там, где на пролетке положено быть передку, — щиток с цифирью, торчком — колесико на железной палке, еще какие-то рычажки, загогулины. Сиденье было хромовой кожи, можно троих усадить. Инженер показал:

— Справа, где руль, место шофэра. Слева — ассистента. Шофэр — это такой кучер, только управляет он не лошадей, а м-мотором. Ассистент же — его помощник. Иногда бывает нужно вдвоем на руль налечь, или рычаг придержать, или просто флажком помахать, чтоб с дороги сторонились.

Сенька не сразу допер, что эта колымага сама по себе ездит, без коня. В железной коробке, что располагалась под сиденьем, по словам Эраста Петровича (скорее всего, брехня) пряталась сила, как в десяти лошадях, и оттого этот самый мототрипед якобы мог бегать по дороге быстрее любого лихача.

— Скоро на конной тяге вообще никто ездить не захочет, — рассказывал господин Неймлес. — Только на таких вот авто с двигателем внутреннего сгорания. А лошадей освободят от тяжелого труда и в благодарность за то, что столько т-тысячелетий верно служили человечеству, отправят вольно пастись в луга. Ну, может, самых красивых и резвых оставят для скачек и романтических поездок при луне, а всем прочим выйдет отставка и пенсион.

Ну, пенсион — это навряд ли, подумал Скорик. Коли лошади станут не нужны, забудут их к лешему на шкуры и мясо, за здорово живешь кормить не станут. Но спорить с инженером не стал, интересно было послушать дальше.

— Видишь ли, Сеня, идея вседорожного м-мототрипеда была темой моего прошлогоднего дипломного проекта в Технологическом институте...

— Вы чего, только-только из студентов, что ли? — удивился Скорик. На вид Эрасту Петровичу было сильно много лет. Может, тридцать пять или даже больше — вон у него уж и виски поседали.

— Нет, я прошел курс инженера-механика экстерном, в Бостоне. И вот теперь пришло время претворить мою идею в жизнь, опробовать ее на п-практике.

— А вдруг не поедет? — спросил Сенька, любясь сияющим медным фонарем на передке машины.

— Да нет, он отлично ездит, но этого м-мало. Я намерен установить на моем мототрипедке рекорд: доехать от

Москвы до Парижа. Старт назначен на 23 сентября, так что времени на подготовку немного, чуть больше двух недель. А дело трудное, почти невозможное. Недавно подобную попытку предпринял барон фон Либниц, но его авто не выдержало русских дорог, развалилось. А мой «Ковер-самолет» выдержит, потому что трехколесная конструкция проходимей, чем четырехколесная, я это д-докажу. И еще вот, смотри.

Никогда Сенька не видел Эраста Петровича таким оживленным. Глаза, обычно холодные, спокойные, так и сверкали, на щеках выступил румянец. Господина Неймлеса было прямо не узнать.

— Вместо новомодных пневматических шин, удобных для асфальтовой мостовой, но совершенно непригодных для нашего бездорожья, я сконструировал цельнолитые к-каучуковые со стальной проволокой.

Скорик потыкал черную шину. Трогать ее, пупырчатую, упругую, было приятно.

— В основе конструкции — трипед мангеймского фабриканта Бенца «Патент-моторваген», однако «Ковер-самолет» г-гораздо совершенней! У герра Бенца на его новом «Вело» двигатель мощностью всего три лошадиных силы и зубчатая передача крепится к задней оси, а у меня, гляди, она выведена на раму, и мотор объемом почти в тысячу кубических сантиметров! Это позволяет разгоняться до тридцати верст в час. А по асфальту до т-тридцати пяти! Может быть, даже сорока! Ты только представь себе!

Возбуждение инженера передалось Сеньке, он понюхал сиденье, пахнувшее кожей и керосином. Вкусно!

— А как на нем ехать, на этом «ковре»?

— Садись сюда. Вот так, — с удовольствием принялся объяснять Эраст Петрович, а Сенька блаженно закачался на пружинящем сиденье. — Сейчас, сейчас ты поедешь. Это ни с чем не сравнимое наслаждение. Только осторожно, не т-торопись. Правую ногу ставь на педаль сцепления. Жми до отказа. Хорошо. Это регулятор зажигания. Поверни его. Слышишь? Это искра воспламенила топливную жидкость. Рычагами открываешь

к-клапаны. Молодец. Теперь потяни ручной тормоз, чтобы освободить колеса. Включай передачу — вот этот рычаг. Теперь потихоньку отпускай ногу со сцепления и одновременно тяни д-дроссель, который...

Сенька взялся за железную палочку, именуемую звучным словом «дроссель», дернул ее к себе, и самоходная карета вдруг рванулась с места.

— А-а-а! — заорал Скорик от ужаса и восторга.

В животе екнуло, будто он несся на санках с ледяной горы. Трипед сам собой вылетел из сарайных ворот, навстречу ему проворно двинулась стена дома, и в следующий миг Сеньку кинуло грудью на рулевое колесо. Раздался лязг, звон разбитого стекла, и полет закончился.

Прямо перед Скориком были красные кирпичи, по ним ползла зеленая гусеница. В ушах звенело, болела грудь, но кости вроде были целы.

Сенька услышал приближающиеся сзади неторопливые шаги, увидел, что на одном циферблате стекло треснуло, а на другом вовсе вылетело, и вжал голову в плечи. Бейте, Эраст Петрович. Хоть до полусмерти — и того мне, дурню, мало будет.

— ... который регулирует поступление г-горючего, и потому тянуть его нужно очень плавно, — продолжил объяснение господин Неймлес, будто вовсе не прерывался. — Ты же, Сеня, дернул слишком резко.

Сенька, опутив голову, слез. Когда увидел сплюснутый фонарь, еще недавно такой нарядный и блестящий, аж всхлипнул. Вот беда так уж беда.

— Ничего, — утешил его инженер, присев на корточки. — П-поломки в автомобилизме — дело обычное. Сейчас все исправим. Будь любезен, Сеня, принеси ящик с инструментами. Ты мне п-поможешь? Вдвоем снимать деashboard совсем нетрудно. Если бы ты знал, как мне недостает помощника.

— А сенсей? — остановился Скорик, уже бросившийся было к сараю. — Неужто не помогает?

— Маса — консерватор и принципиальный враг п-прогресса, — со вздохом произнес Эраст Петрович, натягивая кожаные перчатки.

Что правда, то правда. Из-за этого самого прогресса инженер с Масой чуть не каждый день собачились.

К примеру, прочел Эраст Петрович утреннюю газету, где пропечатано про открытие железнодорожного сообщения в Забайкалье, и говорит: вот, мол, замечательная новость для жителей Сибири. Раньше они на путешествие от Иркутска до Читы целый месяц тратили, а теперь всего сутки. Это же им целый месяц подарили! Распоряжайся им как хочешь. Вот, говорит, в чем истинный смысл прогресса — экономия времени и ненужной траты сил.

А японец ему: не подарили месяц жизни, а отобрали. Раньше ваши иркутские жители без большого дела из дому не уезжали, а теперь начнут раскатывать по лику земли. Добро б еще вдумчиво, меряя землю шагами, карабкаясь на горы и переплывая реки. А то сядут на мягкое сиденье, носом засопят, вот и всё путешествие. Раньше, когда человек путешествовал, он понимал, что жизнь — это Путь, а теперь будет думать, что жизнь — мягкое сиденье в вагоне. Прежде люди были крепкие, поджарые, а скоро все станут слабые и жирные. Жир — вот что такое этот ваш прогресс.

Господин Неймлес начал сердиться. Передергиваешь, говорит. Жир? Пускай жир, прекрасно! Между прочим, жир — самое драгоценное, что есть в организме, запас энергии и сил на случай потрясений. Просто нужно, чтобы жир не скапливался в определенных частях общественного организма, а распределялся равномерно, для того и существует прогресс социальный, именуемый «общественной эволюцией».

Маса не сдается. Жир, говорит, это телесное, а суть человека — душа. От прогресса же душа зарастает жиром.

Нет, возразил Эраст Петрович. Зачем пренебрегать телом? Оно и есть жизнь, а душа, если она вообще существует, принадлежит вечности, то есть смерти. Недаром по-славянски жизнь называется «живот». Между прочим, и вы, японцы, размещаете душу не где-нибудь, а именно в животе, «харе».

Тут Сенька встрял. Спросил, так где у японцев душа — в брюхе или в харе? Интересно же!

Инженер Сенькиного вопроса сначала не понял, а когда понял, заругался и велел впредь харю называть не «харей», не «мордой» и не «рожей», а «лицом». В крайнем случае, если захочется выразиться сильнее, то можно «физиономией».

Или еще как-то заспорили Эраст Петрович и сенсей, меняются из-за прогресса ценности или нет.

Господин Неймлес говорил, что меняются — повышается их уровень, прежде всего потому что человек начинает дороже ценить себя, свое время и свои усилия, а Маса не соглашался. Мол, всё наоборот: теперь от отдельного человека и его усилий мало что зависит, и от этого ценности все падают. Когда прогресс за тебя половину дел выполняет, можно всю жизнь прожить, так и не проснувшись душой, ничего толком в истинных ценностях не поняв.

Скорик слушал, но на чью сторону встать, определить не мог. С одной стороны, вроде прав Эраст Петрович. Вон сколько в Москве прогрессу: и трамвай скоро запустят электрический, и фонарей ярких понаставили, и синематограф, ценности же с каждым днем все выше и выше. Яйца на рынке раньше стоили две копейки десятков, а теперь три. Извозчики от Сухаревки до Замоскворечья полтинник брали, а ныне меньше семидесяти-восемидесяти копеек к ним и не суйся. Или те же папиросы взять.

Но и не сказать, чтоб ценности только росли. От прогресса тоже своя польза есть. Одно дело — башмак вручную сработанный, другое — фабричный. Первый, конечно, дороже выходит, оттого их и не стало почти.

Однако скоро Сеньке стало ясно, что в ценностях Эраст Петрович вовсе ничего не смыслит.

Обкатывали они «Ковер-самолет» на Мытной улице. Поворачивают на скорости за угол — Эраст Петрович руль крутит, Сенька в клаксон дудит — а там стадо коров. Что им, дурам, клаксон? Ну и врезались в заднюю, со всего разгона.

Она мумукнуть не успела — и с копыт. Лежит, сердешная, замертво.

Сеньке, правда, не корову было жалко, а передок. Фонарь новый только-только поставили, вместо прежнего, о кирпичную стену расколотенного. Между прочим, пятьдесят рублей фонарик, не шутки.

Пока охал, стеклышки собирал, инженер пастуху за корову — сколько б вы думали? — сто рублей отсчитал! Виданое ли дело! Это за буренку, которой в базарный день цена тридцатка!

И это еще что. Как только пастух, бесстыжая харя, то есть бесстыжее лицо, катеньку в картуз прибрал, корова встала и пошла себе. Хоть бы что ей — идет, выменем трясет.

Скорик, конечно, пастуха за рукав: вертай деньги.

А Эраст Петрович:

— Во-первых, не «вертай», а «пожалуйста, верните». Ну а, во-вторых, не нужно. Пусть это будет плата за моральный урон.

Это кому моральный урон, спрашивается? Корове?

У этого *инцидента* были важные последствия, а от важных последствий *проистекли эпохальные результаты*.

Последствия произвел Сенька, результаты — Эраст Петрович.

В тот же день Скорик нарисовал на бумаге железную скобу — спереди перед фарой крепить, чтобы коров, коз или собак сшибать без вреда для имущества. А после ужина учинил господину Неймлесу и японцу допрос, почему они что покупают и кому сколько денег платят. Слушал — диву давался. Эраст Петрович, даром что американский инженер, в самых простых делах был дурак дураком. За все платил втридорога, сколько запросят, торговаться и не думал. Квартиру в Ащеуловом снял за три сотни! Сенсей тоже хорош. Кроме своего Пути и баб всё ему до Макаркиных именин. Еще камердинер называется.

Скорик поучил немножко их, малахольных, уму-разуму, чего сколько стоит — они, знатоки ценностей, уши и развесили.

Инженер на Сеньку посмотрел, головой уважительно покачал. Тут-то и обрисовались те самые результаты.

— Удивительный ты юноша, Сеня, — торжественно сказал Эраст Петрович. — Сколько в тебе талантов.

Твоя идея шокогасящей скобы для авто превосходна. Следовало бы запатентовать этот аксессуар и назвать в твою честь — допустим, «гаситель Скорикова». Или «антишокер», или «бампер», от английского *bump*. Ты прирожденный изобретатель. Это раз. Поражают и твои экономические способности. Если ты согласишься стать моим к-казначеем, я с удовольствием доверю тебе распоряжаться всеми своими тратами. Ты настоящий финансист. Это два. А еще меня поражает твоя техническая сметливость. Ты так ловко продуваешь карбюратор, так быстро заменяешь колесо! Вот что, Семен Скориков: предлагаю тебе занять должность механика вплоть до моего убытия в Париж. И это т-три. Не торопись с ответом, подумай.

Удача, она известно, россыпью ходит. То ничего-ничего, пасмурное черное небо и ни звездочки, хоть вой. Зато если уж вызвездит — так во весь купол.

Кто был Сенька Скорик самое малое время назад? Никто, жучишка навозный. А теперь всё ему: и любовник Смерти (да-да, было, не приснилось), и богач, и изобретатель, и казначей, и механик. Вот какая выпала карьера — позавидней, чем у Князя в колоде шестерничать.

Дел у Сеньки теперь было невпроворот. Про то, что к Ташке надо бы, а боязно, думал только вечером, перед сном. Днем некогда было.

Трипед начищать-отлаживать надо?

По магазинам-лавкам за покупками надо?

За уборщиком, дворником, кухаркой (нанял одну старушку готовить человечью еду, не всё сырое-то жрать) следить надо?

Сенсей от Сенькиной распорядительности вовсе обленился. То на коленках битый час сидит, жмурится (это у японцев вроде молитвы — собственную душу наблюдать, которая у них в животе сидит). То с Эрастом Петровичем где-то пропадает. То у него свидание. А то вдруг затеет Сеньку японскому мордобою учить.

И тогда изволь все занятия побоку. Бегай с ним, оглашенным, чуть не телешом по двору, лазай по водостоку, руками-ногами маши.

Оно, может, дело и нужное, для здоровья полезное, или там от лихих людей оборониться, но, во-первых, некогда же, а во-вторых, кости потом болят, не разогнешься.

Вот на Хитровке дедок один был, раньше служил санитаром в психическом доме. Про тамошних жильцов и ихние причуды рассказывал — заслушаешься. Так Сенька по временам тоже себя навроде такого санитаря чувствовал. Будто с сумасшедшими проживаешь. По виду люди как люди, при всей разумности, а иной раз поглядишь: ну чисто Канатчикова дача.

Взять, к примеру, самого господина Неймлеса, Эраста Петровича. Вроде не японец, нормальный человек, а повадка не нашенская. Когда у себя в кабинете над чертежами колдует или бумаги пишет, это понятно, но как-то раз Сенька ему через плечо заглянул, полюбопытствовать, что это он там вырисовывает, и ахнул: инженер писал не ручкой, а деревянной кисточкой, какой клей мажут, и выводил не буквы, а некие диковинные закорюки непостижимого вида и значения.

Или начнет расхаживать по комнате, пошелкивая зелеными четками, и может долго этак фланировать.

А то еще сядет перед стенкой и давай пялиться в одну точку. Сенька раз попытался рассмотреть, что там, на этой стенке. Ничего не увидел, то есть вообще ничего, даже клопа или какой букашки, а когда хотел спросить, чем это вы, Эраст Петрович, там интересуетесь, случившийся рядом Маса ухватил Сеньку за шиворот самым возмутительным манером, выволок из кабинета и сказал: «Когда господзин созерцает, трогать нерзья». А чего там созерцать-то, когда нет ничего?

Кроме хлопот с подготовкой «Ковра-самолета» к мотопробегу были у господина Неймлеса и еще какие-то таинственные дела, в которые Скорика не посвящали. Чуть не каждый вечер в девятом часу Эраст Петрович исчезал и возвращался поздно, а бывало, что пропадал где-то до самого утра. Сенька от этого мучился нехорошими видениями. Один раз достал из тюка, где белье для прачки, инженерову нижнюю рубашку и стал нюхать — не пахнет ли Смертью (тот мятный, дурманный запах ни с чем не спутаешь). Вроде не пахло.

Бывало, что хозяина и днем нет, а по какой причине-надобности абсентирует, неизвестно.

Как-то раз, когда Эраст Петрович перед выходом расправлял воротнички и причесывался перед зеркалом дольше обычного, случился у Скорика невозможный припадок ревности. Не сдержал себя, выскользнул из дому, будто бы за покупками, а сам на улице пристроился за инженером и проследил, куда идет, не на свидание ли с одной безнравственной особой.

Оказалось, что на свидание, но, слава богу, не с тем, про кого дуmano.

Господин Неймлес вошел в кафе «Риволи», сел за столик и принялся читать газеты — через стеклянную витрину Скорика было всё видно. Через несколько времени Сенька заметил, что Эрастом Петровичем интересуется не он один. Неподалеку, подле модного магазина, стояла какая-то барышня, смотрела туда же, куда Скорик. Сначала он услышал тихий звон и всё никак не мог понять, откуда это. Потом заметил, что у девицы к манжетам пришиты маленькие колокольчики, а на шее ожерелье в виде змеи, совсем как живой. Ясное дело — декаденстка, на Москве таких в последнее время много развелось.

Сначала Сенька подумал, ждет кого-то барышня, ну и загляделась на красавца-брюнета, обыкновенное дело. Но потом она головой тряхнула, улицу перешла и шасть в кафе.

Эраст Петрович газету отложил, поднялся ей навстречу, усадил. Перекинулись они парой-тройкой слов, и начал инженер барышне читать из газеты вслух.

Ну не полоумный?

Дальше Сенька смотреть не стал, потому что успокоился. Чего изводиться, если господин Неймлес такой безглазый. Видел саму Смерть, разговаривал с нею, в очи ее мерцающие глядел, а ухлестывает за какой-то щипаной кошкой.

Нет, непонятный он был Сенькиному разумению субъект.

Вот хоть переезд взять.

Дня за два перед тем, как Скорик наблюдал randevу в «Риволи», вдруг ни с того ни с сего затеялись переезжать

из Ащеулова переулка — господин Неймлес велел. Перебрались за Сухаревку, в Спасские казармы, на офицерскую квартиру. Зачем, с какой такой нужды, никто Сеньке не разъяснил. Только-только обжиться стали: он полочек в кабинете наприбивал, полотеров нанял паркет до блеска наваксить, опять же полтуши телячей мяснику заказаны — и на тебе. А за комнаты на два месяца вперед заплачено — шестьсот рублей псу под хвост?

Собрались как на пожар, вещи кое-как в две пролетки покидали и съехали.

Новая квартира была тоже ничего себе, с отдельным входом, только вот трипед не сразу пристроить удалось. Сенька два дня швейцара Михеича обхаживал, четыре самовара чаю с ним выдул, шесть рублей денег дал и потом еще трешницу с полтинником — только тогда получил ключи от конюшни (лошадей-то там все равно не было, потому что полк уехал Китай завоевывать).

Пока Скорик швейцара уговаривал, Маса-сенсей швейцарову жену уговорил, это у него много быстрее вышло. Так что, в общем, обустроились неплохо, грех жаловаться: крыша над головой есть, «Ковер-самолет» в тепле-сухости, от Михеича почтение, от его супруги Федоры Никитишны что ни день пирожки с компотами.

В последний день покойной жизни, перед тем как всё снова кувырком пошло, Сенька принимал на новом местожительстве гостей, брата Ванюшку и судью Кувшинникова. Как съехали из Ащеулова, сразу послал с городской почтой письмо: мол, проживаю теперь по такому-то адресу, почту за счастье видеть у себя дорогого братца Иван Трифоновича, примите и проч. Ипполит Иванович ответил письмом же: благодарю, вскорости непременно будем.

И сдержал слово, пожаловал.

Сначала смотрел вокруг подозрительно — не шалман ли какой. Когда в прихожую высунулся Маса в одних белых подштанниках для рэнсю, судья нахмурился и Ваньке руку на плечо положил. Малолеток тоже уставился на восточного человека во все глаза, а когда Маса хлопнул себя ладошами по животу и поклонился, Ванятка испуганно ойкнул.

Дело было плохо. Судья уже назад подался, к двери (он на всякий случай и извозчика не отпустил), но тут на счастье из кабинета вышел Эраст Петрович, и при одном взгляде на солидного человека в бархатной домашней куртке, с книжкой в руке, Кувшинников сразу расторожился. Ясно было, что этаким барин на воровской хазе жить не станет.

Познакомились самым что ни на есть приличным манером. Эраст Петрович назвал Сеньку своим помощником, пригласил судью в кабинет курить кубинские сигары. О чем они там толковали, Скорик усталось неведомо, потому что он повел Ваньку в конюшню, аппарат показывать, а после катал братца по двору. Сам переключал рычаги и орудовал коварным дросселем, руль крутил тоже сам, а Ванька только гудел в клаксон и орал от восторга.

Долго так гоняли, сожгли полведра керосина, но ничего, не жалко. Потом вышел судья, Ванятку домой везти. Попрощался с Сенькой за руку, почему-то ободряюще подмигнул.

Уехали.

А вечером, перед тем как укладываться, Скорик подошел к зеркалу — посмотреть, не прибавилось ли волос на бороде, и обнаружил на щеках четыре новых волоска, три справа и один слева. Всего их теперь выходило тридцать семь, и это не считая усяных.

По привычке подумал про Ташку и прислушался к себе — вот сейчас сердце ёкнет.

Не ёкнуло.

Велел себе вспомнить про Князя, про то, как улепетывал из подвала.

Ну Князь, ну улепетывал. Всю жизнь что ль теперь трястись?

Больше недели и помыслить боялся о том, чтоб сунуться на Хитровку, а сейчас вдруг почувствовал: пора, можно.

КАК СЕНЬКА ПЛАКАЛ

В Хохловский пробрался дворами — с Покровки, через Колпачный. Ночь была хорошая — безлунная, с мелким дождиком, с туманцем. В пяти шагах ни хрена не разглядишь. А Скорик еще, чтоб меньше отсвечивать, надел под черную тужурку черную же рубаху, даже рожу, в смысле лицо, сажей намазал. Когда из подворотни в переулочек вынырнул, аккурат к костерку, где согривались вином двое хитрованцев, те на черного человека охнули, закрестились. Кричать, однако, не стали — не в той уже были кондиции. А может, подумали, примерещилось.

Сенька башкой, то есть головой, вправо-влево покрутил, провел ре-ког-но-сци-ровку. Ничего подозрительного не приметил. В домах тускло светились окошки, где-то пели, из «Каторги» доносился матерный лай. Хитровка как Хитровка. Даже стыдно сделалось, что столько дней гузкой тряс, а выражаясь интеллигентно, малодушничал.

Больше осторожничать не стал, повернул прямо во двор, к Ташкиной двери. Под мышкой нес сверток с гостинцами: Ташке новую гимназическую форму с белым передником для ее новой карьеры, щенку Помпошке теннисный мячик, чахоточной мамке бутылку «Двойной крепкой» (пусть уж упьется наконец до смерти, помрет счастливая и дочь от себя освободит).

В единственной окошке торчали цветы, света не было. Это хорошо. Если б у Ташки клиент был, то у кровати на тумбочке горела бы керосиновая лампа под красным абажуром, и занавеска от этого тоже была бы красная. Значит, не суйся никто, работает девка. А раз темно, значит, отработала свое, спать легли.

Сенька постучал пальцем в стекло, позвал:

— Таш, это я, Скорик...

Тихо.

Тогда шумнул еще, погромче, но не так чтоб во весь голос — все же опасался чужих ушей.

Дрыхли. Даже пуделенок, и тот помалкивал, не унюхал гостя. Видно, набегался за день.

Скорик зачесал в затылке. Чего делать-то? Не переключать же трансмиссию на задний ход?

Вдруг видит — а дверь-то чуть-чуть приоткрыта.

Так обрадовался, что даже не спросил себя, отчего это у Ташки среди ночи засов не задвинут. Будто не на Хитровке живет.

Шмыгнул внутрь, дверь запер, позвал:

— Таш, проснись! Это я!

Все равно тишина.

Ушли что ли? Куда это среди ночи?

Тут его как пронзило.

Съехали! Случилось у Ташки что-то, вот и покинула квартиру. (Сенька теперь знал, что правильной говорить «квартира», но это когда настоящее жилье, с гардинами и мебелью, а у Ташки-то самая что ни на есть квартира.)

Но не могло того быть, чтоб она съехала, а товарищу никакой весточки не оставила.

Сенька нащупал в темноте лампу, полез в карман за спичками. Зажег.

И увидел, что никуда Ташка не уехала.

Она лежала, прикрученная к кровати. Пол-лица залеплено аптекарским пластырем, застывшие глаза яростно смотрят в потолок, а рубашонка вся порвана и в бурых пятнах.

Кинулся развязывать, а Ташка твердая, холодная. Будто телячья туша в мясницком погребе.

Сел он на пол, прижался лбом к жесткому Ташкиному боку и заплакал. Не то чтоб даже от горя или с перепугу, а просто заплакал и всё — душа захотела. И не думал ни о чем. Всхлипывал, вытирал ладонью слезы, рукавом сопли, иногда и подвывал.

Плакал пока плакалось — долго. И это еще ничего было, а вот когда все слезы вылились, тут стало Сеньке худо.

Он поднял голову и увидел совсем близко Ташкину руку, прижатую веревкой к кроватиной раме. Пальцы на

руке торчали не как у живых, а во все стороны, словно сучки на ветке, и от этого Скорик ушел совсем немощным. Он пополз задом, подальше от раскоряченных пальцев, ткнулся каблуком в мягкое, обернулся.

У стены, на своей всегдашней подстилке, лежала Ташкина мамка. Глаза у нее были закрыты, а рот, наоборот, разинут, и на подбородке запеклась кровь.

Некстати подумалось: по-другому он ее никогда и не видал — только на этой вот драной подстилке. Правда, раньше она всё валялась пьяная, а теперь мертвая. На рванье жила, на рванье и померла.

Но это уже как бы и не Скорик, а некто другой за него подумал. Этот самый другой, который и раньше, бывало, себя показывал, плакать не хотел. Он шепнул: «Не по-божески выйдет, если зверюга, который над Ташкой такое учинил, останется на свете жить. Ну, жди, гад кровавый, будет тебе за это от нас с Эраст Петровичем полная справедливость».

Вот как сказал второй Сенька, дождавшись, пока первый Сенька отплачется. Правильно сказал.

Уже выходя, Скорик заметил у самой двери вроде как малый моток белой шерсти. Наклонился, увидел мертвого кутенка Помпония, и здесь оказалось, что у первого Сеньки далеко не все слезы вытекли, много еще оставалось. Хватило на всю дорогу до Спасских казарм.

— Та же картина, что у Синюхиных и Самшитовых, — хмуро сказал господин Неймлес, закрывая Ташкино лицо белым платком. — Маса, твое мнение относительно последовательности событий?

Сейсей показал на дверь:

— Выбир дверь одним ударом. Восёр. Быстро. На него прыгнула собачка. Убир ее ногой, вот так. — Маса топнул, словно впечатав каблук в пол. — Потом сгнул сюда. — Японец в два больших шага приблизился к недвижной мамке. — Она спала. Он ударил ее в висок. Сразу убир. Потом схватил девотку, привязал к кровати, стар мутить.

— Что стал? — болезненно скривившись, спросил Скорик.

— Мучить, пытать, — перевел Эраст Петрович. — Как прежде истязал Синюхина и Самшитова. Видишь, какие у нее п-пальцы. Это убийца выламывал их один за другим. А волосы?

Сенька тускло поинтересовался:

— Что волосы?

Инженер сдвинул платок. Голос у Эраста Петровича был бесстрастный, словно прихваченный морозцем.

— Вот здесь, на т-темени, кровь. И здесь. И здесь. А на полу ключья. Некоторые с лоскутами кожи. Это он выдирает ей волосы.

— Зачем? Что она ему сделала?

Стыдно это было, нехорошо, что разговор у них выходил такой деревянный, будто о чужом человеке, но господин Неймлес всем видом показывал: сейчас работаем, участвует только мозг, сентименты после. А у Сеньки все одно плакать мочи больше не было, и все чувства из него вытекли вместе со слезами.

— Может, подцепила сумасшедшего клиента? — спросил он, натанув платок обратно, чтобы снова не раскиселиться. — Это на Хитровке бывает. Приведет мамзелька такого: с виду человек как человек, а сам изверг.

Инженер кивнул, как бы одобряя Сенькины дедуктивные усилия.

— Версия клиента-садиста могла бы считаться основной, если бы не сходство этого преступления с двумя предыдущими. Истребление всего живого. Это раз. Применение пыток. Это два. Тот же район. Это три. Кроме того... — Он бестрепетной рукой заголил Ташке ноги, нагнулся и потянул из кармана лупу. Скорик поскорей отвернулся, стал кашлять, чтоб протолкнуть из горла ком. — М-да, никаких следов насилия или полового надругательства. Как чувственный объект жертва убийцу не интересовала. Взглянем на губы...

Маса подошел, а Сенька смотреть не стал.

Легонько затрещало — это Эраст Петрович, надо думать, отдирает у Ташки со рта пластырь.

— Так и есть. Пластырь несколько раз отлепляли и прилепляли. Мучитель вновь и вновь спрашивал о чем-то, а девочка ему не отвечала.

Это навряд ли, подумал Скорик, чтоб Ташка такому ироду ничего не отвечала. Еще как, поди, отвечала, самими что ни на есть громкими словами. Только тут, в Хохловском, ори не ори, ругайся не ругайся, никто не придет, не выручит.

— А вот это интересно. Маса, посмотри на ее з-зубы.

— Морозец, — сказал сенсей и одобрительно поцокал языком. — За парец его цапнура.

— Эх, жаль нет лаборатории, — вздохнул инженер. — Взять бы частицу крови преступника на анализ. Да в московской полиции, вероятно, не слыхали о методике Ландштейнера... Но все же нужно каким-то образом привлечь внимание следователя к этой д-детали...

Они с Масой склонились над Ташкой, а Сенька, чтоб без дела не торчать, прошелся по комнате. В окошке были выставлены три белых нарцисса. На языке цветов это что-то значило. «Я тебя люблю»? Или, может, «чтоб вы все, гады, провалились»? Теперь уж никто не переведет...

— Эх, — сказал Сенька вслух, больше самому себе, в укор. — Мне бы пораньше придти, до темна. Больно осторожничал, вот и припозднился.

Эраст Петрович мельком оглянулся.

— До темна? Убийство совершено по меньшей мере третьего дня, а скорее всего т-трое суток назад. Так что ты, Сеня, припозднился сильнее, чем тебе кажется.

И то верно. Вон и нарциссы на окошке совсем подвяли.

А что не заметил никто, так ведь это Хитровка. Если помрет кто, то так и будет лежать, пока соседи тухлятину не унюхают.

— Если это не полоумный, то чего он от Ташки-то хотел? — спросил Скорик, глядя на мертвые цветы. — Чего с нее взять?

— Не «чего», а «кого», — ответил инженер, как бы даже удивившись вопросу. — Тебя, Сеня. Ты очень нужен этому настырному господину. Зачем — сам знаешь.

— Беда! — всплеснул руками Сенька. — Я Ташке про вас и господина Масу рассказывал. Что вы в Ащеуловом переулке живете, тоже говорил! Если он, душегуб этот, такой настырный, то непременно визнает, куда мы съе-

хали! Ломовиков найдет, что вещи перевозили, поспрошает... Ведь три дня уже прошло! Бежать надо!

— Не «поспрошает», а «расспросит», — строго сказал инженер, стягивая тонкие каучуковые перчатки. — А бежать мы никуда не будем. По двум причинам. Мы твоего д-доброжелателя не боимся, пускай приходит — нам же проще. Это раз. И потом, ты скверного мнения о мадемуазель Ташке. Она тебя не выдала, ничего палачу не сказала. Это два.

— Почему вы знаете, что не выдала?

— Не забывай: я имел честь быть знакомым с этой незаурядной особой. Она была тебе настоящим т-товарищем. Ну а кроме того, если б она заговорила, то пластырь с ее рта был бы снят. Раз не снят, значит, она до самого конца так и не заговорила.

И здесь время, отведенное на дедукцию, видимо, закончилось, потому что лицо господина Неймлеса из сосредоточенного и деловитого стало безмерно печальным.

— Жалко девочку, — сказал Эраст Петрович и положил Сеньке руку на плечо.

Плечо немедленно затряслось — само по себе, и ничего поделать с этим было нельзя.

А Маса подобрал с пола щенка, бережно пристроил на подоконник, поближе к нарциссам.

— И сенка тодзе дзярко. Он быр храбрый. В средусей дзизни родится самураем.

Но несентиментальный инженер велел положить Помпония обратно на пол — «дабы не замутнять для следователя, и без того не слишком т-толкового, картину преступления».

КАК СЕНЬКА ДЕДУКТИРОВАЛ

Сенька и Маса сидели в кабинете, тихонько. Смотрели, как Эраст Петрович, потряхивая четками, прохаживается по комнате. Скорик уже знал: нужно помалкивать, терпеливо ждать, чего будет.

Один раз инженер остановился посреди комнаты, спрятал зеленые камешки в карман и быстро хлопнул в ладоши, три раза подряд, будто вдруг безмерно чему-то обрадовался.

Но сенсей приложил палец к губам: сиди помалкивай, не всё еще.

Однако вскоре после этого господин Неймлес топтать ковер перестал, сел в кресло и заговорил — раздумчиво, будто бы сам с собой:

— Итак. Совершено три жестоких убийства: первое и третье на Хитровке, второе в пяти минутах ходьбы от Хитровки, но тоже на территории, подведомственной Третьему Мясницкому участку городской полиции. В общей сложности преступник лишил жизни восемь человек — двоих мужчин, трех женщин, трех детей — и еще почему-то попугая и собаку. Каждый раз одну из жертв перед смертью жестоко истязали, выведывая некие п-потребные убийце сведения. Ни улик, ни свидетелей нет. Таковы вкратце условия стоящей перед нами задачи. Что требуется — понятно. Найти выродка и передать в руки правосудия.

— А если не поручиться дзивьем, тогда передать его правосудию в виде турупа, — быстро добавил Маса.

— Если при задержании преступник окажет с-сопротивление, тогда, *исчерпав дозволенные законом меры самообороны*, — здесь инженер поднял палец и со значени-ем посмотрел на своего камердинера, — возможно, не удастся избежать упомянутого тобой исхода.

— Найти бы его, паскуду, и башку оторвать, — вставил свое слово Сенька.

— Не б-башку, а голову. Но как бы там ни было, сначала нужно его найти. — Эраст Петрович обвел взглядом участников совещания. — Есть ли вопросы, прежде чем мы перейдем к дедуктированию и п-практическим мерам?

Сенька не знал, чего спрашивать, а японец, почесав жесткий ежик волос, задумчиво протянул:

— Са-а. Господзин, а потему «убийца», не «убийцы»?

Эраст Петрович кивнул, признавая правомочность вопроса.

— Ты весьма убедительно изобразил, как д-действовал преступник в Хохловском переулке. Зачем ему был нужен сообщник?

— Это не аргумент, — отрезал Маса.

— Согласен. Я должен был спросить: зачем ему понадобился бы сообщник именно в этом случае, если прежде убийца отлично справлялся и сам? На Сеню в подвале напал один человек. Это раз. — Господин Неймлес снова вынул четки, шелкнул бусиной. — В ювелирной лавке тоже действовал одиночка, что установлено полицией. Это два. — Щелкнула вторая бусина. — Наконец, в Ерошенковской ночлежке преступник опять-таки отлично обошелся без чьей-либо помощи. Как ты помнишь из рассказа Сени, Синюхин говорил о преступнике «он». Так, Семен?

— Так, — припомнил Скорик. — Синюхин еще «звзрюгой» его обозвал.

Немножко стыдно стало, что не всю правду тогда Эрасту Петровичу открыл — про клад-то смолчал.

Инженер словно подслушал это Сенькино угрызение.

— Ну а теперь, если у вас больше вопросов нет, переходим к главному — составим план розыскных м-мероприятий. И ключевое слово здесь — клад.

Скорик вздрогнул, заморгал глазами, зато сенсей нисколько не удивился, еще и головой покивал:

— Да-да, крад.

— Поведение п-преступника, все его чудовищные деяния перестают казаться бессмысленными, если нанизать их на эту нить. — Господин Неймлес сосредоточенно по-

смотрел на четки. — Логическая последовательность здесь выстраивается следующая. Каляка из ерохинских подвалов нашел старинный клад. [Бусиной — шелк.] Об этом узнал будущий убийца. [Второй раз — шелк.] Он попытался вытрясти из Синюхина эту тайну, но не сумел. [Третий раз — шелк.] Зато перед смертью каляка открыл секрет клада нашему Сене. [Четвертый раз — шелк.] Здесь Скорик поежился и, судя по разогревшимся щекам, даже покраснел, но Эраст Петрович на него не смотрел — говорил так, будто и без Сеньки всё знает.] Д-далее. Убийца каким-то непонятным образом выяснил, что Сене известно местонахождение сокровища. [Пятый раз — шелк.] То есть, нам непонятно, *каким образом* преступник об этом узнал, но зато понятно, *откуда*. След, по которому господин к-кладоискатель вышел на Сенью, вел от ювелирной лавки. [Шестой раз — шелк.] Полагаю, что Самшитов рассказал убийце и про тебя, и про то, где тебя можно найти — подтверждением тому является некий визит в нумера мадам Борисенко. [Седьмой раз — шелк.]

Скорик замигал — какой такой визит? Инженер и японец переглянулись, и Эраст Петрович сказал:

— Да, Сенья, да. Тебя спасло только то, что ты в тот же вечер переехал, не оставив адреса, а еще через несколько часов мы забрали тебя к себе. На следующий день м-мадам Борисенко сообщила Масе, что ночью у тебя в комнате кто-то был. Вскрыл дверь, ничего не тронул и ушел. Мы не стали тебе об этом говорить, потому что ты и без того был изрядно напуган.

Сенька подпер кулаком подбородок — вроде как в задумчивости, а на самом деле, чтоб не стучали зубы. Матушка Пресвятая Богородица, лежать бы и ему прикрученным к кровати, как Ташка, если б остался тогда ночевать, решил бы, что утро вечера мудренее.

— С т-твоим исчезновением убийца на несколько дней потерял след. Но потом ты появился на Хитровке, и это сразу стало известно преступнику — не знаю, случайно или неслучайно. Откуда-то он узнал, что ты вошел в Ерошенковскую ночлежку, и устроил засаду недалеко от

выхода. Твоя неосторожность чуть не стоила тебе жизни. [Восьмой раз — шелк.]

— Ништо, меня голыми руками не возьмешь, — бодрясь, сказал Скорик. — Хотел он меня жизни лишить, да я скользкий, вывернулся, еще палкой его огрел. Будет помнить.

— Если бы он хотел тебя убить, то убил бы. Сразу, — охолонил его инженер. — Он отлично умеет это делать — хоть ножом, хоть голыми руками. Нет, Сеня, ты был нужен ему живой. Он заставил бы тебя раскрыть местонахождение клада, а уже потом убил бы.

От этих слов Сенька снова подбородок подпер, только уже не одним кулаком, а двумя.

— Потеряв твой след после убийства ювелира, убийца решил з-зайти с другой стороны. На Хитровке многие знали о твоей дружбе с мадемуазель Ташкой. Знал об этом и твой п-поклонник. [Девятый раз — шелк.] Сначала он, видимо, пытался у нее что-то выведать, не прибегая к крайним мерам. Об этом она и шепнула тебе на ходу — хотела предупредить об опасности. Очевидно, преступник наведывался к ней и после неудачного нападения в подвале. Недаром Ташка выставила на окно нарциссы. Если я правильно помню, на языке цветов три белых нарцисса — это сигнал «беги-беги-беги».

А ведь верно, вспомнил Скорик. Ташка же когда-то рассказывала и про белые нарциссы, и про то, что один сигнал, будучи повторенным, удваивает или утраивает силу послания, навроде восклицательного знака.

— В конце концов, — инженер посмотрел на четки, но шелкать больше не стал, — злодей решил взяться за девочку всерьез.

— А она меня не выдала... — Сенька не сдержался, всхлипнул. — Да пропади он пропадом, этот клад! Лучше б Ташка сказала ему, что я обещался к ней придти — может, он бы тогда ее не тронул. А я бы всё отдал, пускай он, падаль, подавится своим серебром! Это Князь, да? Или Очко? — смахнув рукавом слезы, спросил он. — Вы ведь, наверно, уже раздедуктировали?

— Нет, — разочаровал Сеньку господин Неймлес. — У меня недостаточно д-данных. Покойный каляка был

слишком привержен к питию и, кажется, не умел держать язык за зубами. Раз о найденном кладе прослышали в шайке Князя, значит, могли знать и другие.

Потом наступило молчание. Скорик изо всех сил боролся с чувствительностью организма: с зубами, чтоб не клацали, с коленками, чтоб не дрожали, и со слезами, чтоб не текли. Эраст Петрович по своей дурацкой привычке ни с того ни с сего принялся марать бумагу. Обмакнул кисточку в тушечницу, намалевал на листке какую-то мудреную загогулину. Маса внимательно следил за кисточкой. Покачал головой:

— Нехорош.

— Сам вижу, — пробормотал инженер и закалякал снова, только быстрее. — А так?

— Ручше.

Нет, прямо малолетки какие-то, ей-богу! Тут такие дела, а они!

— Что вы хреню маетесь? — не выдержал Сенька. — Делать-то чего будем?

— Не «хреню маетесь», а «занимаетесь ерундой». Это раз. — Эраст Петрович склонил голову, любясь своими каракулями. — Я не занимаюсь ерундой, а концентрирую мысль при помощи каллиграфии. Это два. Безупречно написанный иероглиф «справедливость» помог мне перейти от дедукции к п-проекции. Это три.

Скорик подумал и спросил:

— А?

Господин Неймлес вздохнул:

— Если ты чего-то недопонял или не расслышал, нужно говорить: «Простите, что?» Проекция в данном случае означает вывод аналитических умопостроений в п-практическую фазу. Итак. Благодаря твердости мадемуазель Ташки убийца остался ни с чем. Где и как тебя искать, ему неизвестно. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо.

— Чего ж плохого-то? — удивился Сенька.

— Преступник (предлагаю пока дать ему имя Кладоскатель) не может действовать, а стало быть, никак себя не проявит и ничем себя не выдаст. — Эраст Петрович

оценивающе посмотрел на Скорика. — Можно, конечно, половить на живца, то есть нарочно подставить ему тебя, но слишком уж этот господин б-брутален. Ловля может выйти рискованной.

С этим Сенька спорить не стал. Видел он, как на живца-то ловят — на уклею там или еще на какую малую рыбешку: сначала щука наживку зацапает, в хребте зубьями увязнет, и только потом уж ее, хапугу, вытягивают ответ держать.

— А без живца его ловить как-нибудь можно? — осторожно поинтересовался он.

— Модзьно, — сказал сенсей. — Не на дзивца, а на мертвеца. Да, господзин? Я угадар?

Эраст Петрович нахмурился:

— Да, угадал. Но сколько раз тебе говорить: не пытайся каламбурить. Для этого ты еще недостаточно овладел русским языком.

Сенька наморщил лоб. Выходило, что он один тут дурак, а остальные все умные.

— Какого еще мертвеца?

— Маса имеет в виду даму по имени Смерть, — объяснил инженер. — Каким-то пока непонятным нам образом все хитровские з-злодеяния, произошедшие за последний месяц, связаны с этой особой. Равно как и все основные действующие лица: и Князь, и Очко, и прочие корифеи делового мира, и не в меру шустрый пристав, да и главная мишень Клагоискателя тоже.

Это про меня, догадался Скорик.

— Вы хотите его через Смерть поймать? Думаете, она заодно с этим гадом? — недоверчиво спросил он.

— Нет, не д-думаю. Более того, она согласилась мне помочь.

Вот это новость! Выходит, когда разочаровавшийся в людях Сенька через форточку вылез, они о чем-то там меж собой уговорились? Верней, он ее уговорил, растравил себе душу Скорик. И не удержался, с небрежным видом спросил:

— Что, уделали ее? Чай, нетрудно было.

Голос, иуда, дрогнул.

Инженер же легонько щелкнул Сеньку по лбу.

— Подобных вопросов, Сеня, не задают, и уж во всяком случае на них не отвечают. Это раз. О женщинах вообще в п-подобном тоне не говорят. Это два. Но поскольку мы все, и в том числе она, будем делать одно общее дело, во избежание д-двусмысленностей отвечу: я эту барышню не «уделал» и даже не пытался. Это три.

Верить или нет? Может, попросить, чтоб побожился?

Скорик испытующе посмотрел на господина Неймлеса и решил, что такой врать не станет. Сразу будто камень с души свалился.

— А чем Смерть может нам помочь? — перешел он на деловитый тон. — Если б чего про Кладойскателя этого знала, то, верно, сказала бы. Она зверства всякие не одобряет.

Маса значительно покряхтел — мол, готовьтесь, сейчас объявлю важное. Сенька к японцу повернулся, а тот произнес такое, что не поймешь — не разберешь:

— *Тайфу-но мэ.*

Но инженер понял.

— Именно. Очень точная м-метафора. Око тайфуна. Знаешь, Сеня, что это такое? — Дождавшись, пока Скорик помотает головой, стал объяснять. — Тайфун — это страшный ураган, который несется по морям и землям, сея разрушение и ужас. Но в самом центре этого вихря сохраняется очаг безмятежного покоя. Внутри тайфунова ока царит мир, но без этого с-статичного центра не было бы и свирепого смерча. Смерть не преступница, она никого не убивает — просто сидит у окна и вышивает на полотне причудливые узоры. Но самые беспощадные злодеи миллионного города роятся вокруг нее, как пчелы вокруг матки.

— Тодзе хорошее сравнение, — похвалил Маса. — Но мое все-таки лучше.

— Во всяком с-случае, романтической. В эти дни я несколько раз навещался в дом на Яузский бульвар и имел возможность узнать хозяйку ближе.

Ах, вот как? Сенька снова набылчился. Ну вы, Эраст Петрович, и ловкач, всюду поспеваете. «Узнать ближе» — это как?

— Во время нашей последней встречи, — продолжил господин Неймлес, очевидно, не замечая Сенькиных страданий, — она сказала, что чувствует за собой слежку, хоть и не понимает, кто именно за ней следит. Выйдя на бульвар, я тоже уловил боковым зрением тень, спрятавшуюся за угол дома. Это обнадеживает. Мадемуазель Смерть теперь — наш единственный шанс. Господин Кладосискатель, убив Ташку, собственными руками оборвал ниточку, ведущую к тебе. Теперь, когда он остался у разбитого к-корыта...

— А? В смысле, простите, что? Какого корыта? — спросил Скорик, слушавший с напряженным вниманием.

Эраст Петрович ни с того ни с сего засердился:

— Я велел тебе купить сборник Пушкина и прочесть хотя бы сказки!

— Я купил, — обиделся Сенька. — Там много было Пушкиных. Я вот этого выбрал.

И в доказательство достал из кармана книжку, третьего дня купленную на развале. Книжка была интересная, даже с картинками.

— «Запретный Пушкин. Стихи и поэмы, ранее ходившие в списках», — прочитал заглавие инженер, нахмурился и стал перелистывать страницы.

— И сказки прочел, — еще больше оскорбился на такое недоверие Скорик. — Про архангела и Деву Марию, потом про царя Никиту и его сорок дочерей. Не верите? Хотите перескажу?

— Не надо, — быстро сказал Эраст Петрович, захлопывая книжку. — Ну и негодяй.

— Пушкин? — удивился Сенька.

— Да не Пушкин, а издатель. Нельзя печатать то, что автором для печати не предназначалось. Так можно далеко зайти. Помяните мое слово: скоро господа издатели дойдут до того, что начнут печатать интимную п-переписку! — Инженер сердито швырнул томик на стол. — Кстати, именно о переписке я намеревался с тобой, Сеня, говорить. Раз за Смертью следят, появляться у нее больше нельзя. Установить постоянное наблюдение за домом тоже вряд ли удастся — чужого человека сразу заметят. Значит, будем общаться д-дистанционно.

— Как это — дистанционно?

— Ну, эпистолярно.

— В засаде, что ли сядем, с пистолетами? — Идея Сеньке понравилась. — И мне пистолет дадите?

Эраст Петрович озадаченно уставился на него.

— При чем здесь п-пистолет? Мы будем переписываться. Я госпожу Смерть навещать больше не могу. Маса тоже — слишком приметен. Сеньке Скорика там появляться тоже ни к чему. Верно?

— Да уж.

— Остается писать друг другу письма. Мы с ней условились так. Каждый день она будет ходить в церковь святого Николая, к обедне. Ты сядешь на паперти, переодетый нищим. Вместе с милостыней мадемуазель Смерть будет передавать тебе записки. Я почти уверен, что Кладоискатель себя проявит. Он наверняка слышал о том, как ты наставил Князю рога.

— Кто, я?! — ужаснулся Сенька.

— Ну да. Вся Хитровка про это говорит. Даже в агентурную сводку попало, мне знакомый чиновник из сыскной полиции показывал. «Объявленный в розыск бандит Дрон Веселов (прозвище «Князь») грозит найти и убить любовника своей подруги, несовершеннолетнего Скорика, местонахождение и подлинное имя которого неизвестны». Так что, Сеня, для всех ты — любовник Смерти.

КАК СЕНЬКА ЧИТАЛ ЧУЖИЕ ПИСЬМА

В кабинете у Эраста Петровича имелось большое зеркало. То есть сначала-то там никакого зеркала не было, это инженер распорядился пристроить на письменном столе трюмо, перед которым расставил всякие баночки, скляночки, коробочки — ни дать ни взять парикмахерский салон. Кстати сказать, там еще и парики были, самой разной волосатости и окраски. Когда Сенька спросил, мол, это вам зачем, господин Неймлес ответил загадочно: у нас, говорит, начинается сезон маскарадов.

Скорик подумал, шутит. Однако ему же первому и выпало в ряженого сыграть.

Наутро после дедукции-проекции Эраст Петрович усадил Сеньку перед зеркалом и давай над сиротой измываться. Сначала голову какой-то дрянью намазал, отчего пропала вся куафюра, за которую три рубля плочено. Волосья от нехорошей мази из приятно-золотистых стали спутанными, липкими, сосулистыми и мышиного цвета.

Маса, наблюдавший за измывательством, довольно поцокал, говорит:

— Воськи надо.

— Без тебя з-знаю, — ответил сосредоточенный инженер, залез щепотью в некую коробочку и втер Сеньке в затылок какие-то не то зернышки, не то катышки.

— Чего это?

— Сушеные вши. Нищему без этой ф-фауны никак. Не беспокойся, потом промоем керосином.

У Скорика челюсть отвисла. Коварный господин Неймлес этим воспользовался и покрасил золотую фикса в гнилой цвет, а потом засунул в разинутый рот какую-то дулю в марле, пристроил между десной и щекой. От это-

го всю рожу, то есть лицо, у Сеньки перекосило набок. А Эраст Петрович уже натирал страдальцу лоб, нос и шею маслом, от которого кожа стала землистая, пористая.

— Уси, — подсказал сенсей.

— Не слишком будет? — усомнился инженер, однако пошуровал палочкой у Сеньки в ушах.

— Щекотно!

— Пожалуй, с гноящимися ушами и в самом деле лучше, — задумчиво сказал Эраст Петрович. — Перейдем к г-гардеробу.

Достал из шкафа такое рваньё, какого Сенька отродясь не нашивал, даже в худшие времена проживания у дядьки Зот Ларионыча.

Посмотрел Скорик на себя в тройное зеркало, повертелся и так, и этак. Ничего не скажешь, нищий вышел на славу. И, главное, кто из знакомых увидит — нипочем не узнает. Тревожило только одно.

— У них, у нищих, все места промеж собой расписаны, — стал он объяснять Эрасту Петровичу. — Надо с ихним старшиной договариваться. Коли просто так на паперть заявиться, прогонят, да еще накостыляют.

— Будут гнать, пожуй вот это. — Инженер дал ему гладкий шарик. — Это обычное детское мыло, с клубничным вкусом. Фокус простой, но эффективный, у одного знаменитого афермахера позаимствовал. Только, как пена изо рта пойдет, не забывая закатывать г-глаза.

Поначалу Скорик все же опасался. Пришел к Николе-Чудотворцу что на Подкопае, сел на паперти с самого краешку, глаза на всякий случай сразу под самый лоб укатил. Бабка-кликуша и дед-безнос, что промышляли по соседству, заворчали: вали, мол, отсель, знать тебя не знаем, и так подают плохо, вот придет Будочник, он тебе уже пропишет, и еще всякое.

Когда же явился Будочник и нищие стали ему на новенького ябедничать, Сенька погнал из губ пену, затряс плечами, да еще захныкал тоненько. Будочник посмотрел-посмотрел и говорит: вы что, стервы, не видите — он взаправду припадошный. Не трожьте его, пускай кор-

мится, не буду за него с вас мзду брать. Вот он какой, Будочник — справедливый. Потому и прожил на Хитровке двадцать лет.

Нищие от Скорика и отстали. Он малость отмяк, глаза из-под лба обратно скатил, начал по сторонам зыркать. Подавали и правда немного, всё больше копейки и грошики. Раз мимо Михейка Филин прошел. Сенька от скуки (а еще чтоб проверить, хорош ли маскарад) ухватил его за полу, заныл: дай, дай денежку убогому. Филин денежки не дал, еще и обругал матерно, но узнать не узнал. Тут Скорик совсем успокоился.

Когда зазвонили к обедне и бабы потянулись в церковь, из-за угла Подколокольного вышла Смерть. Одета была невидно — в белом платке, сером платье, но всё равно в переулке будто солнце из-за туч выглянуло.

Оглядела попрошаек, на Сеньке взглядом не задержалась. Вошла в двери.

Эге, забеспокоился он. Не перестарался ли Эраст Петрович? Как Смерть поймет, кому записку передавать?

И когда молещики после службы стали выходить, Сенька нарочно загнусавил с заиканием — чтоб Смерть сообразила, на кого намек:

— Люди д-добрые! Не сердитесь на с-сироту убогого, что п-побираюся! П-помогите кто чем м-может! А сам я не из этих м-местов, з-знать тута никого не з-знаю! Д-дайте хлебца к-кусок да денег ч-чуток!

Она пригляделась к Сеньке, приснула. Значит, догадалась. Каждому из нищих дала в руку по монетке. И Скорика тоже пяточок сунула, а с ним свернутую в квадратик бумажку.

Пошла себе, прикрывая рот концами платка — вот как Сенькин вид ее распотешил.

Ну, а он, едва с Хитровки уковылял, сразу сел у афишной тумбы на корточках, развернул листок, стал читать. Почерк у Смерти был ровный, для чтения легкий, хоть буковки совсем махонькие.

«Здравствуйте Эраст Петрович. Что вы велели я всё исполнила. Лепесток как обещала на грудь повесила и он сразу приметил. [Что за лепесток, почесал затылок Сень-

ка. И кто это «он»? Ладно. Может, после прояснится.] *Скривился весь говорит чудная ты. Дрянь какую повесила а мое дареное не носишь. Стал допытываться не подарил ли кто. Я как условлено говорю Сенька Скорик. Он в крик. Пащенко говорит. Доберусь раздери в ключья.* [Так это ж она про Князя! Мятый листок так и заходил у Сеньки в руках. Что она делает-то? Зачем наговаривает? Совсем погубить хочет! Не знаю никакого лепестка! Не то что не дарил — в глаза не видывал! Дальше глазами по строчкам быстрее побежал.] *Тяжко с ним. По все время не-трезвый хмурый и грозитя. Ревнует меня очень. Хорошо хоть только к Скорику.* [Да уж куда лучше, жалобно скривился Сенька.] *А узнал бы про прочих то-то крови бы полилось. Я к нему заходила и так и этак. Отпирается. Говорит ведать не ведаю кто такую беспардонщину творит самому знать желательнo. Вызнаю тебе скажу коли интересуешься. А правду ли говорит или врет не скажу потому что он теперь стал не такой как прежде. Будто не человек а хищный зверь. Клыки по всё время ощерены. А еще хочу вам сказать про наш прошлый разговор что за безобразие вы меня Эраст Петрович не корите. Что у человека на роду написано в том он не волен а волен только это свыше написанное повернуть на злое или на доброе. И не говорите со мной так больше и про это не пишите потому что незачем.*

Смерть»

Про что про «это» не писать и не говорить? Не иначе как про ее непотребное распутство с Селезнем и прочими гадами.

Сложил Сенька записку обратно как было, квадратнoм, понес Эрасту Петровичу. Очень хотелось порасспросить хитроумного господина Неймлеса, зачем это он удумал Князя против сироты еще больше растравлять, для какой такой надобности? И что за лепесток такой, якобы им, Сенькой, Смерти дарёный?

Однако спросить — только себя выдать, что в письмо нос совал.

Всё равно открылось.

Инженер только глянул на бумажку и сразу укоризненно покачал головой:

— Нехорошо, Сеня. Зачем прочел? Разве к тебе писано?

— Ничего я не читал, — попробовал упираться Скорик. — Больно надо.

— Ну как же. — Эраст Петрович провел пальцем по сгибам. — Развернуто и снова свернуто. А это что пришло? Никак вошь? Вряд ли это с-собственность мадемуазель Смерти.

От такого разве что утаишь?

Назавтра Скорик тоже получил от господина Нейм-леса письмо, но не просто листочком — в конверте.

— Раз ты такой любопытный, — объявил инженер, — я свое послание 3-заклеиваю. Языком отлизать не пытайся. Это патентованный американский клей, схватывает насмерть.

Долго мазал крошечный конвертик кисточкой, потом жал сверху пресс-папье.

Сенька только диву давался. Вот уж воистину — на всякого мудреца.

Едва выйдя за порог, конвертик разорвал и выкинул. Такие, десятикопеечные, для амурных записок, в каждой канцелярской лавке продаются. Купить новый, переложить туда письмо, да и заклеить безо всякого хитрого клея, вот и вся недолга. Кому-куда на конверте ведь всё равно не написано...

Читать или не читать — о том Скорик и не думал. Конечно, прочесть! Как-никак его, Сенькина, судьба решается.

Записка была на папиросной бумаге, а почерк у Эраста Петровича оказался красивый, с изящными завитушками.

«Здравствуйте, милая С.

Позвольте называть Вас так — терпеть не могу Ваше прозвище, а настоящее имя Вы назвать не хотите. Простите, но я не могу поверить, что Вы его забыли. Впрочем, как Вам будет угодно. Перехожу к делу.

С первым понятно. Теперь проделайте то же со вторым, только подводите его к нужной теме неявно. Насколько я могу судить, этот субъект помудреней Князя. Достаточно, чтобы он просто увидел известный предмет. А вот если сам спросит, тогда скажете, как условлено, про СС. [Что за «СС» такой? Сенька потер перепачканный копотью лоб, отчего из волос просыпалась пара сушеных вшей. Ай, это же «Сенька Скорик», вот это кто! Что же у них, интригантов, про него условлено?] Простите, что возвращаюсь к неприятной для Вас теме, но мне мучительна мысль о том, что Вы подвергаете себя осквернению и мукам — да-да, я уверен, что для Вас это страшная мука — во имя недоступных моему пониманию и наверняка ложных идей. Зачем вы казните себя так жестоко, топите свое тело в грязи? Оно ни в чем перед вами не виновато. Вам не за что его ненавидеть. Тело человека — это храм, а храм нужно содержать в чистоте. Кто-то скажет на это: подумаешь — храм. Дом как дом: камень да строительный раствор, лишь бы душу не запачкать, а что тело, Бог ведь не в плоти, а в душе живет. Но в оскверненном, грязном храме никогда не свершится Божественное таинство. И про то что у человека всё на роду написано, вы заблуждаетесь. Жизнь — это не книга, по которой возможно двигаться лишь вдоль написанных кем-то за Вас строчек. Жизнь — равнина, на которой бессчетное множество дорог; на каждом шагу новая развилка, и человек всегда волен выбрать, вправо ему повернуть или влево. А потом будет новая развилка и новый выбор. Всяк идет по этой равнине, сам определяя свой путь и направление — кто на закат, ко тьме, кто на восход, к источнику света. И никогда, даже в самую последнюю минуту жизни, не поздно взять и повернуть совсем не в ту сторону, к которой двигался на протяжении долгих лет. Такие повороты случаются не столь уж редко: человек шел всю жизнь к ночной тьме, а напоследок вдруг взял и обернул лицо к восходу, отчего и его лицо, и вся равнина осветились другим, утренним сиянием. Бывает, конечно, и наоборот. Я плохо, путано объясняю, но мне почему-то кажется, что Вы меня поймете.

Э.Н.»

В общем, интересного в записке было немного. Охота только человека гадкими мазями тереть и гонять через весь город заради философских балаболок.

Потратил гривенник на новый конверт, да и поспешил к Николе-чудотворцу.

Смерть нынче была не в белом платке, а в бордовом, и от этого лицо у нее будто переливалось сполохами пожара. Проходя в церковь, опалила таким взглядом, что Сенька заерзал на коленках. Вспомнилось (прости, Господи — не к месту и не ко времени), как она его целовала, как обнимала.

И когда обратно выходила, глаза у нее были всё те же, шальные. Наклонилась милостыню сунуть и письмецо забрать — шепнула:

— Здравствуй, любовничек. Ответ завтра.

Шел обратно на Спасскую — пошатывало.

Любовничек!

Только завтра ответа от Смерти не было. Она вовсе не пришла. Скорик чуть не дотемна коленки протирал, на два рубля подаяний наклеял, и всё впустую. Будочник, и тот, в десятый или, может, в пятнадцатый раз обходя участок, сказал: «Что-то ты нынче жаден, убогий. Клянчить клянчи, да меру знай».

Только тогда и ушел.

В четвертый день, выпавший на воскресенье, Эраст Петрович погнал его снова. Что ответа на прошлое письмо не было, инженера не удивило, но, похоже, опечалило.

Отправляя Скорика на Подкопай, инженер сказал:

— Если и сегодня не явится, придется отказаться от переписки, придумать что-нибудь другое.

Но она пришла.

Правда, на Скорика даже не глянула. Одаряя, смотрела в сторону, и глаза были сердитые. Сенька увидел на шее у нее серебряную чешуйку на цепочке — точно такую, какие в кладе были. Раньше у Смерти такого украшения не было.

В руке у Сеньки на сей раз осталась не бумажка, а свернутый шелковый платочек.

Отошел в тихое место, развернул. Внутри обнаружился и листок. Осторожненько, следя, чтоб из волос ничего не просыпалось и чтоб бумажные сгибы куда не надо не перегнулись, Сенька стал читать.

«Здравствуйте Эраст Петрович. Ничего у него не выводила не выспрашивала. Обнову мою он приметил зыркнул своими пустыми зенками но спросить ничего не спросил. Стих пробормотал будто для себя привычка у него такая. Я слово в слово запомнила. Торговали мы булатом чистым серебром и золотом и теперь нам вышел срок а лежит нам путь далек. Какой тут смысл не знаю. Может вы поймете. [Пушкин это, Александр Сергеевич, и понимать нечего, снисходительно подумал Скорик, как раз накануне прочитавший «Сказку о царе Салтане». И про кого речь, тоже стало ясно — про Очка. Это он обожает стихами говорить.] А про тело писать мне больше не смейте иначе переписке нашей конец. И так хотела разорвать. Вчера не пошла очень на вас сердилась. Но сегодня когда он ушел было мне видение. Будто лежу я посреди равнины про какую вы писали и не могу встать. Долго лежу не день и не два. И будто сквозь меня трава растет и цветы всякие. Их внутри себя чувствую и не плохо это а наоборот очень хорошо как они через меня к солнцу пробиваются. И будто бы уже это не я лежу на равнине а я самая эта равнина и есть. Я после свое видение как смогла на платке вышила. Примите в подарок.

Смерть»

Платок, на который Скорик сначала толком и не взглянул, в самом деле с вышивкой оказался: наверху солнце, а внизу девушка лежит, нагишом, и из нее травы-цветы всякие произрастают. Очень Сеньке эта небывальщина, а культурно говоря, аллегория, не понравилась.

Эраст Петрович, в отличие от Сеньки, сначала платок рассмотрел и только потом развернул письмо. Посмотрел и говорит:

— Ох, Сеня-Сеня, что мне с тобой делать? Опять нос совал.

Скорик глазами похлопал, чтоб слезы навернулись.

— Зачем обижаете? Грех вам. Уж, кажется, себя не жалею, как последний мизерабль. Верой и правдой...

Инженер на него только рукой махнул: иди, мол, не мешай, черт с тобой.

А обратное послание от Эраста Петровича к Смерти было вот какое:

«Милая С.

Умоляю Вас, не нюхайте Вы больше эту гадость. Я попробовал наркотик один-единственный раз, и это едва не стоило мне жизни. Когда-нибудь я расскажу вам эту историю. Но дело даже не в опасности, которую таит в себе дурманное зелье. Оно нужно лишь тем людям, которые не понимают, действительно ли они живут на свете или понарошку. А Вы настоящая, живая, Вам наркотик ни к чему. Простите, что снова пускаюсь в проповеди. Это совсем не моя манера, но таким уж странным образом Вы на меня воздействуете.

Остальным двоим, если обратят внимание на предмет, говорите не про СС [и на том спасибо, подумал Сенька], а про некоего нового ухажера, заiku с седыми висками. Так нужно для дела.

Ваш Э.Н.»

Смерть на сей раз пришла не сердитая, как вчера, а веселая. Наклонясь и беря письмо, сунула Сеньке вместо пятака большой гладкий кругляш, шепнула: «Послаться».

Посмотрел — а это шоколадная медалька. Что она его, за мальчика что ли держит!

В последний день Скорикова нищенства, по счету шестой, Смерть, проходя мимо, обронила носовой платок. Нагнувшись поднять, еле слышно прошелестела: «Следят за мной. На углу». И прошла себе в церковь. А на земле, подле Сеньки, осталась лежать записка. Он подполз, коленкой ее придавил и покосился на угол, куда Смерть указала.

Сердце так и затрепыхалось.

Там, где поворот с Подколокольного, опершись об водосток, стоял Проха, лузгал семечки. Глазами так и впился в церковную дверь. На нищих, слава Богу, не пялился.

Ах ты, ах ты, вон оно что!

И пошла у Сеньки в голове такая дедукция, что только поспевай.

В тот самый день, когда к ювелиру прутья серебряные нес, прямо на Маросейке кого встретил? Проху. Это раз.

Потом на Трубе, вблизи нумеров, кто терся? Когда городской-то на помощь прибежал? Опять Проха. Это два.

Кто про Сенькину дружбу с Ташкой знал? Сызнова Проха. Это три.

И за Смертью шпионничает тоже Проха! Это четыре.

Так это, выходит, он, слизень поганый, во всем виноватый! Он и ювелира погубил, и Ташку! Не сам, конечно. Шестерит на кого-то, скорей всего на того же Князя.

Чего делать-то, а? Какая из этой дедукции должна проистечь проекция?

А очень простая. Проха за Смертью следит, а мы за ним присмотрим. Кому он докладывать-то пойдет, реляцию делать? Вот и поглядим. Покажем господину Неймлесу, что Сенька Скорик годен не только на посылках быть.

Смерть, когда из церкви вышла, нарочно отвернулась, даже милостыни сегодня не подавала — проплыла мимо лебедью, но Сеньку полой платья задела. Надо думать, не случайно. Не зевай, мол. Гляди в оба.

Он досчитал до двадцати и поковылял следом, припадая на обе ноги сразу. Проха шел чуть впереди, назад не оборачивался — видно, не думал, что и за ним могут доглядывать.

Так и прибыли на Яузский бульвар, на манер журавлиного клина: впереди и посередке Смерть, потом, по левой стороне и поотстав — Проха, а еще шагах в пятнадцати и справа — Скорик.

Перед дверью дома Проха замешкался, стал в затылке чесать. Похоже, не знал, чего ему дальше делать — тут торчать или уходить. Сенька за углом примостился, ждал.

Вот Проха тряхнул башкой (ну головой, головой), сунул руки в карманы, развернулся на каблуке и споро

пошел обратно. Князю докладывать, сообщил Скорик. Или, может, не Князю, а другому кому.

Когда Проха мимо протопал, Сенька повернулся спиной, руки к мотне пристроил, вроде как нужное дело справляет. А потом двинул за прежним дружком.

Тот наподдал сапогом яблочный огрызок, залиvisto свистнул на стаю голубей, что клевали навоз (они вспо-лошились, заполоскали крыльями), да и свернул во двор, откуда удобно на Хитровскую площадь просквозить.

Сенька за ним.

Едва вышел из первой подворотни в сырой, темный двор, сзади — хват за плечо, рванули с силой, развернули.

Проха! Учуй слезку, остромордый.

— Ты чё, — шипит, — ко мне прилип, рвань? Чего надо?

Так тряхнул за ворот, что у Сеньки голова мотнулась и из-за щеки вылетела дуля, от которой личность смотрелась скосорыленной. Пришлось эту маскарадную хитрость вовсе выплюнуть.

— Ты?! — ахнул Проха, и ноздри у него жадно раздулись. — Скорик? Ты-то мне и нужен!

И второй рукой тоже за ворот цап — не вырвешься. Хватка у Прохи была крепкая. Сенька знал: по части силы-ловкости тягаться с ним нечего. Самый лихой пацан на всей Хитровке. Полезешь махаться — накостыляет. Побежишь — догонит.

— А ну шагай за мной, — ухмыльнулся Проха. — Так пойдешь или для почину юшку пустить?

— Куда идти-то? — спросил Сенька, так пока и не опомнившись от фиаски замечательно придуманной проекции. — Ты чего вцепился? Пусти!

Проха лягнул его носком сапога по щиколотке, больно.

— Пошли-пошли. Один хороший человек побалакать с тобой желает.

Если по-настоящему, по-хитровски драться — на кулаках или хоть ремнями — Проха бы в два счета его забил. Но зря что ли Сенька японской мордобойной премудрости обучался?

Когда Маса-сенсей понял, что настоящего бойца из Скорика не выйдет — очень уж ленив и боли боится, то

сказал: не стану, Сенька-кун, тебя мужскому бою учить, научу женскому. Вот один такой урок, как бабе себя соблюсти, если охальник ее за шиворот ухватил и сейчас бесчестить станет, Скорик сейчас и припомнил.

— Просе этого, — сказал сенсей, — торько пареная репка.

Ребром левой ладони, сннзу, полагалось бить срамника по самому кончику носа, а как голову запрокинет — костяшками правой кисти в адамово яблоко. Сенька, наверно, раз тышу этак по воздуху молотил: раз-два, левой-правой, по носу — в кадык, по носу — в кадык, раз-два, раз-два.

Вот и сейчас это самое раз-два исполнил, полсекундочки всего и понадобилось.

Как пишут в книжках, результат превзошел все ожидания.

От удара по носу — несильного, почти скользящего — Прохина голова мотнулась назад, а из дырок брызнуло кровью. Когда же Сенька сделал «два», аккурат по подставленному горлу, Проха захрипел и повалился.

Сел на землю, одной рукой за горло держится, другой нос зажимает, рот разинут, глаза закатились. А кровищи-то, кровищи!

Скорик прямо напугался — не до смерти ли убил?

Сел на корточки:

— Эй, Проха, ты чё, помираешь что ли?

Потряс немножко.

Тот хрипит:

— Не бей... Не бей больше! А, а, а! — хочет вдохнуть, а никак.

Пока не опомнился, Сенька на него по всей форме надел:

— Говори, гад, на кого шестеришь! Не то вдарю по ушам — зенки вылезут! Ну! На Князя, да?

И замахнулся обеими руками (был еще и такой прием, из несложных — нехорошему человеку разом пониже обоих ушей врезать).

— Нет, не на Князя... — Проха потрогал мокрый от крови нос. — Сломал... Костяшку сломал... У-у-у!

— А на кого? Да говори ты!

И кулаком ему — прямо в серединку лба. Такого приема сенсей не показывал, само собой получилось. Прохе-то, поди, ничего, а Сенька себе все пальцы поотшиб. Однако подействовало.

— Нет, там другой человек, пострашней Князя будет, — всхлипнул Проха, заслоняясь руками.

— Пострашней Князя? — дрогнул голосом Скорик. — Кто такой?

— Не знаю. Бородища у него черная, до пупа. Глаз тоже черный, блестящий. Боюсь я его.

— Да кто он? Откуда? — не на шутку забоялся Сенька. Бородища до пупа, черный глаз. Ужасы какие!

Проха зажал пальцами нос, чтоб перестало течь. Загнусавил:

— Кдо-одгуда де ведаю, а хочешь посбодредь — покажу. Встреча у беда с дим, скоро. В ерохидском подвале...

Опять ерохинский подвал. У, проклятое место. И Синюхиных там порезали, и самого Сеньку чуть жизни не лишили.

— Зачем встреча-то? — спросил Скорик, еще не решив, как быть. — Доносить будешь, как за Смертью следил?

— Буду.

— А на что она твоему бородатому?

Проха пожал плечами, пошмыгал носом. Кровь уже не лила.

— Мое дело маленькое. Ну что, вести или как?

— Веди, — решился Сенька. — И смотри у меня. Если что — голыми руками насмерть убью. Меня этому один колдун обучил.

— Важно научил, ты теперь кого хошь отметелить можешь, — занскиваяще оскалился Проха. — Я ничего, я, Сеня, как велишь. Жить мне пока не надоело.

Дошли до Татарского кабака, где вход в Ероху. Скорик пару раз пленника в бок пихнул, для пушей остратки, и еще погрозился: гляди, мол, у меня, только попробуй удрать. По правде сказать, сам побаивался — ну как развернется, да врежет кулаком под вздох. Но, кажется, опасался зря. От японской науки Проха пришел в полное смирение.

— Сейчас, сейчас, — приговаривал Проха. — Сам увидишь, какой это человек. Я что, я ведь от страха одного. А ослобонишь меня от этого душегуба, я тебе, Скорик, только спасибо скажу.

В подвале повернули раз, другой. Отсюда уже было рукой подать до залы, где вход в сокровищницу. И до коридора, где Сеньку чуть жизни не лишили, тоже близехонько. Вспомнил Скорик, как ему мощная лапища волосы драла и шею ломала, — задрожал весь, остановился. От первоначального куражу, с которого решил сам всё дело распутать, мало что осталось. Извиняйте, Эраст Петрович и Маса-сенсей, а выше своей силы-возможности не прыгнешь.

— Не пойду я дальше... Ты сам с ним... А после мне обскажешь.

— Да ладно, — дернул его за рукав Проха. — Близко уже. Там закуток есть, спрячешься.

Но Сенька ни в какую.

— Без меня иди.

Хотел назад податься, а Проха крепко держит, не выпускает.

Потом вдруг как обхватит за плечи, как заорет:

— Вот он, Скорик! Споймал я его! Сюда бежите!

Цепкий, гад. И не врежешь ему, и не вырвешься.

А из темноты, приближаясь, загрохотали шаги — тяжелые, быстрые.

Сенсей учил: если лихой человек обхватил за плечи, проще всего, не мудрствуя, двинуть его коленкой по причинному месту, а если он стоит так, что коленкой не размахнешься или не достанешь, тогда откинься сколько можно назад и бей его лбом по носу.

Вдарил, что было силы. Раз, еще раз. Будто баран в стенку.

Проха заорал (нос-то и без того сломанный), закрыл харю-физиономию руками. Сенька рванул с места. Еле поспел — его уж сзади схватили за шиворот. Ветхая ткань затрещала, гнилые нитки лопнули, и Скорик, оставив в руке у Прохиного знакомого кусок рубища, понесся вперед, в темноту.

Сначала-то стреканул безо всякого рассуждения, только бы оторваться. И только когда топот сапожищ малость поотстал, вдруг стукнуло: а куда бежать-то? Впереди та самая зала с кирпичными колоннами, а за ней-то тупик! Оба выхода на улицу отрезаны — и главный, и к Татарскому кабаку!

Сейчас догонят, зажмут в угол — и конец!

Одна только надежда и оставалась.

В зале Сенька бросился к заветному месту. Наскоро, ломая ногти, выдрал из лаза два нижних камня, вполз на брюхе в брешь и замер. Рот разинул широко-широко, чтоб вдыхать потише.

Под низкими сводами заматалось эхо — в подвал вбежали двое: один тяжелый и громкий, второй много легче.

— Дальше ему деться некуда! — слышался задыхающийся Прохин голос. — Тут он, гнида! Я по правой стеночке пойду, а вы по левой. Щас сыщем, в лучшем виде!

Скорик оперся на локти, чтоб подальше отползти, но от первого же движения под брюхом зашуршала кирпичная крошка. Нельзя! И себя погубишь, и клад выдашь. Лежать нужно было тихо, да Бога молить, чтоб дыру возле пола не заметили. Если у них с собой лампа — тогда всё, пиши пропало.

Но судя по тому, как часто чиркало сухим о сухое, кроме спичек другого света у Сенькиных гонителей не было.

Вот шаги ближе, ближе, совсем близко.

Проха, его поступь.

Вдруг грохот, матерный лай — чуть не прямо над лежащим Скориком.

— Ништо, это я об камень ногу зашиб. Из стенки вывалился.

Вот сейчас, сейчас Проха нагнется и увидит дыру, а из нее две подметки торчат. Сенька изготовился на четвереньки подняться, а потом дунуть по лазу вперед. Далеко не убежишь, однако всё отсрочка.

Пронесло. Не заметил Проха тайника. Темнота выручила, а может, Господь Бог Сеньку пожалел. Хрен с тобой, подумал, поживи пока, еще успею тебя к Себе прибрать.

Из дальнего конца залы донесся Прохин голос:

— Видно, в коридоре к стене прижался, а мы мимо пробежали, не заметили. Он ловкий, Скорик. Ништо, я его так на так выишу, вы не сумле...

Не договорил Проха, поперхнулся. Но и тот, к кому он речь держал, тоже ничего не сказал. Прогрохали удаляющиеся шаги. Стало тихо.

Сенька с перепугу еще полежал какое-то время не шевелясь. Думал, не уползти ли подальше в лаз. Можно и в заветный подвал наведаться, пруток-другой прихватить.

Однако не стал.

Во-первых, никакого огня с собой не было. Чем там, в подвале, светить?

А во-вторых, вдруг заволновался: стоит ли тут дальше отсиживаться? Не унести ли ноги подобру-поздорову? Ну как они за фонарями пошли? Враз проход углядят. Так и пропадешь через собственную дурость.

Пятясь по-рачьи, вылез. Прислушался. Вроде тишина.

Тогда встал на ноги, опорки снял и бесшумно, на цыпочках, двинулся к коридору. То и дело останавливался — и уши торчком: не донесется ли из-за какой колонны шорох либо дыхание.

Внезапно под ногой хрустнуло. Сенька испуганно присел. Что такое?

Пошарил — коробок спичек. Эти, что ли, обронили или кто другой? Неважно, пригодятся.

Сделал еще пару шагов, вдруг видит — справа вроде как кучка какая. Не то тряпье навалено, не то лежит кто-то.

Чиркнул спичкой, наклонился.

Увидал: Проха. На спине лежит, мордой кверху. Однако пригляделся получше — охнул. Мордой-то Проха был кверху, но только лежал не на спине, на брюхе. У живого человека шея таким манером, шиворот-навыворот, перекрутиться никак не могла.

Знать, это его, Прохины, спички-то, с разбегу додумалась прежняя мысль, и только потом уже Сенька, как положено, закрестился и попятился. Еще и спичка, сволочь, пальцы обожгла. Вот он отчего поперхнулся, Проха-то. Это ему в один миг башку отвернули, в самом что

ни на есть прямом значении. А Проха от такого с собой обращения взял и помер.

И черт бы с ним, не больно жалко. Но что ж это за чудище, которое этакое с людьми выделявает?

А потом Скорик ушло на ум еще вот что. Без Прохи найти этого душегуба стало никак невозможно. Борода до пупа, конечно, примета знатная, но только ведь набрехал, поди, Проха, царствие ему, подлюке, небесное. Как пить дать набрехал.

Из всей дедукции-проекции вышло одно разбитое корыто, как у жадной старухи (прочел Сенька ту сказку — не понравилось, про царя Никиту лучше). Нет бы Проху на заметку взять, да Эрасту Петровичу всё рассказать. Захотел отличиться, вот и отличился. Верную ниточку собственными руками порвал.

От расстройства чуть не забыл Смертьино письмо прочесть, спохватился уже на самой Спасской.

«Здравствуйте Эраст Петрович. Вчера вечером был пристав. Про серебряную денежку спросил сам. Я говорю подарок. Он говорит новый соперник? Не потерплю. Кто таков? Я как вы велели отвечаю что богатый человек серебра полны карманы. Собою красавец хоть не молодой и с сединой на висках. Еще говорю заикается немножко. Пристав про серебро сразу позабыл и дальше только про вас расспрашивал. Глаза спрашивает голубые? Говорю да. А роста вот такого? Говорю да. А на виске вот тут малый шрам есть? Отвечаю вроде есть. Что тут с ним началось аж затрясся весь. Где живет да то да сё. Я обещала разузнать и ему всё рассказать. А к Упырю я сама пошла не хотела его паука у себя принимать. Этот-то больше про серебро любопытствовал да что вы за человек да сильно ли богатый да как до вас добратся. Ему тоже разузнать обещала. Завязали мы с вами узел а как его распутывать непонятно. Пора нам встретиться и на словах обговорить. Всего в письме не напишешь. Приходите нынче ночью да Сеньку с собой прихватите. Он на Хитровке все закоулки знает. Если что выведет. А еще хочу вам сообщить что никого из них я теперь до себя не допускаю хоть пристав

вчера и пугал и бранился. Но ему теперь вы нужны больше чем я. Пригрозила что не буду вас ни про что расспрашивать он и отстал. И знайте что больше никого из этих кровососов я до себя никогда не допущу потому нет на это больше моих сил. У всякого человека свой предел есть. Приходите нынче. Жду.

Смерть»

Взволновался Сенька — ужас как, даже во рту стало сухо. Сегодня, нынче же ночью, он увидит ее снова!

КАК СЕНЬКА ЗЛОРАДСТВОВАЛ

Инженер и Маса выслушали рассказ молча. Не заругались, дурнем не обозвали, но и сочувствия Скорика тоже не выказали. Чтоб сказать «ах, бедняжка, сколько ты натерпелся!» или хотя бы воскликнуть «вот ведь страсть какая!», этого он от них, примороженных, не дождался. А уж как старался впечатлить.

Что ж, и вправду ведь виноват.

— Извиняйте меня, Эраст Петрович и вы, господин Маса, — честно сказал Сенька напоследок. — Такая удача мне подвалила, а я всё напортил. Ищи теперь свищи злодея этого.

Покаянно повесил голову, но из-под бровей посматривал: сильно рассердились или нет?

— Твое мнение, Маса? — спросил Эраст Петрович, дослушав до конца.

Сенсей закрыл узкие глазки — будто утопил их в складках кожи — и сидел так минуты две или три. Господин Неймлес тоже помалкивал, ждал ответа. Скорик от нетерпения весь изъерзался на стуле.

Наконец японец изрек:

— Сенька-кун мородец. Теперь всё ясно.

Инженер удовлетворенно кивнул:

— Вот и я так думаю. Тебе не за что извиняться, Сеня. Благодаря твоим действиям мы теперь знаем, кто убийца.

— Как так?! — подскочил на стуле Скорик. — Кто же?

Однако господин Неймлес на вопрос не ответил, заговорил о своем:

— Собственно, с д-дедуктивной точки зрения задача с самого начала представлялась несложной. Мало-мальский опытный следователь, располагая твоими показаниями, решил бы ее без труда. Однако следователя интересует лишь закон, мои же интересы в этом деле обширней.

— Да, — согласился Маса. — Дзакон — это меньше, чем справедливость.

— Справедливость и милосердие, — поправил его Эраст Петрович.

Похоже, эти двое отлично понимали друг друга, а вот Сенька никак не мог взять в толк, о чем это они.

— Да кто убийца-то? — не выдержал он. — И как вы его раскусили?

— Из твоего рассказа, — рассеянно ответил инженер, явно думая о другом. — Устрой гимнастику мозгам, это полезно для развития личности... — И дальше забормотал невнятицу. — Да, вне всякого сомнения, справедливость и милосердие важнее. Слава Богу, я теперь частное лицо и могу действовать не по букве з-закона. Но время, у меня совсем мало времени... И потом эта маниакальная осторожность, как бы не спугнуть... Разом, одним ударом. Одним махом семерых побивахом... Эврика! — воскликнул вдруг Эраст Петрович и шлепнул по столу ладонью так громко, что Сенька дернулся. — Есть план операции! Решено: справедливость и милосердие.

— Операция будет так называться? — спросил сенсей. — «Справедливость и миросердие»? Хоросее название.

— Нет, — весело сказал господин Неймлес, поднимаясь. — Название я придумаю поинтересней.

— Что за операция? — жалобно скривился Скорик. — Сами говорите, благодаря мне всё разгадали, а сами ничего не объясняете.

— Пойдем с тобой ночью на Яузский б-бульвар, там всё узнаешь, — таков был ответ.

Пошли.

Смерть открыла сразу как постучали — в прихожей, что ли, поджидала? Распахнула дверь и молчит, смотрит на господина Неймлеса — не мигая, жадно, будто у ней перед тем глаза были завязаны, или долго в темноте сидела, или, может, прозрела после слепоты. Вот как она на него смотрела. А на Сеньку даже не взглянула, не то что «здрасьте, Сеня» сказать или «как здоровьице». Эрасту Петровичу на его «добрый вечер, сударыня», правда,

тоже не ответила. Даже немножко поморщилась, будто каких-то других слов ждала.

Вошли в гостиную, сели. Вроде встретились для делового разговора, а что-то не так было, будто говорили не о том, о чем следовало. Смерть-то впрочем отмалчивалась, всё на Эраста Петровича глядела, а он по большей части смотрел на скатерть — поднимет на Смерть глаза и скорей снова опустит. Заикался больше обычного, вроде как конфузился, а может не конфузился, поди у него разбери.

От этих гляделок, в которые те двое играли промеж собой, без Сенькиного участия, ему стало тревожно, и господина Неймлеса он слушал вполуха, в голову лезло совсем другое. Коротко говоря, сказ инженера, или, как он сам обозвал, «план операции» состоял в том, чтоб собрать всех подозреваемых в одном особенном месте, где преступник сам себя проявит и выдаст. Скорик уставился на Эраста Петровича: как же так, ведь сами говорили, что убийца разгадан, но инженер сделал знак глазами — помалкивай, мол. Ну, Сенька и смолчал.

И когда Эраст Петрович сказал: «Без вас, сударыня, и без тебя, Сеня, мне в этом деле, к сожалению, не обойтись. Нет у меня других помощников» — всё равно Смерть на Скорика не посмотрела, вот какая обида. Ужасно он от этого расстроился. Даже не испугался, когда инженер принялся опасностями предстоящего дела страшать — вот до чего расстроился.

Смерть тоже нисколько не испугалась. Нетерпеливо качнула головой:

— Пустяки говорите. Лучше про дело рассказывайте.

И Сенька лицом в грязь не ударил:

— Чего там, двум смертям не бывать, одной не миновать.

Лихо тряхнул головой и на нее покосился. И только потом сообразил, что вышло-то двусмысленно: то ли про смерть сказано, то ли про Смерть.

— Хорошо, — вздохнул Эраст Петрович. — Тогда распределим, кому за какой конец держать невод. Вы, сударыня, приведете на место Князя и Очко. Сеня — Упыря. Я — пристава Солнцева.

— Этого-то зачем? — удивился Сенька.

— Затем, что п-подозрителен. Все преступления совершены на территории его участка. Это раз. Сам Солнцев — человек жестокий, алчный и абсолютно б-безнравственный. Это два. И главное... — Инженер снова устался на скатерть. — Он тоже состоит в связи с вами, сударыня. Это три.

У Смерти дернулась щека, как от боли.

— Снова не про то говорите, — резко сказала она. — Объясните лучше, как Князя с Очком выманить. Они оба волки бывалые, сами в загон не пойдут.

— А я? — встрепнулся Скорик, до которого вдруг дошло, что ему надо будет в одиночку с самим Упырем тягаться. — Он меня и слушать не станет! Вы знаете, он какой? Он меня велит за ноги взять да разодрать на две половинки! Кто я ему? Сикильдявка! Никуда он со мной не пойдет!

— Не пойдет, а бегом побежит, это уж моя з-забота, — ответил Сеньке господин Неймлес, а смотрел при этом на Смерть. — Да и не придется вам двоим никого никуда заманивать. Только встретить и сопроводить к назначенному месту.

— Что за место такое? — спросила Смерть.

Вот теперь инженер, наконец, повернулся к Скорика, да еще руку ему на плечо положил.

— Это место только один человек знает. Как, Алибаба, выдашь нам свою пещеру?

Если б Эраст Петрович его при Смерти «бабой» не обозвал, Сенька еще, может, и не сказал бы. Только чего над серебром-златом трястись, когда, может, вся жизнь на кону? А потом Смерть обратила на него свои глазщи, брови чуть-чуть приподняла, словно удивляясь его колебанию... Это и решило.

— Эх! — махнул он рукой. — Покажу, не жалко! Знайте Сеньку Скорика!

Сказал — и так вдруг жалко стало: даже не огромных тыщ, а мечту. Ведь что такое богатство? Не жратва от пуза, не сто пар лаковых штиблет и даже не собственное авто с мотором силищей в двадцать лошадей. Богатство —

это мечтание о рае на земле, когда чего пожелаешь, то у тебя и будет.

Тоже, конечно, брехня. К Смерти вон с какими миллионами ни суйся, всё одно, как на Эраста Петровича, смотреть не станет...

Никто сумасшедшей Сенькиной щедростью не восхитился, в ладоши не захлопал. Даже «спасибо» не сказали. Смерть просто кивнула и отвернулась, будто иначе и быть не могло. А господин Неймлес встал. Тогда идемте, говорит. Не будем время терять. Веди, Сеня, показывай.

В подземной зале, где несколько часов тому Проха хотел выдать старого приятеля на верную гибель, а вместо того сам лишился жизни, мертвого тела уже не было. Не иначе подвальные жители уволокли: одежду-обувку снимут и голый труп после на улицу подкинут, обычное дело.

С Эрастом Петровичем и Смертью страшно не было. Светя керосиновой лампой, Сенька показал, как вынуть камни.

— Тут только вначале пролезть узко, а потом ничего. Иди себе, пока не упрешься.

Инженер заглянул в дыру, потер одну из плит пальцем.

— Старинная кладка, много старше, чем здание ночлежки. Эта часть Москвы похожа на слоеный п-пирог: поверх прежних фундаментов построены новые, поверх тех еще. Чуть не тысячу лет строились...

— Чего, полезли, что ли? — спросил Скорик, которому уже не терпелось показать сокровища.

— Незачем, — ответил господин Неймлес. — Завтра ночью п-полюбуюсь. Итак, — обратился он к Смерти. — Ровно в три с четвертью пополуночи будьте здесь, в зале. Придут Князь и Очко. Увидят вас — удивятся, станут задавать вопросы. Никаких объяснений. Молча покажете ход, камни будут уже отодвинуты. Потом просто ведите их за собой, и всё. Вскоре появлюсь я, и начнется операция под названием... Пока не придумал, каким. Главное — не теряйте присутствия духа и ничего не бойтесь.

Смерть глядела на инженера не отрываясь. Что сказать — он и в мигающем свете лампы был красавец хоть куда.

— Не боюсь я, — сказала она чуть хриловато. — И всё сделаю, как велите. А сейчас идемте.

— К-куда?

Она насмешливо улынулась, передразнила его:

— Никаких объяснений. Не теряйте присутствия духа и ничего не бойтесь.

И пошла из залы, не произнеся больше не слова. Эраст Петрович в замешательстве взглянул на Сеньку, кинулся догонять. Скорик тоже, только лампу подхватил. Чего это она удумала?

На крыльце дома, у самой двери, Смерть повернулась. Лицо у ней теперь было не насмешливое, как в подвале, а словно бы искаженное страданием, но все равно невыносимо красивое.

— Простите меня, Эраст Петрович. Держалась, сколько могла. Может, сжалится Господь, явит чудо... Не знаю... Только правду вы написали. Я хоть и Смерть, а живая. Пускай я буду злодейка, но больше нет моих сил. Дайте руку.

Взяла молчаливого, будто заробевшего господина Неймlesa за руку, потянула за собой. Тот шагнул на одну ступеньку, на друую.

Скорик тоже потянулся следом. Что-то сейчас будет!

А Смерть на него как шикнет:

— Уйди ты Бога ради! Житья от тебя нет!

И дверью перед самым носом — хлоп! Сенька от такой лютой несправедливости прямо обмер. А из-за двери донесся странный звук, словно столкнулось что-то, потом шорох и еще вроде как всхлипы или, может, стоны. Никаких слов сказано не было — он бы услышал, потому что припал к замочной скважине ухом.

Когда же уразумел, что у них там происходит, из глаз сами собой потекли слезы.

Шмякнул Сенька фонарем о тротуар, сел на корточки и закрыл уши руками. Еще и глаза зажмурил, чтоб не слышать и не видеть этот поганый мир, жизнь эту сучью, где одним всё, а другим шиш на палочке. И Бога никакого нет, если допускает такое над человеком измывательство. А если и есть, то лучше бы такого Бога вовсе не было!

Только не долго убивался-богохульничал, не долее минуты.

Вдруг дверь распахнулась, и на крыльцо вылетел Эраст Петрович, будто его в спину выпихнули.

Галстук у инженера был стянут набок, пуговицы на рубашке расстегнуты, лик же господина Неймlesa заслуживал особенного описания, поскольку ничего подобного на этом хладнокровном лице Сенька никогда раньше не наблюдал и даже не предполагал, что такое возможно: ресницы ошеломленно прыгают, на глаза свесилась черная прядь, а рот разинут в совершенной растерянности.

Эраст Петрович обернулся, воскликнул:

— Но... В чем дело?!

Дверь захлопнулась, да погромче, чем давеча перед Сенькиным носом. Из-за нее донеслись глухие рыдания.

— Откройте! — закричал инженер и хотел толкнуть створку, но отдернул руки, как от раскаленного железа. — Я не хочу навязываться, но... Я не понимаю! Послушайте... — И вполголоса. — Господи, д-даже по имени ее не назовешь! Объясните, что я сделал не так!

Непреклонно лязгнул засов.

Сенька смотрел и не верил глазам. Есть Бог-то, есть! Вот оно, истинное Чудо об Услышанном Молении!

Каково горчички-то отведасть, а, красавец невозможный?

— Эраст Петрович, — спросил Скорик умильнейшим голосом, — прикажете передачу на реверс поставить?

— Пошел к черту!!! — взревел утративший всегдашнюю учтивость инженер.

А Сенька нисколько не обиделся.

КАК СЕНЬКА СТАЛ ЖИДЕНКОМ

Утром его растолкал Маса. Весь грязный, потом от него несет, и глазки красные, будто всю ночь не спал, а кирпичи грузил.

— Чего это вы, сенсей? — удивился Сенька. — С любовного свидания, да? У Федоры Никитишны были или новую какую завели?

Вроде был вопрос как вопрос, для мужского самолюбия даже лестный, однако японец отчего-то рассерчал.

— Гдзе нада, там и быр! Вставай, бездерьник, пордень удзе!

И еще замахнулся, басурман. А сам вежливости учит!

Дальше хуже пошло. Усадил сонного человека на стул, намазал щеки мылом.

— Э, э! — заорал Сенька, увидев в руке сенсея бритву. — Не трожь! У меня борода отрастает.

— Господзин приказар, — коротко ответил Маса, левой рукой обхватил сироту за плечи, чтоб не трепыхался, а правой враз сбрил не только все пятьдесят четыре бородных волоска, но и усы.

Сенька от страха обрезать не шевелился. Японец же, соскребая из-под носа последние остатки зарождающейся мужской красоты, ворчал: «Очень честно. Кому гурять, а кому горб ромать». К чему это он, какой такой горб ломать, Скорик не понял, но спрашивать не стал. Вообще решил, что за такое беспардонное над собой насилие с косоглазым нехристом никогда больше разговаривать не станет. Сделает ему бойкот, как в английском парламенте.

Но глумление над Сенькиной личностью еще только начиналось. После бритья он был препровожден в кабинет к Эрасту Петровичу. Инженера там не оказалось. Вместо него перед трюмо сидел старый жид в ермолке и лапсердаке, любовался на свою носатую физиономию да расчесывал брови, и без того жуть какие косматые.

— Побрил? — спросил старик голосом господина Неймлеса. — Отлично. Я уже почти 3-закончил. Сядь сюда, Сеня.

Узнать Эраста Петровича в этом обличье было невозможно. Даже кожа на шее и руках у него сделалась морщинистая, желтая, в темных стариковских пятнах. От восторга Сенька даже про бойкот забыл, схватил сенсея за руку:

— Ух здорово! А меня сделайте цыганом, ладно?

— Цыгане нам сегодня без надобности, — сказал инженер, встав за спиной у Скорика и начал втирать ему в макушку какое-то масло, от которого волосы сразу прилипли к голове и залопушились уши.

— Прибавим веснушек, — велел Эраст Петрович японцу.

Тот протянул господину маленькую баночку. Несколько плавных втирающих движений, и у Скорика вся физия законопатилась.

— П-парик номер четырнадцать.

Маса подал что-то вроде красной мочалки, которая, оказавшись на Сенькиной голове, превратилась в рыжие патлы, свисавшие на висках двумя сосульками. Инженер щекотно провел кисточкой по бровям и ресницам — те тоже порыжели.

— Что делать со славянским носом? — задумчиво спросил сам себя господин Неймлес. — Насадку? П-пожалуй.

Прилепил на переносицу кусочек липкого воска, мазнул сверху краской телесного цвета, рассыпал конопущек. Носище вышел — заглядение.

— Зачем это всё? — весело спросил Сенька, любуясь на себя.

— Ты теперь будешь еврейский мальчик Мотя, — ответил Эраст Петрович и нахлобучил Сеньке на голову ермолку навроде своей. — Соответствующий наряд тебе даст Маса.

— Не буду я жиденком! — возмутился Сенька, только теперь сообразив, что рыжие сосульки — это жидовские пейсы. — Не желаю!

— П-почему?

— Да не люблю я их! Ненавижу ихние рожи крючконосые! В смысле — лица!

— А какие лица любишь? — поинтересовался инженер. — Курносые? То есть, если русский человек, то ты за одно это его сразу обожаешь?

— Ну, это, конечно, смотря какого.

— Вот и правильно, — одобрил Эраст Петрович, вытирая руки. — Любить нужно с большим разбором. А ненавидеть — тем более. И уж во всяком случае не за форму носа. Однако хватит д-дискутировать. Через час у нас свидание с господином Упырем, самым опасным из московских разбойников.

Сеньку от этих слов в озноб кинуло, сразу про жидов забыл.

— А по-моему, Князь пострашней Упыря будет, — сказал он небрежным тоном и слегка зевнул.

Это в учебнике светской жизни было сказано: «Если тема разговора затронула вас за живое, не следует выдавать своего волнения. Сделайте небрежным тоном какое-нибудь нейтральное замечание по сему поводу, показав собеседникам, что нисколько не утратили хладнокровия. Допустим даже зевок, но, разумеется, самый умеренный и с непременно прикрытием рта ладонью».

— Это как посмотреть, — возразил инженер. — Князь, конечно, проливает крови куда больше, но из злодеев всегда опасней тот, за кем будущее. Будущее же криминальной Москвы безусловно не за налетчиками, а за доильщиками. Это доказывается арифметикой. Предприятие, затеянное Упырем, безопасней, ибо меньше раздражает власть, а некоторым представителям власти оно даже выгодно. Да и прибыли у доильщика больше.

— Как же больше? Князь вон за раз по три тыщи снимает, а Упырь с лавок по рублишке в день имеет.

Маса принес одежонку: стоптанные башмаки, штаны с заплатами, драную куртку. Брезгливо морщась, Сенька стал одеваться.

— По рублишке, — согласился господин Неймлес, — но зато с каждой лавки и каждый день. И таких овец, с которых Упырь с-стрижет шерсть, у него сотни две. Это

сколько в месяц будет? Уже вдвое против хабара, который Князь за средний налет возьмет.

— Так Князь не один раз в месяц добычу берет, — не сдавался Скорик.

— А сколько? Д-два раза? Много — три? Так ведь и Упырь не со всех по рублю имеет. Вот с людей, к которым мы с тобой сейчас отправимся, он вознамерился взять ни много ни мало двадцать тысяч.

Сенька ахнул:

— Это что ж за люди, у кого такие деньжищи можно взять?

— Евреи, — ответил Эраст Петрович, засовывая что-то в мешок. — У них недалеко от Хитровки давно уже выстроена синагога. Нынешний генерал-губернатор девять лет назад, будучи назначен в Москву, освятить с-синагогу не позволил и почти всех иудеев из белокаменной выгнал. Нынче же еврейская община снова окрепла, умножилась и добивается открытия своего молитвенного дома. От властей разрешение получено, но теперь у евреев возникли трудности с б-бандитами. Упырь грозит спалить здание, выстраданное ценой огромных жертв. Требуе от общины отступного.

— Вот гад! — возмутился Сенька. — Если православный человек и жидовской молельни терпеть не желаешь, возьми и спали задаром, а серебреников ихних не бери. Правда ведь?

Эраст Петрович на вопрос не ответил, только вздохнул. А Скорик подумал и спросил:

— Чего они, жида эти, в полицию не нажалуются?

— За защиту от бандитов полиция еще больше денег требует, — объяснил господин Неймлес. — Поэтому гвиры, члены попечительского совета, предпочли договориться с Упырем, для чего назначили специальных представителей. Мы с тобой, Сеня, то есть Мотя, и есть эти самые п-представители.

— Чего мне делать-то? — спросил Сенька, когда спукались вниз по Спасо-Глинищевскому.

Этот маскарад нравился ему куда меньше, чем прежний, нищенский. Пока ехали на извозчике, еще ничего, а

как вылезли и зашагали по Маросейке, их уже дважды «жидюками» обозвали и один оголец дохлой мышой швырнул. Надавать бы ему по ушам, чтоб почем зря не вязался к людям, но из-за важного дела пришлось стерпеть.

— Что тебе делать? — переспросил господин Неймлес, раскланиваясь с синагогским сторожем. — Помалкивай да рот разевай. Слюни пускать умеешь?

Сенька показал.

— Ну вот и м-молодец.

Вошли в дом по соседству с жидовской молельней. В чистой комнате с приличной мебелью поджидали два нервных господина в сюртуках и ермолках, но без пейсов — один седой, другой чернявый.

Не похоже было, чтобы Эраста Петровича и Сеньку тут ждали. Седой замахал на них рукой, сердито сказал что-то не по-русски, но, в каком смысле, и так было ясно: валите, мол, отседова, не до вас.

— Это я, Эраст Петрович Неймлес, — сказал инженер, и хозяева (надо полагать, те самые «гвиры»), ужасно удивились.

Чернявый удовлетворенно поднял палец:

— Я вам говорил, что он еврей. И фамилия еврейская — искаженное «Нахимлес».

Седой сглотнул, дернув острым кадыком. С тревогой посмотрел на инженера и спросил:

— Вы уверены, что у вас получится, господин Неймлес? Может быть, лучше заплатить этому бандиту? Не вышло бы беды. Нам не нужны неприятности.

— Неприятностей не будет, — уверил его Эраст Петрович и сунул мешок под стол. — Однако д-два часа. Сейчас появится Упырь.

И точно — из-за двери запричитали — не поймешь кто:

— Ой, идет, идет!

Скорик выглянул в окно. Снизу, со стороны Хитровки, неспешно приближался Упырь, дымя папироской и с нехорошей улыбкой поглядывая по сторонам.

— Один пришел, без колоды, — спокойно заметил господин Неймлес. — Уверен. Да и делиться со своими не хочет, больно к-куш хорош.

— Прошу вас, господин Розенфельд, — показал чернявый на занавеску, отделявшую угол с диванами (называется «альков»). — Нет-нет, только после вас.

И попечители спрятались за штору. Седой еще успел шепнуть:

— Ах, господин Неймлес, господин Неймлес! Мы вам поверили, не погубите! — и на лестнице загремели шаги.

Упырь без стука толкнул дверь, вошел. Прищурился после ярко освещенной улицы. Сказал Эрасту Петровичу:

— Ну чё, жидяры, хрусты заготовили? Ты, что ль, дед, отслюнивать будешь?

— Во-первых, здравствуйте, молодой человек, — молвил господин Неймлес дребезжащим старческим голосом. — Во-вторых, не шарьте глазами по комнате — никаких денег здесь нет. В-третьих, садитесь уже за стол и дайте с вами поговорить, как с разумным человеком.

Упырь двинул сапогом по предложенному стулу — тот с грохотом отлетел в угол.

— Болталу гонять? — процедил он, сузив свои водянистые глаза. — Будет, погоняли. Слово Упыря железное. Завтра будете печь свою мацу на головешках. От синагоги. А чтоб до братьёв твоих лучше дошло, я щас тебя, козлину старого, немножко постругаю.

Выватил из голенища финский ножик и двинулся на Эраста Петровича.

Тот не двинулся с места.

— Ай, господин вимогатель, напрасно ви тратите мое время на всякие глупости. У меня и без вас жизни осталось с хвост поросенка, тьфу на это нечистое животное. — И брезгливо сплюнул на сторону.

— Это ты, дед, в самую точку угадал. — Упырь схватил инженера за фальшивую бороду, а кончик ножа поднес к самому лицу. — Для начала я тебе глаз выколю. Потом нос поправлю, зачем тебе такой крючище? А после загашу и тебя, и твоего паскуденка.

Господин Неймлес смотрел на страшного человека совершенно спокойно, зато у Скорика от ужаса отвисла челюсть. Здрасьте вам, домаскарадились!

— Перэстаньте пугать Мотю, он и так мишигер, — сказал Эраст Петрович. — И уберите эту вашу железяку.

Сразу видно, господин бандит, что вы плохо знаете евреев. Это такие хитрые люди! Вы себе обратили внимание, кого они к вам выпустили? Вы видите здесь председателя попечительского совета Розенфельда, или ребя Беляковича, или, может, купца первой гильдии Шендыбу? Нет, вы видите старого больного Наума Рубинчика и шлемазла Мотю, которых никому на свете не жалко. Мне самому себя не жалко, у меня эта ваша жизнь вот здесь. — Он провел ребром ладони по шее. — А «загасите» Мотю — сделаете большое облегчение его бедным родителям, они скажут вам: «Большое спасибо, мосье Упырь». Так что давайте уже не будем друг друга пугать, а побеседуем, как солидные люди. Знаете, как говорят в русской деревне? В русской деревне говорят: вы имеете товар, у нас имеется купец, давайте меняться. Вы, мосье Упырь — молодой человек, вам нужны деньги, а евреям нужно, чтоб вы оставили их в покое. Так?

— Ну так. — Упырь опустил руку с ножом, облизнул лоснящиеся губы. — Так ты ж залепил, что хрустов нет.

— Денег нет... — Старый Рубинчик, хитро сверкнув глазами, немножко помолчал. — Но зато есть серебро, очень много серебра. Вас устроит очень много серебра?

Упырь вовсе спрятал нож в сапог, захрустел пальцами.

— Ты не крути. Дело говори! Какое серебро?

— Вы себе слыхали про подземный клад? Вижу по блеску в ваших маленьких глазах, что слыхали. Этот клад закопали евреи, когда приехали в Москву из Польши еще при царице Екатерине, да простит ей Бог все ее прегрешения за то, что не обижала наших. Теперь такое чистое, хорошее серебро уже не делают. Вот, послушайте, как звенит. — Он достал из кармана горстку серебряных чешуек, тех самых древних копеек (а может, не тех, а похожих — кто их разберет) и позвенел ими перед носом у доильщика. — Больше ста лет серебро лежало себе, и всё было тихо. Иногда евреи брали оттуда понемножку, если очень нужно. А теперь нам туда доступа нет. Один хитровский поц нашел наше сокровище.

— Слыхал я эту байку, — кивнул Упырь. — Выходит, правда. Ваши, что ль, каляку с семьей порезали? Лихо. А еще говорят, жид мухи не пришлепнет.

— Ай, я вас умоляю! — рассердился Рубинчик. — Зачем ви говорите такие гадости, типун вам на язык! Еще не хватало, чтобы и это свалили на евреев. Может, это ви зарезали бедного поца, почему мне знать? Или Князь. Ви знаете, кто такой Князь? О, это ужасный бандит. Не в обиду вам будь сказано, еще ужасней вас.

— Но-но! — замахнулся на него Упырь. — Ты от меня настоящих ужастей еще не видал!

— И не надо. Я и так вам верю. — Старик выставил вперед ладони. — Дело не в этом. Дело в том, что господин Князь узнал про клад и ищет его днем и ночью. Теперь нам туда и сунуться боязно.

— Ох, Князь, Князь, — пробормотал Упырь и оскалил желтые зубы. — Ну, дед, рассказывай дальше.

— А дальше — что дальше. Вот вам наше деловое предложение. Мы показываем вам то место, ви и ваши хлопцы выносят серебро, а после делим по-честному: половина нам, половина-таки вам. И это, поверьте мне, молодой человек, выйдет не двадцать тысяч, а много-много больше.

Упырь думал недолго.

— Годится. Сам всё вытащу, никого мне не надо. Только место укажите.

— У вас есть часы? — спросил Наум Рубинчик и скептически уставился на золотую цепочку, свисавшую из Упырева кармана. — Это хорошие часы? Они правильно идут? Ви должны быть в ерошенковском подвале, в самом дальнем, где такие кирпичные тумбы, нынче ночью. Ровно в три часа. Вот этот самый Мотя, бедный немой мальчик, встретит вас там и проводит куда надо. — Сенька поежился под цепким змеиным взглядом, которым одарил его Упырь, и пустил с отвисшей губы нитку слюны. — И еще хочу сказать вам одну вещь, напоследок, чтоб ви запомнили, — задушевым голосом продолжил старый еврей, осторожно взяв доильщика за рукав. — Когда ви увидите клад и перенесете его в хорошее место, ви себе скажете: «Зачем я буду отдавать половину этим глупым евреям? Что они мне сделают? Я лучше оставляю всё себе, а над ними буду смеяться». Можете ви так себе подумать?

Упырь завертел головой по углам комнаты — нет ли иконы. Не нашел и забожился так, всухую:

— Да чтоб меня громом пожгло! Чтоб мне век на киче торчать! Чтоб меня сухотка взяла! Когда со мной по-хорошему, то и я по-хорошему. Христом-Богом!

Дед послушал-послушал, головой покивал и вдруг спросил:

— Ви знали Александра Благословенного?

— Кого? — вылутился на него Упырь.

— Царя. Двоюродного прадедушку нашего государя императора. Ви знали Александра Благословенного, я вас спрашиваю? По вашему лицу я вижу, что ви не знали этого великого человека. А я видел его, почти как сейчас вижу вас. То есть не то чтобы ми с Александром Благословенным были знакомы, ни боже мой. И он-то меня не видал, потому что лежал мертвый в гробу. Его везли в Петербург из города Таганрога.

— Ты зачем мне про это толкуешь, дед? — сморщил лоб Упырь. — Чё мне твой царь в гробу?

Старик наставительно поднял желтый палец:

— А то, мосье разбойник, что если ви нас обманете, вас тоже повезут в гробу, и Наум Рубинчик придет на вас посмотреть. Всё, я устал. Идите себе. Мотя отведет вас куда нужно.

Отошел в сторону, сел в кресло и опустил голову на грудь. Через секунду раздался тонкий, жалостный храп.

— Крепкий дедок, — подмигнул Сеньке Упырь. — Гляди, рыжий, чтоб ночью был, где велено. Надуешь — я тебе язык вокруг шеи намотаю.

Повернулся по-кошачьи, мягко, да и вышел вон.

Едва внизу хлопнула дверь, как из-за шторы выскочили два еврея.

Затараторили хором:

— Что вы ему такое наговорили? Какое еще серебро? Зачем вы это выдумали? Где мы теперь возьмем столько старинных монет? Это настоящая катастрофа!

Эраст Петрович, немедленно восставший ото сна, не перебивал галдящих гвиров, а занимался своим делом: снял ермолку, седой парик, отцепил бороду, потом дос-

тал из мешка скляночку, смочил вату и начал протирать кожу, отчего старческие пятна и дряблость волшебным образом исчезли.

Когда образовалась пауза, кротко сказал:

— Нет, не выдумал. Клад д-действительно существует.

Попечители уставились на него, как бы проверяя, не шутит ли. По господину Неймлесу, впрочем, было видно: нет, отнюдь не шутит.

— Но... — осторожно, словно к душевнобольному, обратился к нему чернявый, — но вы понимаете, что этот бандит вас обманет? Заберет весь клад и ничего не отдаст?

— Непременно обманет, — кивнул инженер, снимая лапсердак, выцветшие плисовые штаны и калоши. — И тогда случится то, что напророчил Наум Рубинчик: Упыря повезут в гробу. Только не в Петербург, а на Б-Божедомку, в общую могилу.

— Зачем вы разделись? — с тревогой спросил седой. — Не пойдете же вы в таком виде по улице?

— Прошу извинить за д-дезабилье, господа, но у меня совсем мало времени. Нам с этим юношей пора делать следующий визит. — Эраст Петрович повернулся к Скорик. — Сеня, не стой, как памятник задумчивому П-Пушкину, раздевайся. Прощайте, господа.

Гвиры снова переглянулись, и тот, что старше, сказал:

— Что ж, доверимся вам. Теперь у нас все равно нет иного выхода.

Оба с поклоном удалились, а инженер достал из мешка черкеску с газырями, мягкие кожаные чупаки, папаху, кинжал на ремешке и в два счета обратился в кавказца. Сенька во все глаза глядел, как господин Неймлес приклеивает поверх своих аккуратных усиков другие, смоляной черноты, и такого же колера разбойничью бороду.

— Вы прямо Имам Шамиль! — восхитился Скорик. — Я в книге на картинке видал!

— Не Шамиль, а К-Казбек. И не имам, а абрек, спустившийся с гор, чтоб завоевать город неверных гяуров, — ответил Эраст Петрович, меняя седые брови на черные. — Разделся? Нет-нет, догола.

— К кому мы теперь? — спросил Сенька, обхватив руками бока — не больно-то жарко было нагишом стоять.

— К его сиятельству, твоему бывшему п-патрону. Надень вот это.

— Какому сия... — Сенька не договорил, поперхнулся. Так и застыл, держа в руках что-то шелковое, невесомое, вынутое инженером всё из того же мешка. — К Князю?! Да вы что?! Эраст Петрович, миленький, он же меня порешит! И слушать ничего не станет! Увидит — и сразу завалит! Он бешеный!

— Да нет же, не так. — Господин Неймлес развернул короткие шелковые подштанники с кружавчиками. — Сначала п-пantalоны, потом чулки с подвязками.

— Бабское белье? — разглядел Скорик. — Зачем оно мне?

Инженер извлек из мешка платье, высокие ботинки на шнуровке.

— Вы что, хотите меня девкой нарядить?! Да я лучше сдохну!

Это у них с Масой с самого начала так задумано было, догадался Сенька. Потому и рожу бритвой обскребли. Ну уж кукиш! Сколько можно измываться над человеком?

— Не надену и всё тут! — решительно объявил он.

— Дело твое, — пожал плечами Эраст Петрович. — Но если Князь тебя узнает, то обязательно, как ты выражаешься, з-завалит.

Сенька сглотнул.

— А без меня обойтись никак невозможно?

— Возможно, — сказал инженер. — Хоть это и затруднит мою з-задачу. Но дело даже не в этом. Тебе потом будет стыдно.

Немного посопев, Скорик натянул скользкие девчачьи портки, чулки в сеточку, красное платье. Эраст Петрович надел на страдальца светлый парик с буколями, стер с лица густую жидовскую конопатость, зачернил ресницы.

— Ну-ка, губы т-трубочкой.

И жирно намазал Сенькин рот сладко-пахучей помадой. После протянул зеркальце:

— Полюбуйся, какая вышла красotka.

Скорик не стал смотреть, отвернулся.

КАК СЕНЬКА СТАЛ МАМЗЕЛЬКОЙ

— Хоп-хоп, чумовые! — гаркнул лихач на вороных, и красавцы кони встали, как вкопанные. Коренник изогнул точеную шею, покосился на извозчика бешеным глазом, топнул по булыжнику кованым копытом — полетели искры.

Хорошо подкатили к нумерам «Казань», важно. И Боцман, что со своей тележки свистульками торговал, и толпившаяся вокруг него мелюзга повернулись к шикарному (три рубля в час!) ландо, уставились на кавказца и его спутницу.

— Здесь жди! — велел джигит лихачу, кинул блёсткий золотой империал.

Спрыгнул, не коснувшись ногой подножки. Ряженого Сеньку взял за бока и легко поставил наземь, двинулся прямо к воротам. Боцману сказал не заветное «иовс», как Скорик учил, а коротко, веско обронил:

— Я — Казбек.

И Боцман ничего, в дудку не шумнул, только прищурился. Кивнул восточному молодцу — заходи, мол. На Сеньку глянул мельком. Можно сказать, вовсе не заинтересовался его персоной, отчего тугой узел, закрутившийся у Скорика в брюхе, малость поослаб.

— Г-грациозней, — сказал во дворе Эраст Петрович своим обычным голосом. — Не маши руками. Двигай не плечами, а бедрами. Вот так, хорошо.

На стук дверь приоткрылась, высунулся незнакомый Сеньке парнишка. Новый шестерка, догадался Скорик, и в сердце — надо же — будто шильцем кольнуло. Взревновал, что ли? Чудно.

Пацанок Сеньке не понравился. Плоскорылый какой-то и глаза желтые, чисто у кота.

— Чего надо? — спросил.

Господин Неймлес и ему сказал то же:

— Я — Казбек. Князю скажи.

(У него выговорилось «Кинязу».)

— Какой еще Казбек? — шмыгнул носом шестой, и был немедленно ухвачен за этот самый нос двумя железными пальцами.

Абрек гортанно выругался, сочно приложил плоско-рылого башкой о косяк, потом оттолкнул — тот грохнулся на пол.

Тогда Казбек вошел, переступил через лежащего и решительно зашагал по коридору. Сенька, ойкая, поспевал следом. Оглянулся, увидел, что шестерка держится за лоб, ошеломленно хлопает глазами.

Ой, Господи-Господи, что ж это будет-то?

В большой комнате Авось и Небось, как всегда, резались в карты. Сала не было, но на кровати, положив ноги в сапогах на решетку, лежал Очко и чистил ножиком ногти.

К нему-то кавказец и направился.

— Ты валет? К Князю води, говорить хочу. Я — Казбек.

Близнецы перестали шлепать картами. Один (так Сенька и не научился разбирать, кто из них кто) подмигнул барышне, другой тупо воззрился на серебряный кинжал, висевший на поясе у гостя.

— Казбек надо мною. Один в вышине, — безмятежно улыбнулся Очко и пружинисто поднялся. — Пойдемте, коли пришли.

Ни о чем не спросил, просто повел и всё. Ох, не к добру.

Князь сидел за столом страшный, опухший — не иначе, пил много. На красавца, каким Скорик его впервые увидал (всего-то месяц тому!) был мало похож. И рубашка, хоть из атласа, какая-то мятая, сальная, и кудри спутаны, и физиономия небрита. На столе кроме пустых бутылок и всегдашней склянки с огурцами почему-то стоял золотой канделябр без свечей.

Сенькин враг поднял на вошедших мутные глаза, спросил кавказца:

— Ты кто? Чего тебе?

— Я — Казбек.

— Кто?

— Должно быть, тот самый, что недавно с Кавказа приехал с двадцатью джигитами, — негромко сказал Очко, опершись о стену и складывая руки на груди. — Я тебе говорил. Три месяца как появились. Марьинских фартовых прижали, девок под себя забрали и все керосиновые лавки.

Абрек усмехнулся — вернее, дернул углом рта.

— Вы, русские, в наши горы пришли и не уходите. А я к вам пришел и тоже уйду не скоро. Соседи будем, Князь. Соседи по-разному жить могут. Можно резать друг друга, это мы умеем. А можно быть кунаками. По-вашему — кровными братьями. Выбирай, как хочешь.

— Мне один хрен, — лениво ответил Князь. Опрокинул стопку, закусывать не стал. — Живи, пока под ногами не мешаешься, а надоешь — можно и порезаться.

Очко вполголоса предупредил:

— Князь, с ними так нельзя. Он один пришел, а остальные, надо полагать, вокруг затаились. Свистнет — возьмут нас в кинжалы.

— Пускай берут, — процедил Князь. — Поглядим, кто кого. Да ладно, Очко, ты очко-то не поджимай. — Он засмеялся, довольный шуткой, которая по-культурному называлась «каламбур». — Чего набычился, Казбек? Я смеюсь. Князь — человек веселый. Кунаками так кунаками. Давай поручкаемся.

Встал и руку протянул. У Скорика немножко отлегло, а то уж думал всё, со святыми упокой.

Однако абрек руку жать не захотел.

— У нас в горах пальцы тискать мало. Делом нужно доказать. Кунак кунаку самое дорогое подарить должен.

— Да? — Князь махнул рукой от плеча. — Ну, проси чего хочешь. У Князя душа как скатерть — белая да широкая. Вот, гляди. Подсвечник червоного золота. Давеча у одного купчины взял. Хошь подарю?

Казбек отрицательно покачал головой в косматой папaxe.

— А чего хочешь? Говори.

— Смерти хочу, — тихо, яростно сказал кавказец.

— Чьей смерти? — опешил Князь.

— Твоей. Говорят, она для тебя дороже всего. Вот и отдай мне ее. Тогда будем с тобой кунаки до гроба.

Скорик первым допетрил, про что речь, и зажмурился от ужаса. Ну, теперь точно всё. Сейчас кровянка фонтаном брызнет, и его, Сенькина, тоже. Ой, мама-мамочка, встречай с ангелами своего сынка Сеню.

Очко тоже сообразил. С места не двинулся, но пальцы правой руки тихонько скользнули в рукав левой. А там, в рукаве, ножики на кожаной манжетке. Как метнет парочку, тут гостям дорогим и амба.

До Князя последнего дошло. Он рот разинул, ворот рванул, стали видны вздувшиеся на шее жилы, а крик пока еще не выплеснулся — от свирепости перехватило горло.

Казбек же как ни в чем не бывало продолжил:

— Отдай мне свою женщину, Князь. Хочу ее. А я тебе вот, лучшую из своих мамзелек привел. Стройная, гибкая, как горная коза. На, бери. Не жалко.

И Сеньку на середку комнаты вытолкнул.

— А-а! — взвизгнул Скорик. — Мама!

Но его писка почти что не слышно было — так громко взревел Князь:

— Зубами! Глотку! Падаль!!!

Схватил со стола большую двузубную вилку, чем огурцы достают, и хотел броситься на абрека, но у того в руке откуда ни возьмись блеснул маленький черный револьвер.

— Ты — руки на плечи! — приказал Казбек валету, а Князю вовсе ничего не сказал, только глазом сверкнул.

Очко приподнял бровь, оценивающе разглядывая черную дырку дула. Показал кавказцу пустые руки, коснулся пальцами плеч. Князь, заматерившись, швырнул вилку на пол. Он смотрел не на револьвер, а в глаза обидчику и в ярости грыз собственные губы — по подбородку стекла красная струйка крови.

— Всё одно убью! — хрипло крикнул он. — И в Марьиной Роще достану! За это — кишки вырву, на колбасу пушу!

Казбек поцокал языком:

— Вы, русские, как бабы. Мужчина не кричит, тихо говорит.

— Так она и с тобой, с тобой?! — не слушал Князь. Смахнул злую слезу, заскрежетал зубами. — Стерва, сука, нет больше моего на нее терпения!

— Я к тебе как к мужчине пришел, честно. — Абрек сдвинул густые черные брови, голубые глаза сверкнули холодным пламенем. — Мог украсть ее, но Казбек не вор. По-хорошему говорю: дай. Не дашь — тогда по-плохому возьму. Только думай сначала. Не даром беру...

Он показал на съжившегося Сеньку.

Князь оттолкнул ни в чем не повинного Скорика так, что тот отлетел к стенке и сполз на пол:

— На кой мне твоя лахудра мазаная!

Хоть Сенька и ушибся плечом, хоть и было ему страшно, но эти слова, вроде бы обидные, прозвучали для него слаще музыки. Не нужен он Князю, слава те Иусе!

— Мамзельку я тебе так, в довесок даю, чтоб без бабы не остался, — засмеялся джигит. — А самое дорогое, что у меня есть и что я тебе подарю — серебро, много серебра. У тебя никогда столько не было...

— Я тебе это серебро в пасть вобью, свинья поганая! — перебил Князь и еще долго выкрикивал бессвязные угрозы и ругательства.

— «Много» — это сколько, уважаемый? — спросил Очко, когда Князь захлебнулся ненавистью и умолк.

— Не одна телега нужна, чтоб увезти. Знаю, вы давно то серебро ищете, а нашел я. За Смерть — отдам.

Князь хотел было снова раскричаться, но Очко поднял палец: тихо, молчок.

— Ты про клад ерохинского каляки? — вкрадчиво спросил валет. — Нашел, значит? Ох, ловок, сын Кавказа.

— Да, теперь клад мой. А захотите — будет ваш.

Князь мотнул головой, будто бык, отгоняющий слепней.

— Смерть не отдам! За всё серебро и золото не отдам! Никогда она не будет твоя, пес!

— Она уже моя. — Кавказец погладил свободной рукой бороду. — Как хочешь, Князь. Я по-честному пришел, а ты меня «псом» назвал. Я знаю уже: у вас на Москве по всякому ругаться можно, но за «пса» на нож ста-

вят. Будем резаться. У меня нукеров больше, чем у тебя, и каждый — орел.

Он попятился к двери, по-прежнему держа револьвер наготове. Сенька вскочил, прижался к черкеске плечом.

— Куда, гад?! — заорал Князь. — Живым не уйдешь! Давай, пали! Мои волки тебя завалят!

В дверь сунулся один из близнецов:

— Князь, ты чё шумнул? Звал?

Ни на миг не отводя глаз от Князя и Очка, абрек схватил Авося-Небося левой рукой пониже подбородка, поддерживал так секундочку-другую и выпустил. Парень осел кулем, кувыркнулся набок.

— погоди, уважаемый! — сказал Очко. — Не уходи. Князь, человек к тебе с миром пришел, по-хорошему. Бабой больше, бабой меньше — какая разница. Что братаны скажут? — И дальше заговорил стихами. — Полно, Князь, душа моя, это чудо знаю я.

Эге, вспомнил Сенька, а стихи-то знакомые. Это Царевна Лебедь князь Гвидону так говорила: мол, не пузырься, всё тебе обустрою в лучшем виде.

Но хитровский Князь сказку, похоже, не читал и захлопал на Очка глазами. Тот тоже мигнул, но только не двумя глазами, а одним — Сеньке сбоку хорошо видно было.

— Клад, говоришь? — хмуро пробурчал Князь. — Ладно. Если на калякин клад — меняюсь. Но серебро вперед.

— Слово? — спросил Казбек. — Фартовое?

— Фартовое, — подтвердил Князь и, как положено при клятве, большим пальцем себя по горлу чиркнул, но Сенька опять углядел каверзу: левую-то руку Князь за спину убрал — не иначе кукишем сложил, отчего фартовой клятве выходила цена грош. Надо будет после Казбеку, то есть Эраст Петровичу, про это подлое коварство рассказать.

— Хорошо. — Джигит головой кивнул, оружие спрятал. — Ночью приходите в Ерошенковский подвал, в самый дальний, где тупик. Вдвоем приходите — больше нельзя. В три часа с четвертью, ровно. Придете раньше или позже — уговору конец.

— Придем вдвоем, а твои волки нас порежут? — прищурился Князь.

— Зачем для этого в подвал ходить? — пожал плечами Казбек. — Хотели бы — и так вас на кебаб нарезали. Мне на Москве верные кунаки нужны, кому верить можно... Встретят вас там, в подвале. Отведут, куда нужно. Когда увидишь, кто встретит, поймешь: Казбек мог ничего тебе не давать, даром взять.

Князь открыл было рот что-то сказать (судя по оскалу — злое), но Очко положил ему руку на плечо.

— В три пятнадцать пополуночи будем, уважаемый. Слово, фатовое.

Вот валет поклялся безо всяких хитростей, обе его руки были на виду.

— Так не берешь мамзельку? — спросил кавказец у Князя уже в дверях.

Сенька закоченел. Ай, Эраст Петрович, погибели моей хотите? Николай-Угодник, Матушка-Заступница, не дайте пропасть!

Но Князь, скости ему за это Боже тыщу лет адских мучений, вместо ответа лишь харкнул на пол.

Обошлось.

КАК СЕНЬКА СТАЛ ФУРСЕТКОЙ

На улице, как сели на лихача да малость отъехали, Сенька, горько вздохнув, сказал:

— Спасибо вам, Эраст Петрович, за вашу ласку-заботу. Вон как вы с верным человеком поступаете. А если б Князь сказал «давай свою мамзельку»? Неужто отдали бы меня на погибель и растерзание?

— За угол повэрнешь — стой! — приказал извозчику неблагодарный инженер все тем же «кавказским» голосом. И ответил на попрек, только когда вылезли из пролетки.

— Для Князя существует только одна женщина. Ни на одну д-другую он и смотреть не захочет. Мне нужно было, Сеня, чтобы ты выглядел перепуганным — для большей достоверности нашей маленькой интермеди. У тебя это отлично п-получилось.

Лишь теперь Сенька сообразил, что в маскарадном обличье — хоть старого жида, хоть дикого горца — Эраст Петрович совершенно не заикался. Вот ведь удивительно. Припомнил и то, что инженер проделал всю работу в одиночку, от напарника никакой помощи ему не было. И стало Скорика стыдно. Больше всего за то, как трусил, Матушку-Богородицу и Николая-Угодника на подмогу звал. Хотя чего стыдиться-то? Чай, живой человек, не истукан навроде господина Неймлеса. Такому молитва без надобности, вот и Маса-сенсей про это говорил.

Они шли по Покровке, мимо Троицы что на Грязях, мимо пышного Успенского храма.

— А вы никогда Богу не молитесь? — спросил Сенька. — Это потому что вы совсем ничего не боитесь?

— Почему не боюсь? — удивился Эраст Петрович. — Боюсь. Страха не знают лишь люди, начисто лишенные воображения. А раз боюсь, то стало быть, и молось иногда.

— Врете!

Инженер вздохнул:

— Нужно говорить «лжете», а лучше бы без крайней надобности совсем такого не г-говорить, потому что... — он сделал неопределенный жест.

— ...Можно за это схлопотать по лицу, — догадался Сенька.

— И поэтому тоже. А молитва у меня, Сеня, вот какая, один священник научил: «Упаси меня, Господи, от кончины медленной, мучительной, унижительной». Вот и вся молитва.

Скорик задумался. Про медленную смерть понятно — кому охота десять лет в параличе лежать или высохнуть заживо? Про мучительную тоже ясно.

— А унижительная смерть это какая? Когда человек помер, а все на него плюют и ногами пинают?

— Нет. Христа тоже били и унижали, но что ж в его смерти постыдного? Я другого всю жизнь боюсь. Боюсь умереть так, чтобы все потешались. Одно это про тебя потом и будут помнить. Скажем, французского президента Фора будут помнить не за то, что он покорил М-Мадагаскар и заключил альянс с Россией, а за то, что его превосходительство испустил дух, пребывая на любовнице. От бывшего вождя нации остался скверный анекдот: «Президент умер при исполнении обязанностей — во всех смыслах». Даже на кладбищенском памятнике беднягу изобразили лежащим в обнимку со знаменем республики. Люди проходят мимо и хихикают... Вот какой участи я боюсь.

— С вами такого конфуза приключиться не может, — успокоил инженера Сенька. — Вы здоровьем крепкий.

— Не такой, так другой. Судьба любит подшутить над теми, кто слишком заботится о своем д-достоинстве. — Эраст Петрович усмехнулся. — К примеру, помнишь, как мы с тобой сидели в ватер-клозете, а Упырь услышал шум и выхватил револьвер?

— Еще бы не помнить. Посейчас дрожь пробирает.

— Не «посейчас», а «даже сейчас». Так вот, если б Упырь через дверь палить начал, то положил бы нас обоих прямо поперек с-стульчака. Красивая была бы смерть?

Скорик представил, как они с Эрастом Петровичем лежат друг на друге поперек фарфорового горшка и кровь стекает прямо в поганую трубу.

— Не сказать, чтобы сильно красивая.

— То-то. Не хотелось бы так умереть. Глупая слабость, сам понимаю, но ничего не могу с собой поделать.

Господин Неймлес виновато улыбнулся и вдруг остановился — аккурат на углу Колпачного переулка.

— Ну вот, Сеня, здесь наши пути расходятся. Я должен заглянуть на почту, отправить одно важное п-письмо. Ты же далее действуешь без меня.

— Чего это? — насторожился Скорик. Какую новую муку уготовил ему коварный Эраст Петрович?

— Пойдешь в полицейский участок, передашь приставу Солнцеву письмо.

— Только и всего? — Сенька подозрительно прищурился.

— Т-только и всего.

Ну это еще ладно, письмо отнести — дело небольшое.

— Тряпье бы бабское снять и краску с хари смыть, — все же проворчал Скорик. — От людей срамно.

— Перед людьми стыдно, — поправил занудный инженер. — Нет времени переодеваться, оставайся уж как есть. Так будет безопасней.

У Сеньки по сердцу будто кошка когтистой лапой провела. Безопасней? Это в каком таком значении?

А господин Неймлес нехорошую кошку еще пуще распалил.

— Ты юноша с-смышленный, — говорит, — действуй по ситуации.

Достал из кармана два конверта. Один отдал Сеньке, второй оставил себе.

Скорик хотел почесать грудь, чтоб кошка поменьше царапалась, да наткнулся на мягкое — это Эраст Петрович под платье ваты напихал, на предмет женской натуры.

— А то давайте лучше я на почту сбегаю, а вы к приставу? — без большой надежды предложил Сенька.

— Мне в п-полиции показываться ни к чему. Держи письмо. Отдашь полковнику из рук в руки.

Конверт был ненадписанный и даже незаклеенный.

— Это чтоб ты не тратил время на покупку нового, — объяснил господин Неймлес. — Всё равно ведь прочтешь. Ничего-то от него, премудрого змея, не утаишь.

Ста шагов один пройти не успел — сзади налетел кто-то, облапил за ватные сиськи.

— У, сдобная-рассыпчатая, посластимся? — жарко шепнули Сеньке в ухо.

Он повернул голову — небритая рожа, сивухой от нее несет, луком.

Вот оно каково, девушке одной по Хитровке ходить.

Сначала Скорик хотел просто пугануть похабника, сказать, что Студню, самому главному из хитровских котов, на такое озорство пожалуется, но незванный ухажер еще лизнул мнимую мамзельку в шею, и тут уж Сенькино терпение кончилось.

По всей японской науке он сначала выдохнул весь воздух, чтоб корень силы переместился из груди в живот, врезал ухажеру каблуком по голяшке, а когда тот, охнув, лапищи разжал, Скорик проворно развернулся и ткнул ему, суке, пальцем под ложечку.

Сладострастник сел на корточки, за брюхо схватился, и лицо у него стало серьезное, задумчивое. Вот-вот, подумай, как себя с девушками вести.

Зашел в подворотню, где потише. Развернул письмо.
«Милостивый государь Иннокентий Романович!

Мне стало известно из достоверного источника, что Вам стало известно из достоверного источника о моем приезде в Москву. Хотя мы с Вами никогда не симпатизировали друг другу, однако же надеюсь, что разгул жестокой преступности на вверенной Вам территории тревожит Вас, слугу закона, не менее, чем меня, человека, давно отошедшего от прежней службы и московских забот. Посему хочу сделать Вам деловое предложение.

Нынче ночью я соберу в некоем удобном месте главарей, двух опаснейших московских банд, Князя и Упыря, и мы с Вами произведем их задержание. Условия того места не позволяют взять с собой большого количества людей — Вам

придется ограничиться всего одним помощником, так что выберите самого опытного из полицейских. Уверен, что для ареста Князя и Упыря нас троих будет достаточно.

Особа, которая передаст Вам это письмо, о деле ничего не знает. Это обычная уличная девушка, простая душа, которая взялась выполнить мое поручение за небольшую плату, поэтому не утруждайтесь расспросами.

Я заеду за Вами в двадцать минут четвертого пополудни. Будучи человеком умным и честлюбивым, Вы несомненно сообразите, что вовсе ни к чему докладывать о моем предложении начальству. Наградой Вам будет самое большее — некоторая благосклонность городских властей. Однако я ведь не преступник, в розыск не объявлен, так что чинов и орденов Вы доносительством не выслужите. Гораздо больше дивидендов Вы приобретете, согласившись принять участие в затеянном мною предприятии. Фандорин».

Что такое «дивиденды», Скорик знал (это когда деньги ни за что платят), а вот последнего слова не понял. Наверно, оно означало «адъё», или «примите и проч.», или «засим остаюсь» — в общем, то, что в конце письма для красоты пишут. «Фандорин» — звонко. Надо запомнить на будущее.

Лизнул конверт языком, заклеил, а через пару минут уже входил во двор Третьего Мясницкого участка.

Проклятое место, тьфу на него. Придуманно, чтобы мучить человека, жизнь им утеснять, и без того не широко просторную.

У ворот со снятыми шапками стояли несколько извозчиков — нарушители уличного порядка. Пришли снятые с пролеток номера выкупать. Это рубликов семь, да и то, если сильно поклоняться.

В самом дворе толпились кружком мужики в подпоясанных рубахах. По виду — артель хохлов-плотников, приехавшая в Москву на заработки. Старшой, с вислыми усами, ходил с шапкой по кругу, остальные бережно ссыпали серебро и медь. Понятно: работали у застройщика без нужной бумажки, теперь псы у них половину денег оттяпают. Обыкновенное дело.

Раньше, при прежнем приставе, говорят, тут такого беспардонства не было, но каков пол, таков и приход.

Едва Сенька толкнул клеенчатую дверь и вошел в темный, заплеванный коридор, как его ухватил за подол наглый, мордатый псина с нашивками.

— Ишь какая, — говорит. Подмигнул и как ушипнет за бок, руки бы ему, сволочи, поотрывать. — Чтой-то я тебя раньше не видал. Желтый билет выправлять? Так это ко мне. Пойдем.

И уж за локоть ухватил, хочет тащить куда-то. И ведь брешет, поди, про билет — просто девушкой задарма пользоваться хочет.

— Мне к господину полковнику, — строго пискнул Сенька. — Письмо передать, важное.

Пес и отцепился. Иди, говорит, прямо, а потом направо. Его высокоблагородие там сидят.

Скорик пошел, куда сказано. Мимо курятника, где отловленные бродяги сидят, мимо запертых камер с ворами-преступниками (те, сердешные, пели про черного ворона — заслушаешься). Потом коридор почище стал, посветлей и привел Сеньку к высокой кожаной двери с медной табличкой «Пристав. Полковник И.Р.Солнцев».

На деликатный Сенькин стук строгий голос из-за двери сказал:

— Ну?

Скорик вошел. Пискаиво поздоровавшись, протянул письмо:

— Вот, просили передать самолично.

И хотел немедленно ретироваться, но пристав негромко рыкнул:

— Ку-да?

Грозный полковник сидел за столом, ел яблоко, отрезая дольки узким ножиком. Вытер лезвие салфеточкой, потом нажал какую-то кнопку, и клинок с железным щелчком спрятался.

Распечатывать конверт Солнцев не спешил, внимательно разглядывал посетительницу, особенно задержался взглядом на фальшивом бюсте (эх, перестарался господин Неймлес, больно много ваты понапихал).

— Кто такая? Гулящая? Имя?

— С-Санька, — пролепетал Скорик. — Александра Александрова.

— Что за письмо? От кого?

Солнцев подозрительно ощупал конверт, посмотрел на свет.

Чего говорить-то?

— Клиент один дал... Наказал: самому господину полковнику, говорит, передай, в собственные руки.

— Хм, тайны бургундского двора, — пробормотал пристав, вскрывая конверт. — Стой здесь, Александрова. Жди.

Быстро пробежал письмо глазами, дернулся, расстегнул крючок на жестком вороте, облизнул губы и стал читать сызнава. Теперь читал долго, будто пытался разглядеть что-то между строчками.

Сенька даже соскучиться успел. Хорошо на стене фотокарточки висели и газетные вырезки в рамках, под стеклами.

Интересней всего была картинка из журнала. На ней, молодцевато подбоченясь, стоял Солнцев, помоложе, чем сейчас, а рядом, в поставленном на попа дощатом гробу — усатый дядька с черной дыркой во лбу. Внизу подпись: *«Молодой околоточный надзиратель кладет конец преступной карьере Люберецкого Апаша».*

Ниже статья, без картинки, но зато с большущим заголовком: *«Арестована шайка фальшивомонетчиков. Браво, полция!»*

Фотография, без подписи: Солнцеву жмет руку сам князь-губернатор его высочество Симеон Александрович — тощий, громадного роста, да еще подбородок задрал, а пристав, наоборот, наклонился и коленки присогнул, но рожа, то есть лицо, улыбчивое и довольное-предовольное.

Еще статья, не шибко старая, не успела пожелтеть: *«Самый молодой участковый пристав Москвы»*, из «Ведомостей московской городской полиции». Сенька прочел начало: *«Блестящая операция по арестованию банды хамовнических грабителей, выданных одним из членов сего*

преступного сообщества, вновь заставила говорить о таланте подполковника Солнцева и обеспечила ему не только внеочередное производство в чин, но и назначение в один из труднейших и приметнейших участков Первопрестольной, на Хитровку...»

Дальше прочесть не успел, потому что пристав сказал:

— Тэк-с. Ин-те-ресное послание.

Оказалось, что смотрит он при этом уже не на письмо, а на Сеньку, и нехорошо смотрит, словно собирается развинтить его на детали и понять, что там у Сеньки внутри.

— Ты, Александрова, чья? Кто твой кот?

— Я сама по себе, вольная, — немножко поколебавшись, ответил Скорик. Назовешь какого-нибудь кота, хоть того же Студня, а вдруг полковник проверить вздумает? Есть, мол, у тебя, Студень, такая мамзелька? Неаккуратно выйдет.

— Это ты раньше была вольная, — недобро улыбнулся пристав. — Да вся вышла. С сего дня будешь на меня фурсетить. Девка ты, по всему видно, шустрая, глазастая. И собой недурна, грудастенкая. Голосишко, правда, противный, но тебе ведь не в опере петь.

И хохотнул. Вот, гад, в фурсетки решил приписать! Это мамзелек, которые псам на своих кукуют, так зовут. За такое, если фартовые или воры узнают, расплата одна — кишки наружу. Если найдут где гулящую с распоротым брюхом, всем ясно, за что ее. А уж кто — это поди узнай. И все же немало мамзелек, которые фурсетствуют. Само собой, не от хорошей жизни. Прижмет такой вот подлый пес — попробуй открутись.

Сеньке-то что, фурсеткой так фурсеткой, однако уважающая себя мамзелька должна была покобениться.

— Я девушка честная, — сказал он гордо. — Не из тех шалав, которые псам на своих кукуют. Ищите себе других кукушек.

— Что-о?! — заорал вдруг пристав таким ужасным голосом, что Скорик обмер. — Это ты кого «псами» назвала, стерррррва?! Ну, Александрова, за это я на тебя штраф запишу. На уплату — три дня. А потом знаешь, что будет?

Сенька помотал головой — испуганно, и уж безо всякого притворства.

А Солнцев с крика перешел на вкрадчивость:

— Объясню. Если ты мне в три дня штраф за оскорбление не выплатишь, я тебя на ночь в третью камеру запру. Там у меня знаешь кто? Преступники, больные чахоткой и сифилисом. По новому гуманному указу велено держать их отдельно от прочих арестантов. Они ночку с тобой поиграются, а там поглядим, что к тебе скорей привяжется — французка или чахотка.

Похоже, пора было от девичьей гордости отходить.

— Чем же я заплачу, — плачущим голосом сказал Сенька. — Я девушка бедная.

Полковник хмыкнул:

— Так бедная или честная?

Скорик потер рукавом глаза — вроде как слезы смахивает. Жалостно шмыгнул носом. Мол, вся я ваша, делайте со мною что хотите.

— То-то. — Солнцев перешел с угрожающего тона на деловой. — Ты с человеком, который тебе письмо дал, спала?

— Ну, — осторожно сказал Сенька, не зная, как лучше ответить.

Пес покачал головой:

— Надо же, как опростился наш чистолюй. В прежние времена нипочем бы с гулящей не спутался. Видно, нашел в тебе что-то. — Он вышел из-за стола, взял Скорика двумя пальцами за подбородок. — Глазки живые, с чертянками. Хм... Где дело было? Как?

— У меня на квартире, — принялся врать Сенька. — Очень уж барин жаркий, прямо огонь.

— Да, он ходок известный. Вот что, Александра. Штраф ты мне выплатишь следующим манером. Скажешь этому человеку, что влюбилась в него до безумия или еще что-нибудь выдумаешь, но смотри, чтобы при нем была. Раз он в тебе что-то усмотрел, то, верно, не прогонит. Он у нас джентльмен.

— Где ж мне его сыскать? — пригорюнился Сенька.

— Про это я тебе завтра скажу, — загадочно улыбнулся пристав. — Давай желтый билет. У меня пока полегит. Для верности.

Ай, незадача. Скорик глазами захлопал, чего сказать — не знает.

— Что, нету? — Солнцев хищно осклабился. — Без билета промышляешь? Хороша. А еще фурсетить брезговала. — Эй! — заорал он, повернувшись к двери. — Огрызков!

Вошел городской, встал навтыжку, истово выпучил на начальство глаза.

— Эту сопроводишь до дому, куда укажет. Изымешь вид на жительство, привезешь мне. Так что удрать тебе, Александрова, не удастся.

Он потрепал Сеньку по щеке.

— А приглядеться — пожалуй, в самом деле что-то есть. У Фандорина губа не дура. — Опустил руку, пощупал Скорикову задницу. — На фундамент тощевата, но я мегрешками не брезгую. Надо будет тебя попробовать, Александрова. Если, конечно, от чахоточных откупишься.

И заржал, жеребец поганый.

Как только Смерть с ним, подлым, миловаться могла? Уж лучше бы, кажется, в петлю.

А еще Сеньке стало жалко женщин, бедных. Каково им на свете жить, когда все мужчины сволочи и паскудники?

И что все-таки такое «фандорин»?

КАК СЕНЬКА СДАВАЛ ЭКЗАМЕН

С пучеглазым псом Сенька поступил просто. Сказал ему, что проживает на Вшивой Горке, а как пошли переулками к Яузе, подобрал подол, да и дунул в подворотню. Городовой, конечно, давай в свисток дудеть, материться, а что толку? Мамзельки-фурсетки и след простыл. Будет Огрызкову от пристава «штраф», это как пить дать.

Всю дорогу домой Скорик ломал голову: что ж он там такого в подвале увидел или услышал, из чего Эраст Петрович с Масой сразу догадались, кто убийца?

Раскидывал, раскидывал мозгами, прямо замучил их гимнастикой, но так и не допетрил.

Стал тогда про другое дедуктировать. Что же такое удумал многоумный господин Неймлес? Это ведь помыслить страшно, какую кашу заварил. Как ее расхлебывать? И, главное, кому? Что если некоему молодому человеку, притомившемуся быть игрушкой в руках птицы-Фортуны? То она, шальная, взмахнет крылом, вывалит на сирого, убогого свои заветнейшие дары — и любовь, и богатство, и надежду, то вдруг повернется гузкой и нагадит счастливцу на куафюру, отберет все дары обратно и еще нацелится в придачу утырить у несчастной жертвы самое жизнь.

Про инженера Сеньке думалось нехорошее. Ишь как ловко чужим имуществом распорядился. Нет спасибо сказать за неслыханное великодушие и самопожертвование. От них дожدهшься! Распорядился, будто своим собственным. Назвал аспидов на чужое. Приходите, гости дорогие, берите кому сколько надо. А что у человека на тот клад свои виды были и даже мечты, на это гладкому барину Эрасту Петровичу, конечно, положить со всей амуницией.

От обиды Скорик был с инженером сух и, хоть рассказал про передачу письма и про разговор с приставом всё в доскональности, но делал оскорбленное достоинство: глядел немножко в сторону и кривил губы.

Эраст Петрович, однако, демонстрации не заметил. Внимательно выслушал и про допрос, и про вербовку. Кажется, остался всем доволен, даже похвалил «молодцом». Тут Сенька не сдержался, сделал намек насчет клада: что, мол, много на свете умников людским добром распоряжаться, еще бы, чужое — не свое. Но не пронял и намеком, не достучался до инженеровой совести. Господин Неймлес потрепал Скорика по голове, сказал: «Не жадничай». И еще сказал, весело:

— Нынче ночью заканчиваю все московские дела, времени больше нет. Завтра в полдень — старт мотопробега. Надеюсь, «Ковер-самолет» в порядке?

У Сеньки внутри всё так и сжалось. В самом деле, двадцать третьё-то уже завтра! За беготней и переживаниями он совсем про это забыл!

Выходит, так на так всему конец. Ай да господин Неймлес, ловкач. Попользовался механиком (между прочим, задарма, если не считать харчей), получил налаженное-надраенное авто в лучшем виде и это бы четверть беды. Главное — обвел сироту вокруг пальца, обобрал до нитки, под ножи поставил, а после укатит себе в Париж волшебным принцем-королевичем. Сенькина же планида — сидеть одному-одинешеньку у разбитого корыта. Это еще если завтра жив останется...

Рот у Скорика задрожал, уголки сами по себе вниз поползли, еще ниже, чем при оскорбленном достоинстве.

А бессердечный Эраст Петрович сказал:

— Помаду-то с губ сотри, смотреть п-противно.

Как будто Сенька сам, от нечего делать, помадой намазался!

Сердито топая, он пошел переодеваться. Слышно было, как в кабинете задребезжал телефонный звонок, а когда минут через несколько Скорик явился к Эрасту Петровичу высказать правду-матку уже безо всяких намеков, на полную чистоту, того дома не было — исчез куда-то.

Маса тоже шлялся неведомо где. День между тем неостановимо сползал под откос, к вечеру, и чем за окном становилось темней, тем сумрачней делалось у Сеньки на душе. Охо-хо, что-то нынче будет...

Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Сенька пошел в сарай начищать авто, и без того сиявшее ослепительней кремлевских куполов. Злости больше не было, одна печаль.

Что ж, Эраст Петрович. Как говорится, дай вам Бог удачи и рекорда, о котором вы мечтаете. Трипед ваш отлажен в лучшем виде, не сомневайтесь. Не раз вспомните добрым словом механика Семена Скорикова. Может, на вас когда-никогда и некое угрызение снизойдет. Или хоть легкое сожаление. Хотя, конечно, навряд ли. Кто вы и кто мы?

Тут из жалюзей (это щели такие) моторного охладителя раздался тихий писк, и Сенька замер. Послышалось? Нет — вот, снова! Что за чудеса?

Посветил внутрь фонариком. Мышонок залез!

Говорил же, говорил Эрасту Петровичу, что зазоры должны быть меньше! Пускай лучше их будет не двадцать четыре, а тридцать шесть!

Вот вам пожалуйста. А если этот гаденыш топливный шланг прогрызет? Ой, беда-беда.

Пока снимал кожух, пока гонял мышонка, пока отсоединял и вновь присоединял шланг (слава Богу, целый), сам не заметил, как наступила ночь. Вернулся в дом, когда били часы — двенадцать раз. От этого похоронного боя, гулко раздававшегося в пустой квартире, у Скорика перехватило дыхание и стало так страшно, так бесприютно, что хоть собакой вой.

Хорошо скоро после этого явился господин Неймлес. Совсем не такой, как давеча: уже не веселый и довольный, а хмурый, даже злой.

— Ты почему не готов? — спрашивает. — Забыл, что тебе Мотю изображать? Надевай парик, ермолку и все остальное. Сильно г-гримировать тебя не стану, всё равно в подвале темно. Только нос подклею.

— Так ведь рано еще. Мне к трем, — упавшим голосом сказал Сенька.

— Появилось еще одно с-срочное дело. Я должен его решить. Поедем на «Ковре-самолете», будет ему заодно последнее испытание перед стартом.

Здрасьте-пожалуйста. Полировал, надраивал — и всё псу под хвост. Хотя, с другой стороны, лишний раз обкатать не вредно.

Жиденком Сенька оделся быстро и уже без скандалу. Лучше так, чем мамзелькой.

Эраст Петрович же надел красивый мотокостюм: кожаный, блестящий, с желтыми скрипучими ботинками и гамашами. Заглядение!

А еще инженер сунул в заспинный кармашек свой маленький револьвер (называется «герсталь», сделан в заграничном городе Льеже, по особому заказу), и у Скорика екнуло сердце. Доживем ли до старта? Бог весть.

— Садись за руль, — велел господин Неймлес. — Покажи, что умеешь.

Сенька надел окуляры, втиснул уши под чересчур большую ермолку, чтоб не слетела. Эх, хоть прокатиться напоследок!

— На С-Самотеку.

Домчали в пять минут, с ветерком.

Эраст Петрович вылез у деревянного особнячка, позвонил. Ему открыли.

Сенька, конечно, полюбопытствовал — сходил посмотреть на медную табличку, что висела на двери. «Ф.Ф.Вельтман, патологоанатом, д-р медицины». Что такое «патологоанатом» — хрен его знает, но «д-р» значило «доктор». Заболел, что ли, кто? Уже не Маса ли, встревожился Сенька. Тут за дверью послышались шаги, и он побежал назад к аппарату.

Доктор был шупленький, взъерошенный и всё моргал глазами. На Сеньку уставился с испугом, в ответ на вежливое «доброго здоровьица» неопределенно кивнул.

— Это кто? — шепотом спросил Скорик инженера, когда мухортик, кряхтя, полез садиться.

— Неважно, — мрачно ответил Эраст Петрович. — Это п-персонаж из совсем другой истории, нашего сегодняшнего дела не касающейся. Едем на Рождественский бульвар. Марш-марш!

Ну, а как мотор загрохотал, тут уж, конечно, не до разговора стало.

Инженер велел остановиться на углу темного переуллка.
— Оставайся в машине и никуда не отлучайся.

Само собой — как можно отлучиться? Ночная публика, она известно какая. Не успеешь отвернуться, болт либо гайку отвернут, на грузило или так, из озорства.

Сенька положил на сиденье разводной ключ — пусть только сунутся.

Спросил у доктора:

— Заболел кто? Лечить будете?

Тот не ответил, а господин Неймлес сказал:

— Да. Необходимо хирургическое вмешательство.

Они двое пошли к дому, в котором светились окна. Постучали, вошли, а Скорик остался поджидать.

Долго ждал. Может, целый час. Сначала сидел, боялся того, как в ерохинский подвал к Упырю пойдет. Потом просто скучал. А под конец тревожиться стал — не опоздают ли. Пару раз послышалось, будто в доме, куда инженер с врачом вошли, что-то трещит. Черт его знает, что они там делали.

Наконец, вышел Эраст Петрович — один и без кожного кепи. Когда он подошел ближе, Сенька увидел, что вид у господина Неймлеса не такой аккуратный, как раньше: куртка на плече надорвана, на лбу царапина. Он лизнул правый кулак — костяшки пальцев сочились кровью.

— Что случилось-то? — перепугался Скорик. — И где лекарь? С больным остался?

— Едем, — буркнул инженер, не ответив. — Покажи мастерство. Вот тебе экзамен: домчишь до Хитровки за десять минут — возьму тебя в мотопробег ассистентом.

Сенька дернул дроссель еще сильнее, чем тогда, в первый раз. Авто рвануло с места и, покачиваясь на стальных рессорах, понеслось вперед, в ночь.

Ассистентом! В Париж! С Эрастом Петровичем!

Господи, сделай так, чтоб мотор не заглох и не перегрелся! Чтоб шина на булыге не треснула! Чтоб не соскочила передача! Ведь Ты всё можешь, Господи!

На углу Мясницкой двигатель чихнул и сдох. Засор!

Сенька, давясь слезами, продул карбюратор, на что ушло минуты две, не меньше. Из-за этого несчастья в заданный срок и не уложился.

— Стоп, — сказал инженер на перекрестке бульвара с Покровкой и посмотрел на брегет. — Двенадцать минут десять секунд.

Повесив голову, Скорик всхлипнул и вытер сопли рыжим пейсом. Ах, Фортуна, подлая ты баба.

— Отличный результат, — сказал Эраст Петрович. — А к-карбюратор вообще был прочищен за рекордный срок. Поздравляю. Про десять минут я, разумеется, п-пошутил. Надеюсь, ты не откажешься сопровождать меня в Париж в качестве ассистента? Сам знаешь, Маса на эту роль не подходит. Он поедет за нами в дорожной к-карете, повезет запасные колеса и прочие детали.

Не веря своему счастью, Сенька пролепетал:

— И мы поедем втроем? В самый город Париж?

Здесь господин Неймлес задумался.

— Видишь ли, Сеня, — сказал он. — Вероятно, с нами поедет еще одна особа. — А помолчав, добавил тише, без большой уверенности. — Или даже две...

Ну одна-то понятно кто, насупился Скорик. После каши, которую нынче ночью заварит Эраст Петрович, Смерти оставаться в Москве будет никак невозможно. А вот вторая-то особа кто? Неужто сенсей решился у швейцара Михеича его супругу Федору Никитишну увезти?

И стало Сеньке жалко бедного Михеича — каково-то ему придется без компотов, без пирожков, без Федориной ласки? А еще жальче стало себя. Мука мученическая будет смотреть, как у инженера со Смертью по дороге в Париж ихняя любовь обустроится. Не хватало еще чтоб через это рекорд сорвался.

Господин Неймлес прервал Сенькины размышления, снова звякнув брегетом:

— Без десяти три. Пора приступать к операции. Я еду за приставом. Авто оставляю в участке — целее будет. Зарядно проверю, ограничится ли Солнцев одним помощником. А ты, Сеня, ступай в Ерошенковскую ночлежку, к месту встречи. Веди Упыря подземным ходом и помни,

что ты д-дурачок. Членораздельного ничего не говори, просто мычи. Там будет критический момент, когда появятся Князь с Очком. Если сильно запахнет жареным, мальчик Мотя может обрести дар речи. Скажешь: «А серебро — вот оно» и покажешь. Это займет их как раз до моего появления. — Инженер задумался о чем-то, пробормотал вполголоса. — Скверно, что я остался без «герсталя», а добывать другой револьвер нет времени...

— Да как вы без пистолета к этим волкам пойдете? — ахнул Сенька. — Вы же его в карман совали, я видел! Обронили, что ли, где-нибудь?

— Именно что обронил... Ничего, обойдемся и без револьвера. План операции стрельбы не предполагает. — Эраст Петрович бесшабашно улыбнулся и щелкнул Скорика по наклеенному носу. — Ну, еврей, гляди б-бодрей.

КАК СЕНЬКА ВЕРТЕЛ ГОЛОВОЙ

Ух, как же его тошнило от Ерохи — от гнилого подвального запаха, от темнотищи, от приглушенных звуков, что доносились из-за закрытых дверей «квартир»: ночь-полночь, а подземные жители всё собачились промеж собой, или дрались, или пели дурными голосами, или плакали. Но чем дальше уходил Сенька по сырым коридорам в ерохинское чрево, тем делалось тише, будто сама земля гасила и поглощала шум человеческой жизни-жизнянки, а по-научному сказать экзистенции. И тут накатали на Скорика воспоминания, во стократ хуже подвальной вонищи и пьяного ору.

Вот здесь на Сеньку сзади бросился неведомый душегуб, драл волосы и ломал шею. Рука сама потянулась совершить крестное знамение.

А за той дверью проживало семейство Синюхиных — вдруг померещилось, что они плятятся из тьмы багровыми ямками вырезанных глаз. Бр-р-р...

Еще пара поворотов — и колонная зала, будь она неладна. Из-за нее все напасти.

Тут вот валялся мертвый Михейка. Сейчас как шагнет из черноты, растопыря пальцы. А-а, скажет, Скорик, падла, давно тебя поджидаю. Через тебя ведь я смерть принял.

Сенька скорей-скорей шмыгнул подальше от нехорошего места, на всякий случай косясь назад и держа наготове пальцы щепотью — перекреститься, если привидится какая фантазмагория.

Лучше бы перед собой смотрел.

Налетел на что-то, но не на колонну, потому что потолочная опора — она твердая, кирпичная, а это, на что он налетел, было упругое и ухватило Сеньку руками за горло. Да как зашипит:

— Явился? Ну, где ваш жидовский клад?

Упырь! Здесь уже, в темноте подждал!

Скорик от испуга только замычал.

— Ах да ты ж немой, — выдохнул в самое лицо страшный человек и горло отпустил. — Ну давай, веди.

И в самом деле один пришел! Не захотел-таки с товарищами богатством делиться. Вот она, жадность.

Еще малость погукав и помычав, Сенька повел доильщика в угол, за последнюю колонну. Вынул камни, махнул рукой: айда за мной! И полез в дыру первым.

Нарочно шел помедленней, хотя Упырь зажег лампу, и можно было бы до сокровищницы добраться в пять минут. Только куда торопиться-то? Ведь придется с этим монстром (а проще говоря чудишем) целых пятнадцать минут наедине миловаться, пока Смерть своих чудищ не доставит, Князя с Очком. Ну, что тогда начнется — об этом лучше было пока не задумываться.

Однако как ни тянул Сенька, как ни канителил, а все ж таки вывел лаз к выложенной белым камнем горловины. Отсюда три шажка, а там и заветная камора.

— Гы, гы, — показал Скорик на кучи серебряных заготовок.

Упырь отпихнул его, ринулся вперед. Зарыскал туда-сюда по подземелью, высоко подняв лампу. По стенам и сводчатому потолку запрыгали тени. У заваленной битым кирпичом и камнями двери доильщик остановился.

— Туда что ль?

Сенька всё жался у входа. Была у него мысль — не дернуть ли обратно? Да что толку? Налетишь на Князя, который, наверно, уже движется сюда подземным ходом.

— Где клад-то? — подступился к Скорику монстр. — А? Клад, понимаешь? Серебро где?

— Бу, бу, — ответил мальчик Мотя и затряс головой, замахал руками. Чтоб потянуть время, произнес целую речь на психическом языке. — Улюлю, га-га хряпс, арды-бурды гулюмба, сурдык-дурдык ого! Ашмы ли бундугу? Карманда! Сикось-выкось шимпопо, дуру-буру гопляля...

Упырь послушал-послушал, да как схватит полоумного за плечи и давай трясти.

— Где серебро? — орет. — Тут мусор один да лом железный! Надули? Я тебя, пейсатого, лапшой настругаю!

У Сеньки голова вперед-назад мотаётся, нехорошо Сеньке. Вот уж никогда не думал, что будет с таким нетерпением Князя ждать. Где они там, уснули, что ли в подземном ходе?

Или уже открыть Упырю про прутья? Эраст Петрович сказал: «Если сильно запахнет жареным, мальчик Мотя может обрести дар речи». Куда уж жареней? Прямо искры из глаз!

Открыл Сенька рот, чтоб не по-безумному, а по-понятному заговорить, но тут вдруг Упырь его трести перестал — дернулся, наострил уши. Никак услышал что-то?

Через малое время Скорик тоже услышал: шаги, голоса.

Доильщик пнул ногой лампу, что стояла на полу. Та упала, погасла. Стало темным-темно.

Однако ненадолго.

— ...всё молчишь-то? — глухо донеслось из узкого прохода, и сразу оттуда же, качаясь, выжегился узкий яркий луч, зашарил по своду, по стенам. Застывших Упыря и Сеньку пока что не зацеплял.

Вошли трое. Первый, в длиннополом сюртуке, держал в руке электрический фонарь. Второй была женщина. Говорил третий, ступивший в камору последним.

— Ну молчи, молчи, — горько сказал Князь. — Променяла меня на черномордого и молчишь? Стерва ты бесстыжая, а не Смерть...

Чиркнула спичка — это первый из вошедших зажег керосиновую лампу.

В помещении стало светло.

— Оп-ля! — тихо воскликнул вает, быстро поставил лампу на пол, а фонарь погасил и сунул в карман. — Какая встреча!

— Упырь! — выкрикнул Князь. — Ты?!

А доильщик ничего им не сказал. Только шепнул на ухо Сеньке: «Ну хитры вы, жидяры поганые. Прощайся с жизнью, сучонок».

Но и Князь, похоже, решил, что его подсекли. Повернулся к Смерти:

— Гниде этому продала меня, сука?

Замахнулся на нее кулаком, а в кулаке-то кастет! Смерть не отшатнулась, не попятилась, только улыбну-

лась, зато Скорик от страха завопил. Ничего себе операция! Сейчас их обоих порешат, и вся недолга!

— Погоди-ка, Князь, — сказал Очко, вертя головой. — Это не подсека. Он тут один, малец не в счет.

Валет пружинистой походкой прошелся по подвалу, быстро бормоча при этом:

— Что-то не то, что-то не то. И серебра никакого нет...

Вдруг повернулся к доильщику:

— Мсье Упырь, вы ведь тут не из-за нас? Иначе не пришли бы один, верно?

— Само собой, — настороженно ответил тот, выпустил Скорика и сунул обе руки в карманы. Ой, мамочки, как начнет палить прямо через портки!

— А из-за чего? — блеснул стеклышками Очко. — Не из-за некоего ли клада?

Глаза Упыря проворно перемещались с одного противника на другого.

— Ну.

— «Ну» — стало быть, да. А кто сыпанул наводку? — Валет остановился, подал Князю знак — погоди, мол, ничего не делай. — Часом не кавказец по имени Казбек?

— Нет, — сдвинул жидкие брови Упырь. — Старый жид насыпал. И провожатого дал, вот этого жиденка.

Очко защелкал пальцами, потер лоб.

— Так-так-так. Что означает сей казус? Открылась бездна, звезд полна...

— Что ты удумала? — накинудся Князь на Смерть, но руку с кастетом опустил. — Зачем нас тут свела?

— Погоди ты, не булькай, — снова остановил его валет. — Она ничего не скажет. — И кивнул на Сеньку. — Пошупаем лучше хриstopродавца.

Тот втянул голову в плечи. Уже кричать про клад или еще погодить?

Упырь дернул подбородком:

— Он малахольный, только мычит. А начнет языком молоть — ничего не разберешь.

— Непохоже, чтобы совсем уж малахольный. — Очко не спеша двинулся к Скорику. — Ну-ка, дворянин иерусалимский, поговори со мной, а я послушаю.

Сенька от него, бешеного, шарахнулся. Валет на это засмеялся:

— Куда так проворно, жидовка младая?

И в самом деле — некуда. Через каких-нибудь три шага Скорик уперся спиной в стенку.

Очко вынул фонарь, осветил ему в лицо и вдруг засмеялся.

— Власы-то, похоже, поддельные. — И дерг у Сеньки с головы парик — рыжие патлы вместе с ермолкой на сторону сползли. — Князь, погляди-ка, кто тут у нас. О, сколько нам открытий чудных...

— А, лярва! — взвыл Князь. — Так это ты со своим сопливым полубовником всё устроила! Ну, Скорик, глистеныйш, конец тебе!

Вот теперь в самый раз будет, сообразил Сенька. Если дальше жарить — одни головешки от него останутся.

— Не убивайте! — закричал он что было мочи. — Без меня вам клад не найти!

Валет повис на плечах у Князя.

— Постой, успеется!

Но вместо Князя на бедного Сеньку налетел Упырь.

— Так ты ряженный!? — и шмяк кулаком в ухо.

Хорошо, что сбившийся парик смягчил, а то бы дух вон.

Но все же Скорика швырнуло в сторону. Прежде, чем дальше бить станут, он показал на ближнюю грудь:

— Да вон же оно, серебро! Глядите!

Доильщик посмотрел, куда указывал палец. Взял один прут, повертел в руках. Тут и Очко подошел, тоже подобрал палку, поскреб ножом. Сверкнуло белым, матовым, и Упырь охнул:

— Серебро! Сука буду, серебро!

Тоже вынул перо, попробовал один прут, другой, третий.

— Да тут пуды!

Князь и Очко, позабыв о Сеньке, тоже загрохотали металлом.

Скорик по стеночке, по стеночке подобрался поближе к Смерти. Шепнул:

— Дуем отсюда!

Она, тоже шепотом:

— Нельзя.

— Ты что? Они сейчас очухаются и кончат меня!

А Смерть ни в какую:

— Эраст Петрович не велел.

Бросить, что ли, ее здесь, раз она такая упрямая, заколебался Сенька. Может, и бросил бы (хотя, конечно, навряд ли), но тут, легок на помине, появился господин Неймлес.

Видно, крались через горловину на цыпочках, потому что шагов слышно не было.

Просто один за другим в камору быстро вошли трое: Эраст Петрович, пристав Солнцев и Будочник. Инженер держал фонарь (который, впрочем, сразу загасил — и без того светло было); у пристава в каждой руке было по револьверу, а Будочник просто выставил вперед кулачищи.

— Руки в небо! — лихо крикнул пристав. — Уложу на месте!

Господин Неймлес встал слева от него, городской справа.

Оба фартовых и доильщик застыли. Первым бросил прут Упырь, медленно повернулся и поднял руки. Князь и Очко сделали то же.

— Вот пайньки! — весело воскликнул полковник. — Все здесь, голубчики! Дорогие мои, ненаглядные! И вы, мадемуазель! Какая встреча! Я вас предупреждал, пощепительней со знакомствами. Теперь пеняйте на себя! — Он коротко взглянул на Эраста Петровича и Будочника. — Доставайте револьверы, что же вы? Это публика шустрая, всего можно ожидать.

— Я сегодня без огнестрельного оружия, — спокойно ответил инженер. — Оно не п-онадобится.

Городовой же прогудел:

— А мне ни к чему. Я, если надо, и кулаком вчистую уложу.

Не дурак оказался пристав-то, подумал Сенька. Знал, какого помощника с собой взять.

— Сударыня и ты, Сеня, встаньте позади меня, — сказал Эраст Петрович не допускаям возражений голосом.

Скорик-то, по правде говоря, и не думал возражать — вмиг забежал инженеру за спину и встал у самого выхода. Однако и строптивая Смерть спорить не осмелилась, присоединилась к Сеньке.

— Иннокентий Романович, позвольте мне произнести небольшую речь, — обратился к приставу господин Неймлес. — Я должен объяснить п-присутствующим истинный смысл этого собрания.

— Истинный смысл? — удивился Солнцев. — Но он очевиден — арестовать этих мерзавцев. Единственное, что мне хотелось бы знать, как вам удалось их сюда заманить? И что это за живописная фигура?

Последнее было сказано про Сеньку, который на всякий случай отступил подальше в горловину.

— Это мой ассистент, — объяснил Эраст Петрович. — Но моя речь будет не о нем. — Он откашлялся и заговорил громче, чтоб было слышно всем. — Господа, у меня очень м-мало времени. Я собрал вас, чтобы покончить всё разом. Завтра — да, собственно, уже нынче — я покидаю пределы города и должен этой ночью завершить свои московские дела.

Пристав встревоженно перебил его:

— Покидаете? Но по дороге сюда вы говорили мне про то, как мы вместе истребим всю нечисть, и про то, какие это откроет передо мной служебные горизонты...

— Для меня существуют вещи поинтересней вашей карьеры, — отрезал инженер. — Например, спорт.

— Какой к черту спорт?!

Полковник так удивился, что перевел взгляд с арестантов на Эраста Петровича. Рука Очка немедленно скользнула в рукав, но Будочник в два прыжка выскочил вперед и занес пудовую ручищу:

— Пришибу!!!

Валет немедленно выставил вперед пустые ладони.

— Еще раз перебьете меня, и я отберу ваши «кольты»! — сердито прикрикнул господин Неймлес на пристава. — В ваших руках от них все равно мало проку!

Оглянуться на него снова Солнцев не решился, потому просто кивнул: хорошо-хорошо, молчу.

Показав всем, кто в курятнике петух (а именно так расценил Сенька поведение инженера), Эраст Петрович заговорил, обращаясь к арестованным:

— Итак, г-господа, я решил собрать вас здесь по двум причинам. Первая состоит в том, что все вы являлись подозреваемыми в деле о хитровских убийствах. Теперь я уже знаю, кто преступник, но все же коротко поясню, чем навлек на себя подозрение каждый из вас. Князь знал о существовании клада, это раз. Разыскивал его, это два. К тому же в последние месяцы из обычного налетчика превратился в беспощадного убийцу, это три. Вы, господин Очко, также знали о кладе, это раз. Чудовищно жестоки, это два. Наконец, ведете двойную игру за спиной своего покровителя: ни во что его не ставите, крадете с его стола и спите в его п-постелн. Это три.

— Что?! — взревел Князь, повернувшись к своему подручному. — Чего это он про постель?

Валет лишь улыбнулся, но такой улыбкой, что у Сеньки вся кожа запупырилась.

А господин Неймлес уже обратился у Упырю:

— Вам, господин доильщик, не давал покоя к-карьерный взлет Князя. Как стервятник, крадущий чужую добычу, вы всё норовите выхватить кусок у удачливого соперника: хабар, воровскую славу, женщину. Это раз. Вы тоже не останавливаетесь перед убийствами, но прибегаете к этому к-крайнему средству, лишь приняв все меры предосторожности. Как и хитровский Кладонскатель, отличающийся маниакальной предусмотрительностью. Это два...

— Женщину? — перебил Князь, напряженно вслушивавшийся в эту обвинительную речь. — Какую женщину? Смерть, о чем это он? Нешто и Упырь к тебе лапы тянул?

Сенька глянул на Смерть и увидел, что она бледна, как смерть (нет, лучше сказать — «как снег» или «как полотно», а то непонятно получается). Однако усмехнулась.

— И он, и твой дружок Очко. Все вы друг друга стоите, пауки.

Не опуская поднятых рук, Князь развернулся и двинул валета в висок, но тот, похоже, был наготове —

проворно отскочил, выхватил из рукава нож. Упырь тоже сунул руку в карман.

— Стоять! — заорал пристав. — Положу на месте! Всех троих!

Те застыли, испепеляя взглядами друг друга. Очко ножа не убрал, Упырь руки из кармана не вынул, у Князя же на пальцах сжатого кулака посверкивали стальные кольца кастета.

— Немедленно уберите оружие, — приказал инженер. — И вас, Иннокентий Романович, это тоже касается. Еще выпалите невзначай. К тому же у нас тут не казачьи-разбойники и не полицейские-воры, а совсем другая игра, в которой все на равных.

— Что? — опешил полковник.

— А то. Вы тоже были для меня одним из подозреваемых. Интересуетесь резонами? Извольте. Вы столь же беспощадны и жестоки, как остальные п-приглашенные. Ради своего честолюбия не остановитесь ни перед какой низостью и даже перед убийством. Свидетельством тому ваш послужной список, отлично мне известный. Шум на всю Москву о новоявленном потрошителе с Хитровки вам выгоден. Недаром вы так привечаете газетных репортеров. Сначала самому создать пугало, наводящее трепет на публику, а потом героически одолеть творение собственных рук — вот ваша метода. Именно так вы поступили год назад с пресловутыми «хамовническими грабителями» — этой шайкой вы сами и руководили, через вашего агента.

— Чушь! Домыслы! — крикнул пристав. — У вас нет доказательств! Вас в это время вообще в Москве не было!

— Но, не забывайте, у меня в Москве много старых д-друзей, в том числе из полиции. Не все они так слепы, как ваше начальство. Впрочем, это сейчас к делу не относится. Я лишь хочу сказать, что провокация с кровавым исходом для вас не внове. Вы расчетливы и холодны. Поэтому в вашу африканскую страсть к избраннице Князя я не верю. — эта дама была вам нужна как источник информации.

— Как, и этот тоже? — простонал Князь с такой мукой, что Сеньке даже стало его жалко. — Шалава ты рас-

последняя! Всех своим подолом загребла, даже псом поганым не побрезговала!

А Смерть лишь рассмеялась — шелестящим, почти беззвучным смехом.

— Сударыня, — коротко оглянувшись на нее Эраст Петрович. — Я требую, чтобы вы немедленно удалились. Сенья, уведи ее!

Правильный момент выбрал умный инженер — так всем остальным голову заморочил, что не до Смерти им стало и тем более не до какого-то Сеньки.

Два раза просить Скорика не пришлось. Он взял Смерть за руку и потянул в горявину. Ясно было, что затеянный господином Неймлесом стык добром не кончится. Любопытно, конечно, было бы посмотреть до конца, но откуда-нибудь с третьего яруса в театральные бинокль. А оказаться на сцене, когда тут всех валить начнут — премного благодарны, как-нибудь в другой раз. К примеру, после среды во вторник.

Шажка два Смерть сделала, не больше, а потом уперлась — не сдвинешь. Когда же Сенька попробовал ее за бока тащить, еще локтем под ложечку двинула, очень больно.

Скорик за живот схватился, ртом воздух хватал, а сам в это время из-за Смертьиного плеча выглядывал, только успевал головой вертеть. Интересно все ж таки. Видел, как пристав попятился к стене и наставил один револьвер на Эраста Петровича, второй же по-прежнему наводил на фартовых.

— Так это ловушка?! — воскликнул он, вертя туда-сюда головой еще проворней Сеньки. — Не на того напали, Фандорин! В барабанах двенадцать пуль, на всех хватит! Будников, ко мне!

Городовой подошел к начальнику и встал сзади, грозно сверкая глазами из-под сивых бровей.

— Тут, Иннокентий Романович, не одна ловушка, а целых две, — спокойно объяснил господин Неймлес, снова обозванный тем самым непонятным Сеньке словом. — Я же сказал, что сегодня ночью хочу разом закончить все московские дела. Свои подозрения я изложил вам

исключительно для полноты картины. Преступник находится здесь и понесет заслуженную кару. Остальных же я пригласил на эту встречу с другой целью: чтобы избавить некую даму от опасных знакомств и еще более опасных заблуждений. Это совершенно исключительная женщина, господа. Она много страдала и заслуживает милосердия. Кстати говоря, она подсказала мне отличное название для операции, назвав вас пауками. Весьма точная м-метафора. Вы и есть пауки, причем четверо из вас относятся к биологическому виду пауков обыкновенных, а вот пятый — самый настоящий тарантул. Итак, добро пожаловать на операцию «Пауки в банке». Если учесть, что мы находимся в хранилище серебряных слитков, то получается к-каламбур.

Тут инженер сделал паузу, как бы приглашая остальных оценить шутку.

— Пятый? — заморгал Солнцев, взглянув на Упыря, Князя и Очка. — Где вы видите пятого?

— У вас за с-спиной.

Пристав испуганно повернулся и уставился на Будочника, глядевшего на начальство с высоты своего саженного роста.

— Городовой Будников и есть главный из моих сегодняшних гостей, — сказал Эраст Петрович. — Редкий по размерам паучище.

Будочник гаркнул так, что с потолка посыпалась пыль:

— Вы что, ваше высокородие, белены объелись?! Да я...

— Нет, Будников, — резко оборвал его инженер — вроде не так уж и громко, но городской смолк. — Это вы объелись б-белены, съехали с ума на старости лет. Однако про причину вашего умопомешательства мы еще поговорим. Сначала давайте по существу. Вы были главным подозреваемым с самого начала, невзирая на всю вашу осторожность. Сейчас объясню, почему. Изуверские убийства на Хитровке начались месяца два назад. Убили и ограбили подвыпившего гуляку, потом репортера, собравшегося написать статью о трущобах. Обычное для Хитровки дело — если б не одна деталь: выколо-тые глаза. Потом убийца точно так же выколол глаза всем

членам семьи Синюхиных. Здесь примечательны два обстоятельства. Первое: невозможно представить, чтобы подобные из ряда вон выходящие преступления свершались на вашем участке, а вы не дознались бы, кто это творит. Это вы-то, истинный хозяин Хитровки! Приставы приходят и уходят, сменяются вожаки фартового мира, но Будочник вечен. У него везде глаза и уши, он всюду вхож, ему ведомы секреты и полиции, и «Общества». Происходили всё новые убийства, вот уже весь город о них заговорил, а вездесущий Будочник знать ничего не знает, ведать не ведает. Из этого я предположил, что вы связаны с таинственным Кладонскателем, а стало быть, являетесь его соучастником. Мои подозрения укрепились, когда во всех последующих убийствах жертвам перестали вырезать глаза. Помнится, это я вам сказал, что теория о запечатлении предсмертных зрительных образов на сетчатке трупа не нашла научного подтверждения... И всё же уверенности, что вы не просто соучастник, а убийца, у меня не было. Вплоть до вчерашней ночи, когда в подвале Ерошенковской ночлежки вы умертвили подростка, одного из ваших осведомителей. Именно тогда я окончательно исключил из числа подозреваемых всех прочих п-пауков и сосредоточился на вас...

— Чем же это, интересно будет узнать, я себя выдал? — спросил Будочник, рассматривая инженера с любопытством. Страха или хоть бы даже тревоги на лице городского Сенька не углядел.

Тут пришлось снова головой вертеть — на пристава.

— Ты что, Будников, сознаешься?! — в ужасе вскричал полковник и отшатнулся от подчиненного. — Но он еще ничего толком не доказал!

— Докажет, — благодушно махнул рукой Будочник, по-прежнему глядя только на господина Неймlesa. — У них не отвертишься. А ты помолчи, ваше высокоблагородие, твой номер теперь последний.

Солнцев только рот разинул, а вымолвить ничего не смог. Это по-книжному называется «утратил дар речи».

— Хотите знать, чем себе выдали? — переспросил Эраст Петрович, усмехнувшийся словам городского. —

Да очень просто. Вывинтить человеку шею на сто восемьдесят градусов, да в один момент, чтоб пикнуть не успел, можно лишь одним способом: взять рукой за темя и резко повернуть, сломав позвонки и разорвав мышцы. Тут потребна поистине феноменальная сила, которой из всех подозреваемых обладаете только вы, Будников. Ни у Князя, ни у Очка, ни у господина полковника на это силенок не хватило бы. Людей, способных на этакый к-кунштюк, на свете единицы. Вот и вся премудрость. Дело о хитровских убийствах вообще не из замысловатых. Если б я не был одновременно занят еще одним расследованием, то добрался бы до вас много раньше...

— На всякую старуху бывает проруха, — развел руками Будочник. — Уж, казалось, так сторожился, а про это не скумекал. Надо было Прощке башку проломить.

— Пожалуй, — согласился господин Неймлес. — Только от участия в операции «Пауки в банке» это вас не спасло бы. А значит, исход был бы такой же.

Какой-такой «исход», пытался сообразить Сенька, выглядывая поверх Смертьиноного плеча. Чего будет, когда разговоры закончатся? Вон фартовые потихоньку уж руки опустили, и у пристава губы трясутся. Зачнет шмалить из револьверов — вот и будет исход.

А инженер с городовым беседовали себе дальше, будто в чайной за самоваром.

— Я всё могу понять, — сказал Эраст Петрович. — Вы не желали оставлять никаких свидетелей, даже трехлетнего ребенка не пожалели. Но чем вам попугай с собакой не угодили? Это уж не осторожность, а какое-то безумие.

— Не скажите, ваше высокородие. — Будочник погладил вислые усы. — Птица-то была ученая. Я как вошел, армяшка мне говорит: «Здравствуйте, господин городской». И попугай тут же: «Здрррравствуйте, господин горррродовой!». Ну как при следователе повторил бы? А кутенок, что у мамзельки жил, шибко нюхастый был. Я в «Полицейских ведомостях» читал, как собака вот этак на убийцу своей хозяйки накинулась и тем навлекла на него подозрение. В газетах много чего полезного вычи-

тать можно. Только самого главного не вычитаешь, — сокрушенно вздохнул он. — Что можно на шестом десятке сызнова замолодеть...

— Это вы про седину в бороду и б-беса в ребро? — понимающе кивнул Эраст Петрович. — Да, в газетах про это мало пишут. Надо было вам, Будничков, стихи читать или в оперу ходить: «Любви все возрасты покорны» и прочее. Я слышал, как вы мадемуазель Смерти толковали про «крепкого человека при огромном богатстве». Себя имели в виду? За двадцать лет хитровского царствования вы, должно быть, немало накопили, на старость хватило бы. На старость — да, а вот на Царевну Лебедь — вряд ли. Во всяком случае, вы рассуждали именно так. И от невозможности впали в исступление, возжаждали «огромного богатства». Начали из-за денег убивать, чего раньше себе не позволяли, а когда прослышали о подземном кладе, вовсе ума лишились...

— Так ведь, ваше высокородие, любовь, — вздохнул Будочник. — Она не спрашивает. Кого ангелом сделает, а кого чертом. Да по мне хоть самим Сатаной, только бы моя она была...

— Мерзавец! — взорвался пристав. — Наглая скотина! Еще про любовь рассуждает! За моей спиной — такое! На каторгу пойдешь!

Будочник строго сказал:

— Молчи, сморчок. Нешто не понял еще, к чему их высокородие клонит?

Полковник задохнулся:

— Смор...?! — И не договорил, сбился. — Клонит? В каком смысле «клонит»?

— Эраст Петрович тоже в Смерть втрескались, по самые бровки, — объяснил ему Будочник, словно несмышленишу. — И порешили, что отсюда, из ямы этой, живым только один человек выйдет — оне сами. Правильно решили их высокородие, потому умный человек. Я с ними согласный. Пятеро тут мертвыми лягут, а наружу выйдет только один, с большущим богатством. Ему и Смерть достанется. Только кто это будет, еще поглядеть надо.

Сенька слушал и думал: а ведь прав он, гад, прав! Затем господин Неймлес всех этих монстров здесь и собрал,

чтоб избавить от них матушку-Землю. А также некую особу, которой слушать всё это было бы ни к чему — вон как у ней грудь-то завздымалась.

Тронул Смерть за плечо: идем, мол, от греха.

Тут и пошло-поехало, только поспевай охать.

На словах «поглядеть надо» Будочник ударил пристава кулаками по обоим запястьям, и револьверы попадали на каменный пол.

В тот же самый миг Очко выдернул из рукава нож, Упырь и Князь выхватили револьверы, а городской, нагнувшись, подобрал один из тех, что выронил Солнцев, и навел дуло на Эраста Петровича.

КАК СЕНЬКА ВЕРТЕЛ ГОЛОВОЙ

(продолжение)

Сенька зажмурился и заткнул уши, чтоб не оглохнуть от неминуемого грохота. Подождал секундочек пять, но пальбы не было. Тогда открыл один глаз.

Увидел картинку — прямо как в сказке про околдованное царство, где все жители вдруг взяли и уснули, позастыли кто где был.

Князь целил из револьвера в Очка, угрожающе занесшего руку с метательным ножом; пристав успел подобрать один из своих «кольтов» и метил в Упыря; тот, в свою очередь, в пристава; Будочник держал на мушке господина Неймлеса, и лишь сей последний был невооружен — стоял, безмятежно сложив руки на груди. Никто не шевелился, отчего всё собрание кроме заколдованного царства еще здорово походило на фотокарточку.

— Как же это вы, ваше высокородие, на такую сурьезную randevу без пистолета отправились? — покачал головой Будочник, как бы сочувствуя инженеру. — Очень уж горды. А сказано в писании: «Будут постыжены гордые». Что делать-то будете?

— Горд, но не глуп, и вам, Будников, это должно быть известно. Если пришел без оружия, значит, на то имеется причина. — Эраст Петрович повысил голос. — Господа, перестаньте страшать друг друга! Операция «Пауки в банке» идет по плану и вступает в завершающую стадию. Но сначала одно необходимое объяснение. Понимаете ли вы, что являетесь членом некоего клуба? Клуба, который следовало бы назвать «Любовники Смерти». Вас не поражало, почему прекраснейшая, удивительнейшая из женщин проявила благосклонность к вашим, деликатно выражаясь, сомнительным д-достоинствам?

При этих словах и Князь, и Упырь, и Очко, и даже полковник повернулись к говорившему, а Смерть вздрогнула.

Господин Неймлес удовлетворенно кивнул:

— Вижу, что поражало. Вы были совершенно правы, Будников, заявив, что, если вам, одному из всех, удастся выйти отсюда живым, Смерть достанется вам. Так, вне всякого сомнения, и произойдет. Она сама позовет вас в свои объятия, потому что признает в вас настоящего злодея. Ведь вы, господа, каждый на свой манер, истинные чудовища. Не сочтите этот термин за оскорбление, это просто констатация факта. Бедная барышня, которую вы так хорошо знаете, после всех постигших ее несчастий вообразила, будто ее ласки и в самом деле смертельны для мужчин. Потому она гонит от себя всех, кто, по ее мнению, не заслуживает смерти, и привечает лишь худших подонков, которые отравляют своим смрадным дыханием воздух Божьего мира. Мадемуазель Смерть вознамерилась посредством своего тела уменьшить количество зла на земле. Трагичная и бессмысленная з-затея. Со всем злом ей не справиться, а ради нескольких пауков не стоило и мараться. Я охотно окажу ей эту маленькую услугу. Верней, вы сожрете друг друга сами.

В этот момент Смерть что-то прошептала. Сенька наострил уши, но всех слов так и не разобрал. Только одно: «раньше». Что раньше-то?

Вот почему она Эраста Петровича взащей прогнала! Испугалась, что он через ее любовь жизни лишится.

И меня тоже, между прочим, не за сопливость выперла, а из милосердия, сказал себе Скорик и приосанился.

Ловко придумал господин Неймлес, ничего не скажешь — всех их, гадов, разом извести. Только как же это он без оружия с ними управится?

Будто подслушав Сенькин вопрос, инженер сказал:

— Господа пауки, да уберите вы свои б-бомбарды. Я пришел сюда без огнестрельного оружия, потому что стрелять в этом подземелье всё равно нельзя. У меня было время внимательно осмотреть своды, они совсем ветхие и держатся на честном слове. Достаточно не то что выстрела — громкого крика, чтобы на нас осела вся Т-Троица.

— Какая еще Троица? — нервно спросил Солнцев.

— Не та, которая Отец, Сын и Святой Дух, — улыбнулся Эраст Петрович, — а церковь Троицы что в Серебряниках. Мы находимся как раз под ее фундаментом, я проверил по историческому плану Москвы. Когда-то здесь находились постройки государева Денежного двора.

— Брешет, — качнул головой Упырь. — Не может Троица просесть, она каменная.

Вместо ответа инженер громко хлопнул в ладоши — куча земли и щебня, которой была завалена дверь, дрогнула, и с ее верхушки посыпались камни.

— А! — подавился криком Скорик и сам себе зажал ладонью рот.

Но остальные его не услышали — не до того было. Кто испуганно заозирался, кто втянул голову в плечи, а пристав, тот даже прикрыл руками голову.

Смерть оглянулась на Сеньку, впервые за всё время. Легонько толкнула пальцами в лоб и шепнула:

— Не бойся, всё устроится.

Он хотел ответить: никто и не боится, но не успел — она снова отвернулась.

Эраст Петрович подождал, пока пауки перестанут дергаться, и сказал громко, внушительно:

— Прежде чем определится, кто из нас выйдет отсюда живым, предлагаю высыпать пули на пол. Один случайный выстрел, и победителей не будет.

— Дельное предложение, — откликнулся первым Будочник.

Его поддержал Очко:

— Согласен. Пуля, как известно, дура.

Еще бы! Этим двоим револьвер без надобности, а у Очка его, поди, и вовсе не было.

Яростно сощутив глаза, Князь процедил:

— Я и зубами глотку выгрызу. — И, откинув барабан, высыпал пули.

Упырь пожался немного, но с верхушки оползня скатилось еще несколько камешков, и он решил — последовал примеру своего лютейшего врага.

Приставу расставаться с «кольтом» очень не хотелось. Он затравленно оглянулся на выход — видно, подумал, не дать ли деру, но там стоял Эраст Петрович.

— А ну, ваше собакородие... — Будочник приставил начальнику револьвер прямо ко лбу. — Делай, чего велено!

Полковник попробовал открыть барабан, но у него тряслись руки. Тогда он просто откинул револьвер в сторону — тот лязгнул об пол, малость покрутился и застыл.

Последним избавился от пуль Будочник.

— Так-то лучше, — крикнул он, засучивая рукава. — От пукалок этих одна морока. Нут-ко, померяемся, кто кого. Только тихо! Кто орать будет — тому первому смерть.

Князь вытянул из кармана кастет. Очко отошел к стене, тряхнул кистью — у него между пальцами блестящей рыбкой замельтешил клинок. Упырь нагнулся, взял из груды серебряный прут, пару раз махнул, со свистом рассекая воздух. Даже пристав оказался не прост. Отбежал в угол, щелкнул чем-то, и из кулака у него выпрыгнула узкая полоска стали — тот самый ножик, которым он в участке яблоко резал.

Инженер же просто двинулся вперед, пружинисто ступая на чуть согнутых ногах. Ай да Эраст Петрович, голова-палата, ловко всё обернул. Ну он им покажет, предвкусшающе потер ладони Сенька. Как пойдет руками-ногами молотить, по всей японской науке!

Скорик тронул Смерть за плечо: гляди, мол, чего сейчас будет. А она говорит:

— Ах, как хорошо всё выходит, будто по молитве. Пустика, Сенечка.

Повернувшись, быстро поцеловала его в висок и выбежала на середину каморы.

— А вот и я, ваша Смерть! Легка на помине.

Нагнувшись, подцепила с пола брошенный приставом револьвер, взялась за него обеими руками, щелкнула курком.

— Спасибо вам, Эраст Петрович, — сказала она остолбеневшему инженеру. — Вы очень хорошо придумали. Идите себе, вы здесь больше не нужны. Уводите Сеню,

да поживей. А вы, любовнички мои ненаглядные, — обернулась она к остальным, — тут, со мной, останетесь.

Князь, зарывав, кинулся было к ней, но Смерть подняла дуло к потолку.

— Стой, выстрелю! Думаешь, побоюсь?

Уж на что Князь храбрец, н то попятился — вот как убедительно она крикнула.

— Не нужно этого! — опомнился господин Неймлес. — Прошу вас, уходите! Вы только всё испортите.

Она мотнула головой, сверкнула глазами.

— Ну уж нет! Как же я уйду, если мне такая милость от Господа? Всегда боялась — буду неживая в гробу лежать, а все смотреть станут. Теперь никто меня мертвую не увидит, и хоронить не надо. Земля-матушка прикроет.

Сенька увидел, как Будочник, мелко переступая, боком-боком двинулся к Упырю и Князю, зашептал им что-то. А Эраст Петрович на них не смотрел, только на Смерть.

— Вам незачем умирать! — крикнул он. — Что вы вбили себе в...

— Давай! — выдохнул Будочник, и все трое — он, Князь и Упырь — кинулись на инженера.

Городовой налетел на него всей своей тушей, прижал к стене, ухватил за запястья и растянул Эрасту Петровичу руки крестом.

— Ноги! — прохрипел Будочник. — Он лягаться мастер!

Князь и Упырь присели на корточки, схватили господина Неймлеса за ноги. Он задергался, будто рыба на крючке, а вырваться не может.

— Пустите его! — вскрикнула Смерть и наставила револьвер, но стрелять не стала.

— Эй, очкастый, отбери у ней оружие! — приказал городовой.

Очко двинулся прямо на Смерть, вкрадчиво приговаривая:

— Верни, жестокая, молю, молодой любви залог священный.

Она повернулась к валету.

— Не подходи. Убью!

Но тонкие руки, сжимавшие револьвер, дрожали.

— Стреляйте в него! Не бойтесь! — отчаянно крикнул Эраст Петрович, пытаясь вырваться.

Но могучие лапищи Будочника держали его крепко, да и скорченные Упырь с Князем, хоть и злобно шерились друг на друга, но пленника не выпускали.

— Чертов болван, стойте! — взвыл пристав. — Она выстрелит! Вы всех нас погубите!

Тонкие губы валета расплзлись в улыбке:

— Сами вы болван. Мадемуазель не выстрелит, пожалуйет красавца-брюнета. Это, пес легавый, называется любовь.

Внезапно он сделал два быстрых, широких шага, вырвал у Смерти «кольт» и отбросил его подальше — к самому выходу, после чего спокойно сказал:

— А теперь кончайте умника, можно.

— Чем, зубами, что ли? — просипел побагровевший от натуги Будочник. — Здоровый черт, еле держим.

— Что ж, — вздохнул Очко, — долг интеллигенции — помогать народу. Ну-ка, служитель правопорядка, чуть в сторонку.

Городовой отодвинулся насколько мог, а валет не спеша поднял нож, готовясь к броску. Сейчас сверкнет стальная молния, и не будет больше Эраста Петровича Нейм-леса, американского инженера.

«Кольт» валялся на полу в двух шагах от горловины и посверкивал вороненой сталью, будто подмигивал Сеньке: что, Скорик, слабо?

А, была не была, двум смертям не бывать, одной не миновать!

Он кинулся к револьверу, схватил его и как заорет:

— Стой, Очко! Жизни лишу!

Тот обернулся, редкие брови удивленно поползли вверх.

— Ба, явление седьмое. Те же и Скорик. Зачем ты вернулся, дурашка?

— Эй, малый! — зачастил жавшийся к стене пристав. — Не вздумай! Ты не знаешь — тут стрелять нельзя, обвал будет. Завалит вчистую!

— Обвал!!! — вдруг пронзительно крикнул Эраст Петрович.

В то же мгновение раздался грохот, куча земли и щебня, загораживавшая дверной проем, шевельнулась и обрушилась. Под истошный вопль приставы из завала выпросталась плотная, коренастая фигура в черном. Упругим шаром она выкатилась на середину сокровищницы и с воинственным клекотом кинулась на валета.

Маса!

Вот уж чудо так чудо!

Эраст Петрович немедленно воспользовался замешательством врагов: Князь отлетел в одну сторону, Упырь в другую. Из лап Будочника инженеру, правда, вырваться не удалось, и после короткой борьбы оба рухнули наземь, причем городской очутился сверху и пригвоздил господина Неймlesa к земле, по-прежнему крепко держа его за запястья. Однако теперь Упырь и Князь помогать Будочнику не стали — ненависть друг к другу оказалась сильнее. Сцепившись, фартовые покатались по земле.

Очко швырнул нож в японца, но тот успел присесть. Так же легко Маса увернулся от второго и третьего ножа. Однако опустошив свой манжетный арсенал, валет не уgomонился — откинул полу длинного сюртука, и Сенька разглядел прикрепленную к брючному ремню деревянную тросточку.

Что у Очка в трости, Скорик помнил — длиннющая заточка под названием «шпага». Не забыл он и про то, как лихо управляется валет с этой страшной штуковиной.

Заложив левую руку за спину и выставив вперед ногу, Очко засеменял вперед, высвистывая клинком сверкающие круги. Маса попятился. Еще бы, с голыми-то руками!

— Стрельну! Сейчас стрельну! — закричал Сенька, но никто на него даже не оглянулся.

Он стоял, как дурак, с заряженным револьвером, а все на него плевали с отхарком, каждый был занят своим делом: Будочник сидел на инженере и всё норовил припечатать его в лицо своим чугунным лбом; Князь с Упырем рычали и взвизгивали, будто два осатаневших кобеля; Очко загонял в угол Масау; Смерть пыталась стащить

городового с Эраста Петровича (только куда ей против такого бугая); полковник очумело озирался по сторонам, выставив вперед свой нож-попрыгунчик.

— Что встал, собаководие?! — прохрипел Будочник. — Вишь, одному мне не сладить! Режь его! Промеж собой после разберемся!

Подлый пристав — еще слуга закона называется! — послушался, кинулся резать лежащего. Оттолкнул Смерть, замахнулся, но она вцепилась ему в руку.

— Да смотрите же на меня, гады! — плачущим голосом закричал Сенька, потрясая «кольтом». — Щас как пальну — всех к бесовой теще завалит!

Солнцев перехватил нож левой рукой, не глядя ткнул Смерть острием в бок — та осела на пол. Лицо у ней сделалось удивленное, точеные брови поднялись кверху, будто от некой радости. Она осторожно прикрыла руками раненое место, и Сенька с ужасом увидел, как меж ее белых пальцев заструилась кровь.

— Подвинься, черт! — выдохнул пристав, опускаясь на колени. — Сейчас я ему в шею!

И стало Скорикау всё равно. Пускай святая Троица всех тут подавит, раз такие дела. Он выставил вперед револьвер и не целясь нажал на крючок.

Оглох сразу, даже выстрела толком не слышал — просто заложило уши, и всё. Из ствола скакнул язык пламени, голова полковника отчаянно мотнулась в сторону, словно указывая некое направление, и тело тут же последовало указанию — именно в ту сторону и повалилось.

Дальше всё закончилось очень быстро, в гулкой и страшной тишине.

Потолок-то ничего, не обрушился, только пыль немножко осыпалась. Зато Эрасту Петровичу удалось выдернуть у оглянувшегося на грохот Будочника левую руку. Этой рукой инженер распорядился следующим образом: сжал в кулак и коротко ударил городского пониже подбородка. Будочник только всхрипнул, да и бряк набок, чисто бык на бойне.

Сенька повернулся в другую сторону — застрелить уж заодно и Очка, пока своей тыкалкой Масу не пропорол.

Но обошлось без Скорикова участия. Загнав сенсея в самый угол, валет, как разжатая пружина, выбросил вперед руку со шпагой и по всему должен был бы пришпилить японца к стенке, но клинок со звоном ударился о камень — Маса скакнул влево и плеснул рукой. Из руки вылетело что-то маленькое, блестящее. Очко вдруг закачался, будто ватная кукла. Вяло потянулся к горлу, но не достал — руки у него обвисли, колени подогнулись, и валет рухнул навзничь. Голова запрокинулась, стало видно, что в горло глубоко впилась стальная звездочка с острыми краями. Вокруг диковинной штуки пузырилась темная кровь, а сам Очко лежал тихо, только немножко дергал ногами.

И Князь с Упырем тоже больше не брыкались, по полу не катались. Сенька пригляделся, увидел, что затылок у Упыря пробитый, весь в темных вмятинах от кастета. Располагался пробитый затылок аккуратно там, где полагалось быть Князевой глотке. Выпученные глаза бывшего Сенькиного ненавистника неподвижно пялились в потолок. Вот те на: сколько раз грозился, что глотку порвет, а самому ее и перегрызли. Напился-таки Упырь Князевой крови. Пожрали пауки друг дружку...

Про всё про это Сенька думал, чтоб не думать про Смерть. Даже смотреть в ее сторону не хотел.

Когда же все-таки воровато оглянулся, она сидела, прислонясь к стене. Глаза закрыты, лицо застывшее, белое. Скорик быстрее опять отвернулся.

Понемногу звенящая тишина отступала. Стало слышно, как икает Будочник, как кричит Маса, выдергивая из валетова горла свою чудо-звездочку.

— Не обвалился потолок-то, — сказал Сенька инженеру дрожащим голосом.

— С чего бы ему обваливаться? — просипел Эраст Петрович, вылезая из-под тяжелой туши городского. — Тут такая кладка, т-тысячу лет простоит. Уф, в нем, пожалуй, пудов восемь... Что стоишь, Сеня? Помоги даме подняться.

Не видал, значит, господин Неймлес, как пристав ее ножом-то.

— А этот не очухается? — спросил Скорик про икающего Будочника — не из опасения, а чтоб время потянуть. Можно было пока перед самим собой прикинуться, что Смерть у стенки просто так сидит: не мертвая, а спит иля, к примеру сказать, в обмороке.

— Не очухается. Это был удар «к-коготь дракона», он смертелен.

Вот Эраст Петрович встал, двинулся к сидящей деве, протянул ей руку.

Сенька всхлипнул, приготовился. Сейчас инженер вскрикнет.

А Смерть оказалась никакая не мертвая. Вдруг взяла, открыла огромные, сияющие глаза, посмотрела снизу вверх на Эраста Петровича и улыбнулась.

— Что... Что с вами? — испуганно спросил он.

Опустился на корточки, отвел ее пальцы и — правильно Сенька угадал — вскрикнул.

— Зачем вы, зачем? — забормотал господин Неймлес, разрывая на ней платье и нижнюю рубашку. — У меня все было рассчитано! Маса заранее разобрал завал, сидел в засаде и только ждал сигнала! О Господи... — застонал он, увидев черный разрез пониже левой груди.

— Я знаю, ты и без меня бы справился, — прошептала Смерть. — Ты сильный...

— Тогда зачем, з-зачем? — прерывающимся голосом спросил он.

— Чтобы ты жил. Нельзя тебе со мной... Теперь ты вечный, ничем тебя не возьмешь. Я, твоя Смерть, умерла...

И закрыла глаза.

Эраст Петрович снова вскрикнул, еще громче, чем в прошлый раз, а Сенька заревел.

Но она не умерла. Все-таки недаром ее перед тем как Смертью наречь, звали Живой, спроста такие клички не дают.

Она еще долго потом жила. Может, целый час. Дышала, даже раз легонько улыбнулась, но говорить не говорила и глаз не открывала. А потом дышать перестала.

Красивая какая, думал Сенька. А в гробу, если с лица грязь-пыль смыть да волосы расчесать, да цветами уло-

жить (тут нужен флердоранж, который означает «чистота», и еще веточки тиса, «вечная любовь») — вообще заглядение будет. Заберут ее отец-мать, потому что ихнее право, и закопают ее в сыру землю, и поставят сверху белокаменный крест, и вырежут на нем как ее там раньше звали, а пониже припишут: «Здесь похоронена Смерть».

КАК СЕНЬКА ЧИТАЛ ГАЗЕТУ

Как взяли старт, так и гнали по шоссе четырнадцать часов без передышки, не сговаривались. Почти триста верст промчали, только два раза топливо из бидона в бак подлили. За весь путь между шофэром и ассистентом не было сказано ни слова. Сенька делал, чего полагалось: дудел в клаксон, махал флажком, на крутых поворотах свешивался через дверцу, смотрел, не разболтались ли колеса. Еще ассистенту полагалось следить по карте за маршрутом, но это у Скорика получалось плохо. Только наклонит голову, и сразу нос течет, из глаз соленая вода капает, в горле ком. Карты от слез не видать, одни цветные пятна. А если вдаль глядеть, чтоб ветер раздувал волосы, тогда ничего, глаза и щеки высыхали быстро.

Плакал ли господин Неймлес, было непонятно, потому что у инженера под очками-консервами лицо почти не просматривалось. Губы у него все время были крепко сжатые, но уголок рта вроде бы подрагивал.

А сразу за Вязьмой на переднем колесе треснула цельнолитая шина. Делать нечего — пришлось толкать трипед обратно до города, ведь не поедешь на двух колесах, чай не велосипед.

Запасные шины, как и все прочие запасные детали, ехали в конном экипаже, вместе с Масой и его спутницей. Карета давным-давно отстала от «Ковра-самолета». Хорошо если завтра к вечеру в Вязьму прикатит. Посему, хочешь не хочешь, пришлось устроить ночевку с дневкой. Это тоже решилось само собой, опять-таки без слов. Ужинать спортсмены не захотели, разошлись по комнатам спать.

Утром Сенька вышел из гостиницы, шуганул местных пацанов, чтоб не терлись возле аппарата, на ихние дурацкие вопросы отвечать не стал, не то было настроение. Пошел на станцию за московской газетой.

Ну-ка, пропечатали иль нет? Он сразу развернул «Ведомости» на пятой странице, где про театры и спорт. Пропечатали, куда им деваться.

Старт состоялся

Невзирая на дождь и ветер, вчера в полдень на Триумфальной площади собрались поклонники автомобилизма, сей новоявленной религии, пока еще экзотической для наших просторов. Состоялся старт мотокросса Москва-Париж, о котором мы уже писали и ход которого намерены освещать посредством телеграфических сообщений. Публика проводила шофера г-на Неймlesa и его юного ассистента энтузиастическими аплодисментами. Спортсмены выглядели взволнованными и сосредоточенными, от общения с представителями прессы уклонились. Мы не станем желать им семи футов под килем (глубоких ухабов на российских просторах и без того довольно), а лучше, как это принято у автомобилистов, пожелаем крепких шин и надежной искры.

Заметку Сенька прочел раз десять, а про юного ассистента даже вслух, с выражением.

Аккуратно свернул «Ведомости» и вдруг заметил на первой странице крупный заголовок.

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Кровавая драма на Хитровке

Сообщаем некоторые подробности вчерашнего события, о котором ходит столько слухов и домыслов.

В ночь на 23 сентября в печально знаменитых хитровских трущобах произошла настоящая баталия между силами закона и бандитами. Полиция положила конец преступной «карьере» главарей двух опаснейших московских шпек — Князя и Упыря, предпочевших аресту смерть. Убит также беглый каторжник из бывших студентов Кузьминский, давно находившийся во всероссийском розыске.

Увы, не обошлось без потерь и среди охранников порядка. Защищая москвичей, пали геройской смертью пристав Третьего Мясницкого участка полковник Солнцев и стар-

пий городской Будников. Первый был молод и подавал большие надежды, второму оставалось всего два года до заслуженной пенсии. Вечная память героям.

Адъютант обер-полицеймейстера отказался сообщить прессе какие-либо дополнительные сведения, присовокупив лишь, что в перестрелке была убита еще и некая особа женского пола, любовница (или, выражаясь, по-уголовному, «маруха») Князя.

Однако нашему корреспонденту удалось выяснить одно интересное обстоятельство, самым прямым образом связанное с хитровской трагедией.

Читайте на странице 3 в разделе «Провсшествию» статью «Благородный поступок»!

Вот гады, вот псы поганные, возмутился Скорик. Так всё перекрутить, так перевернуть! А про Эраста Петровича и Масу ни слова, хотя господин Неймлес оставил в участке пакет на имя главного полицейского начальника и всё как есть там описал.

Нашли героев! Письмо нужно написать в редакцию, вот что. Пускай люди знают правду. У, газетчики, брехуны проклятые. Печатают невесть что и даже не проверят!

Еще не остыв, Сенька открыл третью страницу.

Что за поступок такой?

Ага, вот.

Благородный поступок

По сведениям, полученным редакцией из конфиденциального источника, бой между полицией и разбойниками (см. статью «За други своя», 1 стр.) стал следствием засады, которую полицианты Третьего Мясницкого участка устроили в некоем подземном тайнике, где хранились огромные ценности старинного происхождения.

Позавчера к мировому судье Теплостанского участка Московской губернии поступило письмо, написанное по поручению несовершеннолетнего С.Скорикова, который отыскал в недрах Хитровки клад баснословной ценности.

Вместо того чтобы присвоить сокровище, как, вероятно, поступили бы большинство москвичей, благородный юноша решил вверить находку попечительству городских властей. Местонахождение сокровища сделалось известно бандитам, о чем, в свою очередь, через секретных осведомителей узнала полиция, разработавшая план той самой смелой операции, о которой сегодня говорит весь город.

Мы же от имени жителей Первопрестольной поздравляем образцового гражданина Скорикова с причитающимся по закону вознаграждением. Себя же поздравим с тем, что подрастает чудесное поколение, которому можно без опаски доверить судьбу новорожденного двадцатого века.

Б.Акунин
ЛЮБОВНИК СМЕРТИ

Директор издательства
Ирина Евгеньевна Богат

Редактор
Игорь Захаров

Художник
Константин Победин

Макет обложки
Сергей Зонн

Верстка
Кирилл Лачугин

ISBN 5-8159-0154-7



9 785815 901544

Издатель Захаров
Лицензия ЛР №065779 от 1 апреля 1998 г.
121069, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими воротами,
отдельный вход в арке)

Телефон: 291-12-17
E-mail: zakharov@dataforce.net

Подписано в печать 29.05.2001. Формат 84 × 108/32. Гарнитура Таймс.
Печать высокая. Объем 9,5 п. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № 154. Заказ № 1201.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском
предприятии «Первая Образцовая типография»
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
113054, Москва, Валуевская, 28

ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ КНИГИ «ЗАХАРОВА»!

*Познакомьтесь с полным списком изданного
за три с небольшим года*

БИОГРАФИИ И МЕМУАРЫ **Большая серия**

ВАСИЛИЙ КАТАНЯН

«Прикосновение к идолам». Мемуары

ПУГАЧЕВА

«Алка, Аллочка, Алла Борисовна»

Неавторизованная биография. Автор А.Беляков

НАПОЛЕОН

Биография. Автор Э.Людвиг

ЕЛИЗАВЕТА II

Биография. Автор С.Бэдфорд. Перевод Г.Чхартисвили

ФАИНА РАНЕВСКАЯ

Биография. Автор А.Щеглов

Князь ФЕЛИКС ЮСУПОВ

Воспоминания. Два тома в одной книге

РОМАНОВЫ

«Императорский дом в изгнании». Семейная хроника. Автор В.Думин

Леди РЭНДОЛЬФ ЧЕРЧИЛЛЬ

Биография. Автор Р.Мартин

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

Биография. Авторы П.Картер и Р.Хайфилл

МАША АРБАТОВА

«Мне много лет». Жизнеописание

ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА ГИНЗБУРГ

Записные книжки. Новое собрание

Академик ЛАНДАУ

«Как мы жили». Воспоминания жены Коря

БИСМАРК

Биография. Автор Э.Людвиг

ВИКТОР ТОПОРОВ

«Двойное дно». Признания скандалиста

Великий князь АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Воспоминания. Два тома в одной книге

ПИТЕР УСТИНОВ

«О себе любимом». Мемуары

«АНДРЕЙ МИРОНОВ И Я»

Любовная драма жизни. Автор Т.Егорова

АЛЕКСАНДР ЖУРБИН

Американские воспоминания

СОМЕРСЕТ МОЭМ

«Записные книжки писателя»

МАРИЯ БАШКИРЦЕВА

«Дневник»

ЕВГЕНИЙ РУБИН

«Пан или пропал». Жизнеописание

РАСПУТИН

Воспоминания дочери Матрены

СТАЛИН

«Автобиография». Роман Ричарда Лури

СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА

«Двадцать писем к другу». Воспоминания дочери Сталина

АЛЕКСАНДР БОВИН

«Пять лет среди евреев и мидовцев». Из дневника. Сокращенный вариант
«Записки ненастоящего посла». Из дневника. Полный текст

МИХАИЛ ГЕРШЕНЗОН

Воспоминания дочери Наталии Гершензон-Чстодаевой

Императрица АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА

Биография. Автор Г.Кинг

ИОСИФ БРОДСКИЙ

«Большая книга интервью»

РОМАНОВЫ

«Биография династии. 1613—1999». Автор С.Скотт

АННА ТЮТЧЕВА

«При дворе двух императоров». Воспоминания

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

«Старая записная книжка» в редакции Л.Я.Гинзбург

ФИЛИПП ВИГЕЛЬ

«Записки». Полный текст двухтомного издания 1928 года

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ и ИГОРЬ ЕФИМОВ

«Эпистолярный роман»

ПУШКИН

«Частная жизнь». Автор А.Александров

ЕВГЕНИЙ БОГАТ

«Что движет солнце и светила». Любовь в письмах

БРАТЯ КРИВЦОВЫ

Биография. Автор М.Гершензон

ЮРИЙ АННЕНКОВ

«Дневник моих встреч»

НАПОЛЕОН. Годы величия
Воспоминания секретаря Менсваля и камердинера Констана

Великий князь ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
«В Мраморном дворце». Воспоминания

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЧУДАКИ И ОРИГИНАЛЫ
Сочинение Михаила Пыляева. Два тома в одной книге

ВЛАДИМИР ГОЛЯХОВСКИЙ
«Русский доктор в Америке». Жизнеописание

ПАСТЕРНАК
Мемуарная книга З.Маслениковой «Разговоры с Пастернаком»

Отец АЛЕКСАНДР МЕНЬ
Биография. Автор З.Масленикова

САМУИЛ АЛЕШИН
«Встречи на грешной земле». Воспоминания

СПУТНИКИ ПУШКИНА
Автор В.В.Вересаев. Два тома в одной книге

ЗИНАИДА ГИППИУС
Полный текст книг: «Дмитрий Мережковский» и «Живые лица»

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
«Петербургские зимы» и другие воспоминания

ВЛАДИМИР МЕЩЕРСКИЙ
«Воспоминания». Три тома в одной книге

Великая княгиня ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА
Биография. Автор В.Масрова

ПЕРЕВОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Сомерсет Моэм

Полное собрание рассказов в пяти томах

Гор Видал

Американская сага: «1876» и «Империя»

Джон Апдайк

Тетралогия о Гарри Энгстроме по кличке Кролик
«Кролик беги». «Кролик возвращается». «Кролик разбогател».
«Кролик успокоился»

Эрик Сигал

Три романа о любви

«История любви». «История Оливера».

«Мужчина, женщина и ребенок»

Кэтлин Уинзор

«Твоя навеки Эмбер». Исторический любовный роман в двух томах

Мари Дарьесек

«Хрюизмы». Современный французский роман

Рояльд Даль

Собрание произведений гроссмейстера английского черного юмора

«Ночная гостья». «Хозяйка пансиона». «Баранья нога».

«Мой дядюшка Освальд» и другие книги для взрослых,
а также

«Чарли и шоколадная фабрика»

Детская повесть в переводе С.Кладо (Обломова)

«Чарли и стеклянный лифт»

Детская повесть в пересказе С.Кладо (Обломова)

«Матильда». Роман для детей и их родителей

Чарльз Диккенс

«Тайна Эдвина Друда»

Под редакцией и с приложениями М.Чегодаевой

Марк Левин

«А если это правда»

Бестселлер 2000 года, права на экранизацию купил С.Спилберг
за \$ 2 000 000

РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Лев Толстой. **Война и мир**. Первая редакция
Саша Черный. **Дневник Фокса Микки**. С илл. Ф.Рожанковского
Абрам Терц и Андрей Синявский. **Собрание сочинений** в трех томах
Сергей Корзун. **Видал я тебя**. Современный детектив
Владимир Качан. **Роковая Маруся**. Любовно-театральный роман
Сергей Обломов. **Медный кувшин старика Хоттабыча**. Сказка-быль
Борис Минаев. **Детство Лёвы**. Первая книга цикла
Владимир Матлин. **Замуж в Америку**. Восемнадцать рассказов
Мила Бояджиева. **Возвращение Маргариты**. Роман
Федор Михайлов. **Идиот**. Новый русский романъ
Лев Николаев. **Анна Каренина**. Новый русский романъ
Иван Сергеев. **Отцы и дети**. Новый русский романъ

СЕРИЯ «ЗНАМЕНИТЫЕ КНИГИ»

Петр Чаадаев. «Философические письма к даме»
Плюс текст М.О.Гершензона

Владимир Соловьев. «Три разговора»
Плюс текст С.М.Соловьева

Лев Шестов. «Апофеоз беспочвенности»
Плюс текст Н.Барановой-Шестовой

Василий Розанов. «Апокалипсис нашего времени»
Плюс тексты Э.Ф.Голлербаха и А.М.Ремизова

Михаил Гершензон. «Судьбы еврейского народа»
и другие произведения

Николай Бердяев. «Миросозерцание Достоевского»

Викентий Вересаев. «В двух планах»

ЛЕФ. «Литература факта». Сборник 1929 года

Льон Фейхтвангер. «Москва 1937». Плюс текст И.В.Сталина

Сильвестр. «Домострой»

Игорь Ефимов. «Практическая метафизика»

Карл Лоренц. «Человек находит друга»

Джеймс Хэрриот. «О всех созданиях — больших и малых»

СЕРИЯ «НОВЫЙ ДЕТЕКТИВЪ»

Борис Акунин. «Приключения Эраста Фандорина»
«Азазель». «Турецкий гамбит». «Левиафан». «Смерть Ахиллеса».
«Особые поручения». «Статский советник». «Коронация».
«Любовница смерти». «Любовник смерти»

СЕРИЯ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

Владимир Тучков. «Танцор»
«Танцор-1. Ставка больше чем жизнь»
«Танцор-2. Дважды не живут»
«Танцор-3. И на погосте бывают гости»

СЕРИЯ «РУССКИЕ ЗЛОДЕИ»

Аркадий Кошко, начальник Московской сыскальной полиции
«Розовый бриллиант». «Шантаж». «Негодяй»

Влас Дорошевич, король русского репортажа
«Сахалин. Каторга». В трех книгах

ПОЭЗИЯ

Т.С.Элиот — Огден Нэш — Сильвия Плат
Двуязычные издания

Вера Павлова
«Четвертый сон». Лауреат Большой премии Аполлона Григорьева
«Интимный дневник школьницы». Неавторизованный сборник

МАЛАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Раневская. Случаи. Шутки. Афоризмы
Бестселлер 1998—2001 годов. Тираж — четверть миллиона экз.

А также распроданные и прекращенные издания:
Валерий Леонтьев — Ирина Понаровская — Леонид Агутин
Одри Хепберн — Леонардо ди Каприо — Дункан и Есенин
Лиля Брик, Маяковский и другие мужчины — Волхов

Читайте книги новой серии
“ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ”
(составитель **Б.АКУНИН**).

Это самые яркие произведения
самых знаменитых зарубежных
беллетристов.

Издательство **“ИНОСТРАНКА”**
начинает их выпуск
под девизом .
СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД
К НЕСЕРЬЕЗНОМУ ЖАНРУ.

По вопросам оптовых закупок книг
серии “ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ”
обращаться в издательство “ИНОСТРАНКА”.

тел./факс: (095) 953-88-14
e-mail: inostranka@rinet.ru

**Здесь
могла быть ваша
РЕКЛАМА**

**Здесь
могла быть ваша
РЕКЛАМА**

Все жанры
классического криминального романа
в литературном проекте
Б. Акунина

«Приключения Эраста Фандорина»

**АЗАЗЕЛЬ
ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ
«ЛЕВИАФАН»
СМЕРТЬ АХИЛЛЕСА
ОСОБЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
СТАТСКИЙ СОВЕТНИК
КОРОНАЦИЯ
ЛЮБОВНИЦА СМЕРТИ
ЛЮБОВНИК СМЕРТИ**

✱

Памяти XIX столетия,
когда литература
была великой,
вера в прогресс
безграничной,
а преступления
совершались
и раскрывались
с изяществом и вкусом

✱